

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

1982

5



Киевский университет имени Т. Г. Шевченко. Фото М. Мельника и В. Моруженко.

К 1500-летию со времени основания Киева.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

1982
МАЙ
(324)

5

ЮНОСТЬ

*«Способствовать формированию
поколения людей
политически активных,
знающих дело, любящих труд
и умеющих работать,
всегда готовых
к защите своей Родины —
вот самое важное,
самое главное
в работе комсомола».*

Л. И. БРЕЖНЕВ

Издательство «Правда».
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП.
Москва, К-6, улица Горького, № 32/1.

В НОМЕРЕ:



Проза

Мария МАТВЕЕВА. Истребительный батальон . . .	10
Андрей БОГОСЛОВСКИЙ. Верочка. Маленькая повесть . . .	27
Николай ЛЫРЧИКОВ. Жил-был у бабушки... Рассказ	40
Аркадий АДАМОВ. Вечерний круг. Повесть. Окончание . . .	50



Поэзия

Сыновья принимают присягу [8], Юрий МЕЗЕНКО [23], Григорий КУРЕНЕВ [24], Семен СОРИН [25], Глеб ПАГИРЕВ [26], Григорий ШУРМАК [36], Лев БЕРИНСКИЙ [37], Лариса ТАРАКАНОВА [37], Борис КЛИМЫЧЕВ [38], Дюмид КОСТЮРИН [39], Юрий КУЗНЕЦОВ [48], Леонид ВЫЮННИК [49], Вапентин КУЗНЕЦОВ [68], Елена АНАНЬЕВА [69], Евгений ЧЕПУРНЫХ [75]



Публицистика

Юрий СКЛЯРОВ. «Правде» — 70 лет	3
Павел БАРЕВ. Время Уренгоя	70
Владимир ЕРЕМЕНКО. Год рождения 1923	73
Евгений ДВОРНИКОВ. «Я учил вас править подкой...» .	76
Михаил ОЗЕРОВ. Выстрелы из-за угла	82
Ирина ХУРГИНА, Андрей ПОТЕМКИН. «Домик в Чу-гуевке»	98



Критика

Вл. НОВИКОВ. Открытый урок	88
А. МОРОЗОВ. Леонардо на ВДНХ	89
Нина АГИШЕВА. Долгий день после часа ученичества	90
Юрий КОВАЛЬ. Подлинная жизнь	95
История, которая началась под «музыку»...	99
Н. НАЗАРОВСКАЯ. Художник солнечной земли . .	112



Факты и поиски

Юрий ПИЩУЛИН. «Жить только для себя стыдно...» .	101
Вал. ЛАВРОВ. Два автографа сорок второго года . .	107



Спорт

Михаил БОТВИННИК. Пятый чемпион	109
---	-----



«Зеленый портфель»

Александр КАНЕВСКИЙ. Прodelки волшебника . .	111
Михаил ВЛАДИМОВ. Литературные пародии . .	112

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ

Виталий ГОРЯЕВ

Сергей ЕСИН
Леопольд ЖЕЛЕЗНОВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Кайсын КУЛИЕВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Макет
Л. К. Зябкиной.

Главный художник
Ю. А. Цишевский.

Художественный редактор
О. С. Коккин.

Технический редактор
А. В. Сальников.

Сдано в набор 12.03.82.
Подп. к печ. 12.04.82.
А 08652.
Формат 84×108^{1/16}.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12.18.
Учетно-изд. л. 17.60.
Тираж 150 000 экз.
Изд. № 1078.
Заказ № 2188.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»,
имени В. И. Ленина,
125865, ГСП, Москва, А 137,
ул. «Правды», 24.

**ЮРИЙ
СКЛЯРОВ,**

первый
заместитель
главного
редактора
«Правды»

«ПРАВДА»-70 ЛЕТ



5 мая 1982 года исполняется 70 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Правда». Созданная великим Лениным, она сыграла выдающуюся роль в борьбе за победу социалистической революции в нашей стране.

«Правда» — первая в России ежедневная марксистская рабочая газета — стала преемницей славных традиций большевистских газет — «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь», «Социал-демократ», «Рабочая газета», «Звезда», созданных В. И. Лениным и под его непосредственным руководством.

Как отмечал В. И. Ленин, «Правда» была на деле рабочей газетой и по своему направлению, и по своему кругу читателей из рабочей массы, и по своему содержанию вообще, а в частности, по массе рабочих корреспонденций... и, наконец, по поддержке «Правды» рабочими вообще и рабочими группами в особенности.

Находясь в эмиграции, В. И. Ленин, повседневно и внимательно следил за работой редакции, неустанно направлял ее деятельность, заботился о том, чтобы газета на деле была коллективным пропагандистом, агитатором и организатором трудящихся масс. Уже в 1912—1914 годах в «Правде» было опубликовано свыше 280 статей и заметок В. И. Ленина.

Будучи последовательным выразителем интересов рабочего класса в борьбе против самодержавия и капитализма в России, «Правда» в то же время широко освещала на своих страницах международное революционное движение, воспитывала пролетариат, трудящиеся массы страны в духе интернационализма, братской солидарности с борьбой трудящихся за рубежом против общего врага — международного капитала.

Газета подвергалась жестоким преследованиям со стороны царизма. Неоднократные аресты редакторов, конфискация многих номеров газеты, бесчисленные штрафы — все это обрушивалось на рабочую газету. Много раз пытались закрыть «Правду», но она, опираясь на неизменную поддержку рабочих, вновь возрождалась под новыми названиями, где, как правило, сохранялось дорогое для пролетариата слово «Правда».

«Правда» сыграла важнейшую роль в руководстве революционным движением масс, в их воспитании и организации. С ленинской «Правдой», под руководством большевиков формировалась и крепла могучая армия революционных борцов, свергнувшая российское самодержавие и осуществившая Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

С 27 октября (9 ноября) 1917 года «Правда», центральный орган партии, неизменно выходит под своим названием.

До марта 1918 года газета издавалась в Петрограде. С переездом Советского правительства и Центрального Комитета РКП(б) в Москву переехала и редакция «Правды».

С победой Великого Октября перед Коммунистической партией и народом встали новые задачи — задачи социалистического строительства, а также защиты завоеваний революции от внутренних и внешних врагов.

В конце апреля 1918 года «Правда» опубликовала работу В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти», в которой изложены главные задачи молодого Советского государства по созданию основ социалистической экономики.

На страницах «Правды» получил яркое отражение огромный подъем творческих сил народа, перед которым революция открыла широчайшие исторические перспективы. Газета несла в массы декреты Советской власти, партийные документы, информировала о национализации промышленности, введении рабочего контроля на предприятиях, о первых шагах в борьбе против экономической отсталости и разрухи.

«Правда» была в центре активной борьбы партии и Советской власти за мир, за выход России из империалистической войны. Однако мирная передышка весной 1918 года была короткой. Силы внутренней контрреволюции и иностранные империалисты развязали вооруженную борьбу против Советской республики.

В годы гражданской войны и иностранной интервенции со страниц «Правды» звучали речи и статьи Ленина, решения ЦК партии, поднимавшие рабочих и крестьян на отпор врагу и защиту социалистического Отечества. Многочисленные письма трудящихся, опубликованные «Правдой», резолюции собраний и митингов партийных ячеек отражали широчайшую поддержку массами Советской власти, глубокую веру в торжество дела социализма.

В один из наиболее трудных для страны периодов гражданской войны газета сообщает о рождении коммунистических субботников. В. И. Ленин сразу же увидел в субботниках пример нового отношения к труду, ставшего возможным только в условиях, когда власть принадлежит самим трудящимся, и дал высокую оценку им в своей знаменитой работе «Великий почин».

Разгромив интервентов и белогвардейцев, Советская республика смогла приступить к восстановлению разрушенной экономики и построению основ социализма. На страницах «Правды» — все больше публикаций о ходе восстановления промышленных предприятий, транспорта, о положении дел в сельском хозяйстве. Наряду с этим газета сообщает о борьбе с голодом, охватившим многие районы страны, о контрреволюционных мятежах, кулацком бандитизме. Еще немало испытаний предстояло выдержать трудящимся, но они твердо верили в ленинское предвидение, что из России неповской будет Россия социалистическая. Огромное историческое значение имело объединение советских республик в декабре 1922 года в Союз Советских Социалистических Республик. В «Правде» публиковались материалы, отразившие объединительное движение народов, их волю к созданию Союза.

В траурные дни января 1924 года страницы «Правды» отразили не только всенародную скорбь в связи с кончиной В. И. Ленина, но и верность трудящихся его делу, их сплочение вокруг ленинской партии. Следуя заветам своего вождя, Коммунистическая партия твердо держала курс на построение социализма в нашей стране, решительно вела борьбу с любыми попытками сбить ее с ленинского пути. И в этой борьбе «Правде» принадлежала важная роль. Тема восстановления, хозяйственного строительства, ликвидации неграмотности населения, детской беспризорности и другие неотложные заботы молодого Советского государства — все это в поле зрения газеты.

Огромного напряжения сил советского народа требовало осуществление планов социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. По планам первых пятилеток советские люди создавали надежный фундамент социалистической экономики. В эти годы «Правда» писала о развертывании работ по созданию тяжелой индустрии, о строительстве электростанций и металлургических комбинатов, тракторных заводов и новых транспортных магистралей, о первых машинно-тракторных станциях и планах освоения природных богатств Сибири.

«Правде» принадлежит выдающаяся роль в мобилизации трудящихся масс на развертывание социалистического соревнования за досрочное выполнение планов, повышение производительности труда. Газета горячо поддерживает первые ударные бригады, инициаторов соревнования, заботится о распространении их опыта.

В 30-е годы мощный размах получило движение трудящихся за высокую производительность труда, названное по имени его инициатора донецкого шахтера Алексея Стаханова. Его последователи — стахановцы — появлялись в каждой отрасли народного хозяйства, «Правда» подняла на щит героев труда, писала о них, пропагандировала их опыт.

Патриотические чувства гордости за свою Родину вызывали у советских людей материалы «Правды» о героической эпопее спасения челюскинцев, о летчиках — первых Героях Советского Союза, о мужестве исследователей Арктики, покоривших Северный полюс, о беспримерных для того времени дальних перелетах экипажей Чкалова, Громова, Гризодубовой и других отважных пилотов. Немало публикаций было посвящено героической Красной Армии, давшей отпор японским агрессорам у озера Хасан и на реке Халхин-Гол в братской Монголии.

В годы Великой Отечественной войны, когда решалась судьба нашей Родины, «Правда» была на передовой линии борьбы с фашистскими захватчиками. Со страниц газеты в полную силу звучал голос ленинской партии, призвавшей советский народ грудью встать на защиту социалистического Отечества, сделать все для победы над врагом. «Правда» разъясняла советским людям характер и цели войны, пропагандировала выработанную Коммунистической партией программу разгрома ненавистного врага. Она активно участвовала в перестройке на военный лад экономики страны и работы партийных, государственных и общественных организаций.

Идеи дружбы народов и животворного советского патриотизма, пропагандировавшиеся на страницах «Правды», вдохновляли советских воинов и тружеников тыла на беззаветное служение Родине, на ратные и трудовые подвиги.

Враги знали силу слова «Правды» и боялись ее. Об особой ненависти гитлеровцев к «Правде» свидетельствует и тот факт, что у сбитых под Москвой фашистских летчиков находили карты, на которых редакция «Правды» была обозначена как наиболее важный военный объект. 1300 номеров газеты, вышедших в годы войны, были огромным вкладом в историческую победу советского народа.

С окончанием войны «Правда» вновь, как и в годы предвоенных пятилеток, на переднем крае мирного социалистического строительства. Она освещает созидательный труд советского народа, ширящееся социалистическое соревнование, в котором ярко отразился огромный трудовой подъем масс, публикует вести с фронта восстановления работ, пишет об успехах в дальнейшем развитии народного хозяйства.

Большое место в «Правде» занимали вопросы развития промышленности, подъема сельского хозяйства, материального и культурного уровня жизни народа. Газета писала о строительстве каналов и электростанций, об освоении целинных земель, о достижениях советской науки в мирном использовании атомной энергии и других областях. Широко и ярко вышла на страницы газеты тема освоения космоса, показ огромного вклада нашего народа в научно-технический прогресс человечества.

«Правда» обстоятельно ведет освещение проблем международной жизни, коренных изменений, происшедших на мировой арене в результате разгрома германского фашизма и японского милитаризма.

Систематически освещается жизнь социалистических государств, их опыт хозяйственного и культурного строительства, новый тип экономических и политических отношений, складывающихся между странами социалистического содружества.

На полосах «Правды» немало материалов о жизни народов, сбросивших колониальное иго и ставших на путь самостоятельного развития, о разносторонней помощи им и поддержке со стороны Советского Союза и других социалистических государств.

Постоянной темой «Правды» является миролюбивая внешняя политика КПСС и Советского государства. С ленинского Декрета о мире, провозглашенного молодой Республикой Советов, и до наших дней, когда реализуется разработанная партией Программа мира для 80-х годов, «Правда» неизменно ведет активную борьбу за мир и безопасность народов, широко освещает многочисленные инициативы Советского Союза, изложенные в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии и других выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева и направленные на утверждение принципов мирного сосуществования, углубление разрядки, развитие широкого сотрудничества между странами и народами.

«Правда» неустанно разоблачает империалистические планы обострения международной обстановки, вдохновителей гонки вооружений, толкающих человечество к пропасти термоядерной войны. С ее страниц на весь мир звучит голос Коммунистической партии, советского народа, выражающих твердую решимость вести неустанную борьбу за мир, свободу народов и социальный прогресс.

60 лет назад волей народов нашей страны был создан Союз Советских Социалистических Республик — первое в мире единое союзное многонациональное государство рабочих и крестьян.

Советский народ под руководством КПСС построил развитое социалистическое общество и, следуя разработанной партией стратегии и тактике коммунистического строительства на современном этапе, направляет свои усилия на повышение интенсивности общественного производства, эффективности и качества всей хозяйственной деятельности, совершенствование управления экономикой, неуклонный рост производительности труда.

«Правде» принадлежит важная роль в реализации решений и указаний XXVI съезда партии и Центрального Комитета КПСС по вопросам развития экономики, культуры, в деле коммунистического воспитания трудящихся. В центре внимания газеты — большая многоплановая работа партийных организаций, работа с людьми, чей труд, знания, энергия, опыт обеспечивают претворение в жизнь всех наших планов.

Под руководством ленинского Центрального Комитета партии, тесно связанная с широкими массами трудящихся, пользующаяся их доверием и поддержкой, «Правда» достойно выполняет свою роль флагмана советской печати, надежного помощника партии в решении задач коммунистического строительства.



В. И. Ленин с В. Д. Бонч-Бруевичем во дворе Кремля. 16 октября 1918 г.

В канун XVI съезда ВКП(б). 1930 г.

Впервые в Москве. 30-е годы.

Победа! 1945 г.

Герой Советского Союза М. В. Водопьянов. 1934 г.

Корабелы Николаева. 1981 г.

Фото из архива «Правды».
Публикацию подготовил
А. НАЗАРЕНКО.



СО СТРАНИЦ «ПРАВДЫ»



СЫНОВЬЯ ПРИНИМАЮТ ПРИСЯГУ...



Рисунок
Р. Клочкова.



Поэзия

ВЛАДИМИР
КОСТРОВ

Баллада о первопроходце

Ты прошел сквозь тайгу
в самой первой бригаде
неприметной в болотах и падах тропой.
Ноги сбиты до крови,
смола на прикладе,
на распушем лице —
накомарник слепой.

Из Амура налилсЯ, Амуром умылся,
в ствол звенящий загнал острие топора.
Ты к амурскому камню спиной привалился
возле первого в городе этом костра.

Подтверждая высокое званье мужчины,
повседневно на труд и на подвиг готов,
там, где лошади дохли и глохли машины,
ты прошел, комсомолец 30-х годов.

Из Амура напилсЯ, Амуром умылся,
лишь ладони твои стали тверже камней.
И, пожалуй, тогда сам себе удивилсЯ,
увидав мириады горящих огней.

Вот стоит он — твой город
над синей тайгой.
Стал легендой он для твоих сыновей.
Над хвощами болот и над черной цингой,
на работе твоей
и на песне твоей.

Из Амура напейсЯ, Амуром умойсЯ.
Чтобы память прошедшего
стала остра.
И горят, не сгорая,
огни Комсомольска,
словно угли того золотого костра.



ЮОЗАС
МАЦЯВИЧЮС

Сыновья

Сыновья
принимают присягу,
сыновья целуют знамена,
окропленные нашей кровью,
пронесенные в наших руках
сквозь огонь ненасытной войны.
Обгоревшие и простреленные —
но, как птицы, в полет устремленные,
они юность отцов и сынов
подымают на крыльях своих.

Перевел с литовского
М. ДВИНСКИЙ.

НИКОЛАЙ ШУТЬ

Чистота

В окопе, в грохоте машин,
Средь осыпающейся глины,
Обняв любовно карабин,
Постиг я чистоты глубины...

Она вычеркивает страх,
Ты станешь смел, ее изведав,
Она, как грозное «ура»,
Борцов за родину Советов.

Он умирал...

Он умирал. Снег таял не спеша
Под голой и колючею щекою.
И светом вдруг наполнилась душа
И громом затихающего боя.

С родными, близкими, как будто бы во сне,
Себя увидев в этот миг покоя.
И через час уже не таял снег
Под голой и колючею щекою.

В камере смертников

В минуты унынья, отчаянья
Друзей вспоминаю своих
И сразу тогда замечаю,
Что ветер у сердца утих.

И выюга смиреннее свищет,
И мягче мороз заревой.
Прекрасней, чем дружба, и выше,
Священнее нет ничего.

Перевел с украинского
Ю. КАМИНСКИЙ.

БАГАУТДИН АДЖИЕВ

Чиркейская ГЭС

Там, где хребет, увенчанный исконно
Вершинным снегом, спину изогнул,—
Как будто голос древнего дракона,
В ущелье раздается грозный гул.

Уйдя от нас в подземные глубины,
Зарывшись в твердокаменный массив,
Вовсю гудят бессонные турбины,
В стальных ладонях блики раскрутив.

И тот Сулак, что был, в горах вспоенный,
Как дикий конь, лихой свободой горд,
Теперь, стреноженный и усмиренный,
На лопастях свистящих распростерт.

Гляжу на залы, думая о чуде,
На лифты в узких прорезях стены.
Чтоб чудо сотворить, какие люди
Пришли сюда со всех концов страны!

Струится от плафонов свет веселый,
Не вхож под землю полуденный жар.
И разговор со сварщиком Миколой
Введет грузин по имени Нодар.

Здесь рядом с русским другом постоянно
Узбек, и молдаванин, и казах.
И земляков моих из Дагестана
На сорока я слышу языках.

И кажется: не пенистые реки,
Не провода и не турбины,— нет,
Ты, братство, нерушимое навеки,
Стране моей несешь тепло и свет!

Перевел с кумыкского
Я. СЕРПИН.

ОЛЕГ МАСЛОВ

Два сочинения

Сочинение школьники пишут,
им далекие годы видней:
тем заоблачным воздухом дышат
грозовых, героических дней.
В сочиненьях Светлов и Орленок,
и знамена в надежных руках.
А начитанный, рослый ребенок
сочинение пишет в стихах.
Изпагает серьезно и гладко,
со вступленья предвидит финал,
обстоятельно и по порядку
пол-учебника зарифмовал...
Он метавфоры к лету подучит,
как почти настоящий поэт,
и медапь за пятерки получит,
и поступит в университет.
...Но девчоночьим почерком крупным,
как бы в споре с баском его трубным,
сообщала тетрадка одна,
что заданием личным и трудным
эта тема кому-то видна:

«Во время каникул мы работали в совхозе. Заработанные деньги перечислили на сооружение памятника секретарю первой комсомольской ячейки в нашем селе. Говорят, это был удивительный человек. Совсем еще молодой, очень честный, искренний — его расстреляли белые во время гражданской войны. На открытие памятника, на кладбище, собралось много народу. И многие, особенно пожилые, плакали».





ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН



**МАРИЯ
МАТВЕЕВА**

На снимке —
М. Матвеева
в годы войны.

**ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ЗЕНИТЧИЦЫ**

В Сталинград 748-й зенитно-артиллерийский полк прибыл 25 ноября 1941 года после тяжелых боев за Днепр, Петровск, Миллерово, Ворошиловград и другие населенные пункты Донбасса.

В апреле 1942 года на смену бойцам-мужчинам, переведенным во вновь сформированные зенитные части, приехали из Сталинградской области 354 девушки. Все добровольцы. Поступившее пополнение в сжатые сроки было обучено и влилось в боевые подразделения. Меня направили в 748-й ЗАП, я быстро освоила вместе со своими подругами военную специальность и стала зенитной разведчицей на командном пункте полка.

Уже в первой половине 1942 года авиация противника проводила систематическую разведку подходов к городу и самого города. Летом налеты участились.

23 августа в четыре часа дня на Сталинград был произведен массированный налет фашистской авиации. Я как раз вместе с разведчицей Ольгой Макагоновой стояла на посту. Мы были поражены не только массовостью налета, но и зверствами фашистов, бомбивших мирный город, уничтожавших детей, стариков, женщин. Бомбы сыпались на жилые дома, Главпочтамт, Дом пионеров, роддом, школу, а потом в сплошном море огня и дыма стало уже трудно что-то различить.

Одновременно в Сталинград устремились немецкие танки, которые первыми встретили зенитчики 1077-го ЗАП, а позже и наш полк. С 31 августа 1942 года батареи вели непрерывный огонь, отражая атаки фашистов. Нам, разведчикам, теперь требовалось передавать не только данные о самолетах противника, но и о танках и пехоте. Одна за другой выходили из строя батареи, героически сражающиеся с превосходящими во много раз силами противника. Командир полка подполковник Рутковский то и дело выезжал на огневые позиции. И везде рукопашный бой горстки бойцов-героев с наседающей лавиной врага. 15 сентября было критическим днем для защитников центральной части города. В район вновь сформированной 4-й батареи с нескольких направлений прорвались танки противника. Начался неравный бой. Батарея дрогнула и отошла. И тогда в который раз туда прибыл подполковник Рутковский. Бойцы, увидев командира полка, воспрянули духом. Бой был жестокий и беспощадный. Рутковский ранило осколками гранаты, и тут же его прошла фашистская автоматная очередь. Бойцы вынесли с поля боя смертельно раненного командира, попытались переправить вопреки его запрету на левый берег Волги. По дороге он скончался. Алексей Матвеевич Рутковский похоронен на хуторе Бурковском.

Еще двенадцать дней зенитчики 748-го полка и других частей обороняли центральную часть города у памятника Хользунову и устья реки Царицы. Многие фашисты

Рисунок
Ю. Цишевского.

нашли здесь свою смерть. Но в боях таяли и ряды защитников. К 25 сентября были разбиты последние зенитные орудия. По приказу командования оставшийся личный состав переправился на левый берег Волги и приступил к формированию новых зенитных батарей. В начале октября критическое положение сложилось в Заводском районе Сталинграда. И тогда из зенитчиков сформировали истребительный батальон 5-ротного состава под командованием командира дивизиона 748-го ЗАП капитана Ивасенко. Перед батальоном была поставлена задача — переправиться в Заводской район на усиление обороны заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». По личной просьбе меня зачислили санинструктором роты бронейщиков, так как до прибытия в армию я окончила курсы медсестер и несколько месяцев работала в госпитале в городе Котельникове.

В осеннюю ночь мы своим ходом двинулись к Волге на понтонную переправу.

И мы прибыли на хутор Булгаков, откуда должны были переплыть в лодках на остров Зайцевский, затем через Волгу в район завода «Баррикады».

Сиверко. На Волге поднялась буря. На левом берегу была лишь одна лодка, а остальные на острове: в них только что переправилась 1-я рота. Командир нашей 2-й роты Хареба вызвал добровольцев, ибо это не легкое дело в бурю, да еще под бомбежкой (а Волгу бомбили) перебраться на остров и оттуда пригнать лодки. Вышли несколько человек. Отобрали пятерых — самых крепких, они и пригнали лодки.

Уже под вечер на острове, на берегу маленького озера, мы расположились на привал. В нише, ловко вырытой саперной лопаткой, развели костер, прикрыв его сверху ветками от поваленных бомбежкой деревьев. Все собрались вокруг костра и пели. Очень хорошо выводила украинскую, любимую в нашем полку песню «Ой, Дніпро, Дніпро, ты широк, могуч» Настя Вакула, санинструктор 1-й роты. Пели вполголоса; кажется, каждый в слова и мелодию вкладывал что-то свое, интимное и в то же время всем понятное — общую боль, горе, печаль и надежду: «Но настанет час...» Вдруг Настя спохватилась:

— Ой, чуёт мое сердце, не увижу я больше своей родной Украины...

Команда «Строиться!» прервала и песню и блаженное ожидание горячего чая. «Тушить костры! Первая рота вперед, вторая рота вперед!»

То бегом, то шагом, пригибаясь под деревьями и утопая ногами в сыпучем песке, добрались до западного берега острова. Тут должна быть переправа. Но где же она? Напротив горит город. Все заволокло едким, тягучим дымом. С правого берега по Волге стреляют шрапнелью, бьют минометы. И методично, будто нехотя, бомбят Волгу. Но вот повисла «лампа» (осветительная ракета), и мы прямо перед собой увидели на реке ниточку — понтонную переправу. Люди на переправе кажутся маленькими оловянными солдатиками, они еле движутся растянутой редкой цепочкой. Не успели все разглядеть, «лампа» потухла, и стало темно. Неожиданно хриплый, надорванный или простуженный на ветру голос:

— По одному, дистанция не менее метра, на переправу, шагом марш!

Передние скрылись в темноте, задние отстали. Тихо. Хотя бы кто кашлянул. Наступаю на скользкие доски, ноги уходят в воду. Мимо? Нет, упираюсь в деревянный настил и скольжу подошвами сапог. Боюсь, если подниму ногу, то уже не попаду на доску. Кто-то упал в воду, еще один... Оступился? Убили? Стреляют непрерывно, но выстрелов не слышу, потому что хочу слышать только человеческое дыхание: это для меня сейчас самое важное. Оступаюсь, падаю по пояс в воду, но держусь... Санитарная сумка и вещевой мешок намокли, стали еще тяжелее. Иду, скольжу уже и руками и ногами. Когда же берег? Волга бесконечно широкая. Кажется, этот понтон не поперек, а вдоль реки положен! Сильный взрыв, вспышка... Попали в переправу. Фонтан воды, грохот. Я тоже тону, но кто-то сильно меня дергает за руку и бросает на берег... Земля! Встаю, наступаю на что-то мягкое и тут же падаю. Опять осветительная ракета. Ясно вижу труп бойца. Кто-то хватается за рукав и тянет в сторону, к круче. Девичий, почти детский голос:

— Сюда, сюда! Тебя не ранило? Ты счастливая, успела проскочить, а переправу разбили, теперь до утра не восстановят...

Потом она меня увлекает в более безопасное место. И пока светит «лампа», что-то хочет показать: вытащила из нагрудного кармана сложенную вдвое фотооткрытку «Закат солнца на Волге». Я ее хорошо знала: до войны их в каждом газетном киоске Сталинграда продавали.

— Так вот, — продолжает она, — родилась и выросла я в Сталинграде и хочу видеть Волгу такой же красивой и спокойной, как на этой открытке...

Тут ее позвали, и девушка скрылась в ночи.

Встретить мне ее больше не пришлось, а слышать — слышала от раненых бойцов на переправе о восемнадцатилетней сталинградке Агнессе Луговской, которая сражалась, не ведая страха, и погибла в балке между «Баррикадами» и «Тракторным», спасая раненых. Фашистские танки раздавили и раненых и Агнессу.

...«Лампа» догорела, и стало черным-черно, как в пропасти. Вдруг доносится нервный, с передыхом шепот:

— Что делают, что делают! Тут же немцы, где-то над кручей балакают, то ж нас в их пасть бросили... — Жуткая брань и, кажется, вскрип.

Прислушиваюсь — действительно, прямо над головой неразборчивая речь и какие-то команды. Под кручей, совсем близко, слышно, как кто-то кого-то ударил, и с досадой:

— Не нуди, зараза, сопли распустил! Немцы рядом, вот и хорошо, не нужно их искать, иди и бей. Или что, может, сдаваться пойдешь, «хенде хохать», так твою...

Потом все стихло: похоже, удалились. Глаза начинают привыкать к темноте. Жадно всматриваюсь в ночь. Она особенно зловеща, потому что Волга горит. Это плывет и горит нефть. Не та, что сплошной огненной лавиной текла из разбомбленных емкостей в августе, — та уже сторела, проплыла. А это, говорят, нефтеналивные баржи разбомбили. Нам еще на левом берегу рассказывали: нефть широкой полосой, но с перерывами течет, надо проскочить в лодках в промежутках между огненными zapлатами.

Наконец раздается голос нашего командира, уверенный и спокойный:

— Вторая рота, за мной! Прижимайтесь теснее к круче и шагом марш! Не отставать, командиры взводов и отделений, проследите за своими людьми!

И пошли сосредоточенно и деловито, как на работу. Боже, какая радость! Какое счастье, что я не

одна, что рядом свои из полка. Шли, пока темно, где бегом, где ползком, а как осветит «лампа» — замираем, словно в детской игре «Замри!».

По склону, где когда-то была дорога, поднялись вверх. Дорога вела к северной окраине завода «Баррикады», потом через трамвайную линию в поселок барачного типа, выше стояли большие дома, гастроном, больница имени Ильича. Все это я помнила с детства, когда приезжала сюда из-за Волги, из Средней Ахтубы, где в то далекое время жила с родителями и училась в школе имени Ломоносова. Теперь все выглядело иначе. Дорога, вернее, то, что осталось от дороги (везде воронки да завалы), извиваясь, шла на юго-запад — там слева были большие деревья, теперь на фоне горящего завода они казались чудищами с растопыренными ручищами, простертыми к небу, как бы прося пощады или снисхождения. Под эти деревья у стены завода командир роты Иван Андреевич Хареба собрал взводных и дал им задание. Потом он обратился ко мне:

— Ну, а ты, медицина, сама место найди для медпункта. Смотри, чтоб не под носом у фрицев и чтоб был удобный отход к Волге для эвакуации раненых. Задача ясна? Действуй!

Стою, плотно прижавшись к каменной заводской стене. Чувствую холод на спине то ли от мокрой гимнастерки, то ли от «Действуй!». Гляжу в темноту. Стараюсь сообразить, как же действовать. Я тут одна, и ночь со страшными разрывами и редкими вспышками. Теперь уже я хочу, чтобы они — разрывы и вспышки — были чаще. Чтобы осмотреться, прикинуть, где наши и куда идти. Но разрывы чаще там, куда ушли наши, за трамвайной линией. Редкий треск пулеметных и автоматных очередей. Вдруг сзади раздался оглушительный взрыв, обрушилась стена. Инстинктивно отпрыгиваю в нишу, но мне в грудь упирается... ствол автомата. Тут вспыхнула «лампа». Мгновение — и испуганный голос:

— Ух, ты! Чуть свою не хлопнул! Надо ж!

Из ниши выходят двое. Они тянут связь и в стене гранатой пробили брешь. К счастью, осколки меня не тронули. Узнав, кто я и почему тут очутилась, они мне подсказали, что под дорогой есть труба, она достаточно большая и может служить медпунктом. Связисты скрылись по своим делам, таща катушку провода.

Я обрадовалась, что в этой страшной, кромешной ночи не одна. Трубу до утра на ощупь расчищала. Иногда под руки мне попадались лягушки, я их раньше так боялась, но сейчас, как ни странно, была рада: живые существа, напоминание о мирном времени.

2

Утром явился связной. Но я сама вышла навстречу из своего укрытия, ибо давно его ждала. Связной показал мне расположение роты. На обратном пути заглянула в командирскую землянку — ее откопали за ночь выше трамвайной линии, у третьего барака, — доложила о своем медпункте. Командир сам решил его посмотреть. Иду, гордая, в надежде на похвалу: ведь я так старалась! Выгребла и вычистила не только всю грязь, но и расширила проход в трубу, который был завален мусором и клубками проволоки. Командир хмыкнул.

— Никуда не годится. Мне говорили, что вы разведчица. Как же вы так неосмотрительно выбрали место для медпункта? Ведь вы же хорошо знаете,

что немцы дороги и бомбят и обстреливают. Срочно ищите другое место, а впрочем... — И он указал его сам в стороне от дороги и от зданий.

...Так начался для меня первый день. Не успела я оборудовать новый медпункт, как понадобилась моя помощь: в землянке во время бомбежки засыпало шесть бойцов. Мы торопились их открыть лопатами, но все оказалось безуспешно. На телах бойцов не было ни единой раны: они задохнулись. Трое из них татары, трое русские. Конечно, тогда их фамилии мы не успели узнать. Мне не верилось, что все они уже не встанут... Вдруг окрик:

— Медицина, спишь, что ли? Давай скорее сюда, тех уже не спасете, вот тут помогай — тоже засыпаны землей и ранены.

Этих отходили, только они оглохли.

И так до самой ночи и каждый день, а ночью кого на носилках, кого на плечах таскали на берег Волги. Другие, кто мог хоть немного идти, добирались самостоятельно. Потом их отправляли на левый берег Волги.

Потери были огромные. Почти каждую ночь приходило пополнение. Это были или почти совсем мальчишки, или пожилые бойцы, которые на меня смотрели с удивлением и жалостью: уж очень хрупка. Бойцы нашего полка с самого начала ко мне относились с доверием и как-то особенно тепло говорили обо мне: «Сообразительная!» С каждым часом все больше и больше я обретала уверенность в себе, в своих силах.

...Человек устроен так, что через день-два обжигается в любой обстановке. Обжились и мы на «Баррикадах». Становилось все труднее и труднее с продовольствием. Особенно тяжело с водой. Днем жара невыносимая от пожаров, вечером — прохлада, но едкий дым прижимался к земле, и от этого дышать было почти невозможно. Пить хотелось страшно. Вода строго по норме. Сначала — фляга на день, потом — половина фляги, а дальше — все меньше и меньше. Водопровод разрушен, а колодец один, и тот обстреливался постоянно.

Старшина роты Яша Михайленко, очень старательный молодой парень, мучительно переживал, когда приходил с переправы с пустыми руками.

— Опять продовольствие не получили: наверно, утопили на переправе.

Правда, нас «подкармливали» немцы, сбрасывая пищу для своих солдат. Тюки частенько попадали к нам, ибо позиции так вклинились друг в друга, что не только с воздуха, а и на земле нелегко было разобраться, где кто. Обзавелись и знакомством и соседством, а я еще помощником Леней, мальчиком лет восьми-девяти. Его родители работали на заводе «Баррикады», или, как называли по старинке, на «французском», и оба погибли от бомбежки. Дом, в котором он жил, тоже сгорел. Оставшись один, рано повзрослевший мальчик бесстрашно ходил по развалинам, стараясь хоть чем-то нам помочь.

Однажды, уже в сумерках, я пробиралась от взвода к взводу по руинам, воронкам, ходам сообщения. Вдруг слышу плач ребенка, да такой ужасный, что его и гром канонады не в силах заглушить. Иду на плач дальше, дальше. Вижу: крыша дома упала, балкой убило женщину, в руках она держит ребенка, грудь обнажена — наверное, кормила его. Голова женщины пробита бревном, кровь залила и ее и дитя. В конвульсиях женщина сжала ребенка так, что он уже посинел от крика и боли. С большим трудом я освободила малыша от цепких объятий

матери и понесла его в подвал, в котором, как я знала, скрывались от бомбежек гражданские. Им я и отдала этого ребенка. Женщины его не сразу взяли, а смотрели на меня какими-то отрешенными глазами: куда, мол, мы его денем? Потом ко мне подошла уже немолодая, лет под пятьдесят, женщина и, как будто продолжая вслух молчаливое раздумье, со вздохом сказала, обращаясь ко всем:

— А ей этот ребенок зачем? Ведь она же наших мужиков должна спасать, видите — у нее сумка с крестом. — Взяла ребенка. И мне: — Иди, касатка, дай бог тебе сил и терпения, мы как-нибудь выйдем малютку, не беспокойся.

И я пошла, вернее, поползла в узкий проход из подвала. Вдруг меня потянули за ногу. Оглянулась — мальчик. Он так жалобно:

— Тетенька, вы доктор? Ну все равно, пойдёмте, вот тут совсем рядом ранило ребенка. Помогите ему.

Говорил он не по-детски, а как-то по-взрослому. Я заколебалась: мне было приказано не отлучаться из расположения роты, ибо батальон, как сказал командир, наступает на участке стадион — Парк культуры Заводского района. Было много раненых, всех их необходимо вовремя перевязывать. И я отправилась в роту. Мальчик от меня не отставал, а бежал следом. И убедил комиссара, что это совсем рядом, всего каких-то сто метров, и что он, Леня, проведет меня кратчайшим путем. Комиссар, добрый, душевный человек, отпустил нас. Мы поползли между кирпичей, стекол, колючей проволоки, канав... Кое-где можно было идти в рост, а чаще — только по-пластунски, ползком. Бывало так, что Леня пролезет, а я пролезаю по частям: сначала под сумку, а потом протискиваю руки, ноги и туловище. Сто метров оказались длинными, но я молчала. И вот, наконец, мальчик, извиваясь, как уж, находит среди завалов то ли дверь, то ли проем и кричит:

— Тетя! Я доктора привел!

Ко мне метнулась обезумевшая от горя и слез женщина. Схватила меня за руки — и в угол. Там при свете «Катюши» — лампы из гильзы снаряда — на полу умирал мальчик таких же лет, как и Леня. Мальчик был ранен, крупные, с кулака, рваные осколки застряли в животе. Самое ужасное — чувство бессилия! Чем я могла помочь? Я сказала матери, что тут нужен хирург, а я всего санинструктор, может быть, операция и помогла бы. Женщина, не дождав меня, убежала и мигом вернулась — в руках у нее был большой кухонный нож. Полна безумной решимости, тычет его мне.

— Режь! Режь, я сама буду тебе помогать.

Я растерялась, стою как вкопанная. А она, увидев это, кинулась на колени, стала целовать мои сапоги, хватать за руки. Волосы у нее растрепались, глаза горят лихорадочным блеском. С губ срываются то молящие, ласковые слова, то заклинания, то проклятия и снова мольба:

— Режь! Спаси, ну спаси же ты его!

Я не могу вырваться из ее объятий. Тогда Леня, понимая весь ужас этой сцены — дети в войну рано научились понимать, — стал оттаскивать от меня женщину.

— Тетя, он вас зовет!

Но он, ее сын, уже никого не звал. Он наконец избавился от дикой боли и затих, лежал, как сложенная игрушка. А мы, две женщины, вдруг оцепнели, боясь двинуться с места. В ту минуту меня пронзила совсем нехотанная мысль: а ведь самое главное — это родить ребенка, вырастить его человеком, но из-за проклятой войны, из-за этих фаши-

стов я, может быть, никогда так и не стану матерью. Убили ребенка. За что? Кому он помешал? Кто придумал отвратительное насилие над природой, над человеком? Кто придумал войны?

С этими или похожими на эти мыслями я вышла из землянки. Уже темно. Или у меня на душе и в глазах темно, глухо? Я шагала в полный рост — разве можно после гибели ребенка прятаться от смерти взрослому человеку?

Вдруг Леня пригибает меня к земле. Он, оказывается, идет вместе со мной. Над нашими головами пролетает мина, отвратительно визжа, как поросенок. Я бреду, опустошенная своим бессилием. Бедная маты! Слышу ее голос, вижу ее слезы, черные растрепанные волосы и рядом с ней комочек израненного тельца. Лучше бы убили меня. Чувство вины, какое-то очень острое ощущение своей никчемности и даже никчемности всего происходящего... Нет, не совсем верно. Вспомнилась картина одного художника, который представил войну и ее бессмысленность в виде горы или пирамиды черепов с пустыми глазами. Репродукции этой картины часто печатались и в книгах и в учебниках. Она называлась: «Апофеоз войны». Не знаю, как для других войн, но для войны, которую мы вели в 1941—1945 годах, картина с черепами совсем не подходит. Ибо мы дрались с фашизмом. С того дня слово «фашизм» у меня всегда ассоциируется с этим погибшим мальчиком...

3

Не сердцем, а разумом мы понимали: это необходимо! Да, кто-то должен и это делать: стоять в обороне, без приказа не наступать. Мы ждем такого приказа. Каждый раз, когда я возвращаюсь с переправы, кто-нибудь из бойцов кричит:

— Есть?

Я только отрицательно машу рукой, и все понимают: «Нет!» И всем ясно, что речь идет о приказе о наступлении. Ибо ужасно видеть, как от огня и бомб врага гибнут бойцы, дети... Уж лучше рвануться вперед, в атаку, достать его штыком, а если придется... То что же, такова судьба! И этот конец в атаке никого не страшил. Все ждали мига, когда они, «по-русски рубаху рванув на груди», как сказано у Симонова, бросятся вперед и дадут волю своей ярости и гневу. Но бойцам нашего батальона выпало другое: стоять насмерть. Это куда тяжелее, чем идти в атаку, — требуется не рывок, не ступок энергии, а ежедневно, ежедневно, неделями стоять насмерть, требуется хладнокровие, многотерпеливое мужество.

Каждый день бойцы отбивали атаки врага, вели, как тогда часто упоминали в сводках Совинформбюро, «бои местного значения». Обстрел и бомбежка продолжались, как правило, весь день и всю ночь, правда, интенсивность их была различная. Но элементы пресловутой немецкой аккуратности все же сохранялись. Так утром «Фокке-Вульф 189», или «Рама», как его называли бойцы, производит разведку наших и своих позиций, ибо за ночь они изменялись часто. Поэтому трудно понять, где кто. Например, в больнице имени Ильича наши заняли первый этаж, вытеснив фашистов на второй, но из-за отсутствия воды и боеприпасов вынуждены были отступить. Трофеи наших бойцов из больницы зна-

чительно пополнили мои запасы: бинтов, правда, оказалось мало, но зато принесли килограмма полтора белого стрептоцида — когда засыпаешь им раны, они не гноятся, — бутылку литров на двадцать спирта и склянку йода. После облета «Рамы» фашисты включают наши песни, которые до боли раздирают нам души: «Москва майская», «На земле, в небесах и на море», «Катюша», «По Тверской-Ямской». Потом музыка Глинки, Чайковского, Бородина. Затем начинается «политинформация»: фашисты сбрасывают листовки, в том числе и адресованные «батальону Ивасенко». Чаще — «пропуск» в плен, обольщение немецким раем. Наши бойцы если и брали листовки, то лишь «до ветру», как говорили украинцы, ибо те напечатаны были на мягкой разноцветной бумаге. Так что своей цели фашисты не достигали. Но одну листовку я запомнила. На ней был схематично изображен Сталинград, мы — прижатые тесным кольцом к Волге. Затем стрелы с юга и с севера замыкались где-то на западе, и подпись: «Вы в кольце, и мы в кольце. Посмотрим, что будет в конце?» Мы-то теперь знаем, что было в конце.

Потом начинались «психические бомбежки». Кроме бомб, немцы бросали с самолетов железные бочки с отверстиями, сделанными так, что пока бочка летит, то издает страшный, сверлящий звук, от которого холодит душу, а в животе кишки словно узлом завязываются — такая дикая боль. Я уж не говорю о «музыкантах-лапотниках» — «Ю-87», — пронзительный вой их сирен ввинчивается в мозги.

Чем-то нужно было отвлечься от этого психического воздействия. Вспоминали довоенную жизнь, иногда разгорались споры, часто резкие. В эти беседы вступала и я. Обычно читала стихи — и свои и те, что помнила из классиков и советских поэтов. Всем нравились и мои стихи: бойцы были далеки от стихотворной премудрости и не замечали несовершенства техники стихосложения, потому что «стихи были про нас», «о нашей жизни». Такие разговоры в основном велись с ранеными, они в этом больше всего нуждались. Беспомощность — страшное состояние человека!

Земля бугрилась от взрывов. Неба не было видно — так густо висели фашистские самолеты, непрерывно пикирующие на наш участок. Сплошной гул и гром. Взорванная земля поднималась вверх и опускалась на головы густой массой, осыпая всех комьями и пылью, осколками стекла и металла.

Перебегала от одного к другому засыпанному землей или раненому бойцу, натыкалась на убитых. Я ведь на нашем участке одна: Настю Вакулу, санитарку 1-й роты, убили на второй или третий день, как мы сюда переправились. Чужало сердце Насти, что не увидеть ей больше своей Украины. Рассказывали бойцы ее роты, раненные той же миной, которая убила Настю, что и перед смертью она только запела (сидели в окопе во время обстрела): «Ой ты, хмелю, хмелю...» Жажнула мина, и все... Нет Насти. Многих уже нет из тех, с кем переправились той ночью в этот ад. Когда, когда же наконец кончится этот кошмар? Но смерти я не искала, не героизмовала, даже в душе над собой смеялась, как в первые дни боев еще на командном пункте мы не хотели надевать каску. А когда на мне каску прострелили и в ней появилось отверстие от пули в двух сантиметрах от моего виска, я поверила в свою крылатую фортуна. Но теперь все иначе, все очень буднично и все ужаснее. Тут некому тобой восхищаться или же удивляться, тут ты

часто один на один, без свидетелей, со смертью и с раненым, который в бреду вырывается и тебя же бьет или же на тебя и молится. Эта молитва — страшная предсмертная исповедь, суть всего человека, и кажется, в свою последнюю минуту он весь обнажен до предела.

Мне запомнился один мужчина, уже немолодой. Для себя я его сравнивала с Платоном Каратаевым из «Войны и мира». Его подкосило то ли миной, то ли пулеметной очередью. Он как-то осел. Я к нему, а он:

— Бежи, дочка, бежи, может, кому ты нужнее, а мне уже не надо, я сам...

Я все же рванулась к нему, а у него глаза странные, светлые-светлые. Губы побелели, еле шевелятся, силится что-то сказать. Наклонилась.

— Глаза, глаза мне, дочка, землицей или камушком прикрой. А закопать-то не успеете. Да что, спаси вас бог!

Вытянулся, сложил руки на груди и умер. Без стоны, без проклятий. Руки трудяги. Он просто жил и работал, а стало нужно — воевал. Был отец, муж, брат. И ко всему и ко всем относился добросовестно. Вот так и умер добросовестно.

4

Все меньше остается бойцов из тех, с кем переправились сюда. Помню Федю Тимошенко. Он меня обещал застрелить, если что, но об этом позже. Сотника Александра Прокофьевича — это был чудо-богатырь, русский богатырь, ему я обязана тем, что живу. О нем можно большой роман написать, и все равно всего не расскажешь.

Убитых старались всех похоронить. Если была возможность — копали могилу, а чаще зарывали своих в воронки, которых было много. Хоронили без торжественных митингов и без громких фраз, точнее, совсем без слов, молча. О чем говорить? Все и так было ясно. Втайне каждый думал: «Это еще хорошо, что хоть землей прикрыли, им повезло...» Ведь многим нашим товарищам могилой стали развалины, огромные воронки, в которых ничего нельзя было найти.

12 или 13 октября ночью наша 2-я рота вместе с остальными ротами внезапно обрушилась на врага, да так отчаянно, что фашисты в страхе бежали. Наши отбили у них здание гастронома и баню, потом шутили: мол, хотели помыться, а там все равно воды-то нет, ну, и отступили назад. Это так с шуткой о непрерывном бое, который продолжался день и ночь. Тогда взвод под командованием Мартынюка уничтожил несколько танков и бронемашин.

Характерно то, что даже о самых трудных сражениях бойцы всегда говорили с юмором. И все, что ни делали, им казалось мало.

— Ну что вы, это же не как в сентябре у памятника Хользунову, вот там, на «пятакке», действительно ребята творили чудеса! Что стоят лейтенант Беляев и сержант Мильшин — головатые ребята...

О Беляеве и Мильшине рассказывали легенды. Друг другу передавали, малость преувеличивая, будто немцы пробили брешь в стене крепкого старинного здания и приволокли туда пушку, всунув ствол в отверстие, а сами за стеной, как за щитом, и бьют прямой наводкой по берегу, где скопились раненные...

Тогда лейтенант Юрий Беляев и сержант Мильшин подобрались к стене и, вскарабкавшись по разбитым выступам вверх, так что пушка как раз под ними оказалась, начали глушить, как рыбу, гранатой фашистов у пушки. Бросят гранату — побьют их, а новые опять лезут. И наши ребята их снова гранатой. Много набили у пушки фашистов: может, сто, а может, больше.

— Это что, — вступает другой боец, — а помните, как Беляев с Мильшиным у немцев их танк утащили, приволокли на КП, а потом немцев из ихнего же танка и колошматили.

— А как Беляев снайпера, самого лучшего у них, снял на площади Павших бойцов! Молодец! Это он им за дружка своего Аркадия Харченко отомстил. Смекалистый парень! Голова!

Лейтенант Юрий Беляев и сержант Мильшин, особенно после ожесточенных боев в центре города и у памятника летчику Хользунову, были самыми популярными среди бойцов 748-го зенитно-артиллерийского полка. Мы тогда еще не знали, что Беляев тут вместе с нами в истребительном батальоне. Его рота сражалась в районе завода «Красный Октябрь».

К тому, кто рассказывал о Беляеве, обратился молодой боец:

— А ты тоже голова — как сегодня фрица обжегил! Здорово трахнул по танку, как тебе удалось его обойти?

— Так то ж просто. Я, значит, вижу: он, значит, танк, прет на мой окоп и стреляет, гад, в упор. Ну, я выскочил — и бац, вроде меня убили. Лежу, как мертвяк, и бутылку прижимаю к себе, будто в ней не зажигалка, а «святая водица» в сорок градусов. Он, значит, поверил, что я убит, и повернул на ваш окоп. Тут-то я враз и «воскрес» и бутылкой по броне — танк загорелся. Фриц было вылез бежать, а вы его лупанули, чуть и мне не досталось.

...Даже в таком, казалось бы, немыслимом положении люди тянулись к красоте, и верили в нее, и искали в ней спасение. Перевязывая одного раненого молодого командира, вытащила из нагрудного кармана его гимнастерки документы, чтоб заполнить лист на переправу. Из удостоверения посыпались крошечные листочки мелко изорванной бумаги, я их вытряхнула... Раненый, увидев это, как закричит:

— Что ты наделала? Это же записка! Клавдии Шульженко записка!

Я удивилась: бумажки-то совсем чистые. Но мало ли что случается при ранении — бред, галлюцинации. Как ни в чем не бывало, аккуратно подобрала клочки бумаги и положила ему в нагрудный карман, который он потрогал с такой нежностью, будто там было само счастье.

Позже, уже на переправе, когда ждали лодку, он мне рассказал о себе. Родные у него жили на самой границе под Брестом. После школы он поступил в военное училище, проучился несколько месяцев, дали звание младшего лейтенанта — и на фронт, всем выпуском, сами просились. На прощальном вечере выступала Клавдия Ивановна Шульженко. Очень хорошо пела, особенно запомнилась ее «Записка». Певица выходит на сцену, и в ее руках бумажный листок. Она поет, будто читает записку, по ходу песни складывает ее выразительными движениями рук и медленно рвет на мелкие кусочки, а потом приближается к рампе со словами:

— ...Так зачем в душе и в памяти хранить...

Вашу записку в несколько строчек... —

и красивым жестом бросает со сцены клочки записки — они веером летят в зал.

— Мы, курсанты, кинулись их собирать. Мне больше всех досталось, потому что сидел в первом ряду. Это еще не все, несколько бумажек я дал другу, который не успел ни одной поднять. Я их храню как талисман, который мне очень помогает. Год уже воюю, а ранило впервые. — Он замолчал, как будто всматриваясь в то далекое довоенное, очень дорогое и близкое. Потом продолжал: — Мы тогда решили: кончится война — все вернемся и соберем по кусочкам эту записку, не беда, что на ней ничего не написано, но она порвана ее руками. И подарим Клавдии Ивановне Шульженко. А она нам споет... Какими мы были наивными... Мы верили, что все вернемся. — Потом вдруг: — Скажите, я буду жить, как вы думаете? Буду?

— Конечно. И вы и я — мы обязательно будем живы. После войны вместе послушаем и посмотрим Клавдию Ивановну Шульженко. Ведь я ее не видела, я только слышала по радио и в записи на пластинках. Мы обязательно будем живы, я в это верю, верю, что вы вернетесь и сложите эту записку, пусть в ней будут не все клочки, но их будет много, как и ваших вернувшихся друзей...

Раненые бойцы тоже внимательно слушали его рассказ (лодки все еще не было), кажется, на миг забыв о своих муках. Пожилой боец, раненный в ногу, даже перестал стонать, потом, помолчав, не сказал, а будто выдохнул:

— Боже мой, она искренне верит, что останется жива! Как это хорошо! Верь, дочка, верь, всех же не убьют. Расскажи об нас, пусть знают люди: дел-то великих не всем достается, а вот лопата — каждому, сколько земли-то на войне перекопали, да и пуля тоже каждому. Только одного сразу скосит, а другого долго ищет. И каждый надеется: авось не найдет. И все мы одинаково страдаем (это слово я запомнила), а жить-то охота всем, да, видно, не всем дано.

Я тоже в душе считала: «Не дано», — а посему не запомнила, даже больше — не спрашивала фамилий. Какая разница, кому помогать? Ведь каждый боль ощущает одинаково, а каждому по возможности надо помогать. Пока жива, нужно перевязывать, тащить, переправлять. И я это делала.

Теперь даже те фамилии, которые помнила, в памяти стерлись. А люди остались. Так, например, не забылась Маруся Ковалева, или Коновалова, или Кузнецова, что-то в этом роде, и Настя, фамилию которой не помню совсем. Мужья этих женщин погибли на заводе «Баррикады». Бараки с их личным имуществом сгорели от бомбежки. Они поселились в огромной воронке от бомбы, которую оборудовали и превратили в жилье. У Насти был маленький ребенок, она родила его 23 августа, в день бомбежки Сталинграда и завода, в день гибели своего мужа. Ее, еле живую, вместе с новорожденным вытащили из пылающего барака. У Маруси мальчик Гена лет пяти. И еще у них жили два или три ребенка, которых они взяли после гибели их родителей. Эти женщины всегда были для нас образцом мужества и терпения. Глядя на них, я себе говорила: как ни тяжело мне, но не труднее, чем им.

Детей нужно было кормить, купать, а водопровод разбит, единственный колодец — и тот под прицельным огнем фашистов. И вот они добираются ползком до Волги, а потом обратно — тащат на себе воду. Видят: то баржу с зерном разбило или еще что-то — и они несут детям зерно, патоку, вообще все, из чего можно сделать пищу. Женщины-сталинградки, оставшиеся в городе или оттого, что

не смогли эвакуироваться, или потому, что не хотели покидать обжитых мест, твердо веря в победу наших войск, в то, что Сталинград не сдадут, вселяли в бойцов столько энергии, столько отваги, что не устоять было нельзя. Видя, как эти женщины живут, воспитывают детей, как им трудно в адской обстановке, бойцы чуть ли не молились на них, каждый думал: «Вот так и моя, так и мои страдают».

А гражданское население, в свою очередь, воспитывало стойкостью и храбростью бойцов и старалось помогать нам всем, чем могло. Когда у меня кончились бинты и перевязывать было нечем, Настя и Маруся приносили мне простыни, наволочки, чтобы нарезать из них бинты, и вообще все, что можно было найти в уцелевших квартирах и зданиях.

Конечно, и я, и бойцы, и командиры отдавали делом свой сахар и другие продукты, пока они у нас не кончились. Однажды Гена (он был старший среди детей), когда не было женщин, выбрался из землянки и побежал через дорогу — надоело ребенку подземелье. Гену застрелил фашистский снайпер. Мальчик лежал на «ничейной» полосе, снайпер не давал к нему подойти. И только ночью наши бойцы смогли его забрать.

Кольцо обороны сжималось все тесней. Людей оставалось все меньше и меньше. Как-то в ротную землянку зашел полковник танковых войск. Мы даже вскочили от восторга. «Наконец-то существенное подкрепление — значит, наступаем!» Но восторг был преждевременным. Вошедший отрекомендовался командиром танковой не то бригады, не то дивизии, которая состояла всего из одного танка... командирского. Похоже, он тоже был разочарован: надеялся увидеть целую дивизию, а тут... Хотел уже уходить, но вдруг заметил меня, страшно удивился.

— Богато живете! У вас даже санинструктор есть! Ну, бывайте.— И скрылся так же неожиданно, как и появился.

Мы переглянулись: настроения он, увы, не только не поднял, но...

5

Чуть ниже нас, рядом с трамвайной линией, стояла зенитная пулеметная установка. Точно помню, как 14 октября ко мне из ее расчета прибежал парень:

— Перевяжи!

Ранение было в руку, выше локтя. Кость, к счастью, не задета. Чтобы отвлечь его от боли, пока обрабатывала его рану, расспрашивала... Он рассказал, что его зовут Виктор, родом из Калининской области, ему двадцать один год. В расчете их двое: он — шофер, и девушка — командир расчета. Их точка тут осталась единственной. Но они будут сражаться до последнего дыхания.

Я предложила ему эвакуацию по ранению. Он наотрез отказался:

— Что? Я же шофер и второй номер. Хоть одной рукой, да буду помогать.— Поблагодарив за перевязку, он поспешил уйти, как будто его и в самом деле, вопреки его воле, эвакуируют.

Наутро, обходя свои позиции, зашла на пулеметную точку, посмотрела у Виктора повязку сверху — сухая, не стала беспокоить рану. Какое же все-таки чудо — этот стрептоцид! Засыпанный в рану, он как бы цементирует ее. Дезушка сказала:

— Не бойся, до свадьбы заживет!

И вдруг:

— Воздух!

Парень вскочил на машину — и к пулемету. Я кинулась скорее к себе в батальон.

Началась «обработка» наших позиций. Одновременно минный обстрел и бомбардировка с самолетов «Ю-87». Восемнадцать бомбардировщиков пикируют на наши позиции. Зенитная пулеметная точка открыла огонь. Одной удачной очередью подбила бомбардировщик, он задымил и взорвался. Мы все, не помня себя от радости, громко кричали:

— Ура! Ай да девка! Ай да молодец!

Но радость была преждевременной. Остальные семнадцать «Ю-87» развернулись, построились в ниточку и обрушились разом на пулеметную точку. Один выходит из «пики», другой пикирует, и так колесом все семнадцать самолетов, оснащенных по последнему слову тогдашней техники, вступили в неравное единоборство с простой русской девушкой. Слившись с пулеметом, ничего не замечая вокруг, она вела огонь... Около нее бушует смерть. Земля поднимается фонтанами вместе с огнем и дымом. А пулемет все строчит и строчит. Как подкошенный, упал в машину парень, а девушка все стреляет! Горит машина. На девушке загорелась юбка. Она все стреляет и стреляет. Пламя поглотило девушку раньше, чем замолчал ее пулемет... Сгорело все. И мы так и не успели узнать, кто они были, или хотя бы записать номер их машины.

Я навсегда запомнила ее улыбающееся лицо, светлую прядку волос, волевой подбородок и глаза, озорные и чуть-чуть с раскосинкой... И веселые ямочки на щеках. Появилась эта пулеметная точка дня три-четыре назад. Пробежала мимо ее машины, я только махала рукой: «Привет!» — и поговорить было некогда... А теперь... Один из бойцов сказал:

— Вот действительно это герои! А кто их видел? Мы. А сколько нас останется в живых? Кончится война, и те, которые ее не знали совсем, будут о нас слагать легенды. Но вот такого и придумать нельзя...

Мы стали твердокаменными, будто после этого боя зенитно-пулеметной точки с семнадцатью немецкими бомбардировщиками лишились нервов. Нам было очень тяжело еще и оттого, что мы не могли, как зенитчики, отомстить стервятникам, бросившимся стаей на свою жертву. Но мы могли отомстить на земле тем, кто рвался в Заводской район. И отомстили.

В полдень 15 октября противник перешел в наступление на наш батальон. Такого огня мы еще не видели. Боевые порядки обстреливались шестиствольными минометами. Бойцы 1-й и 2-й роты отошли, оставив здание гастронома, и закрепились в больнице имени Ильича, на сей раз начисто выбив оттуда немцев.

Но ярость, ярость и месть за порушенную жизнь, за только что сгоревшую пулеметницу удесетерили силы бойцов в неравном бою с противником. Враг напирал, его встретили отчаянным огнем наши поредевшие роты, поредевшие в боях, но несломленные. И тогда с еще большим остервенением на нас бросились пикировщики, и открыли огонь шестиствольные минометы. Все стонало кругом.

Во второй половине дня прямым попаданием бомбы разрушило штаб батальона, под его обломками были погребены командир батальона капитан Ивасенко, политрук Гольштейн, военфельдшер и еще несколько человек. Был ранен начальник штаба батальона лейтенант Солдатенок.

Только недавно я узнала, что накануне они отправили в свой родной 748-й полк письмо — оно хранится в Центральном Архиве Министерства Обороны. Вот оно:

«Привет друзьям из родного 748-го ЗАП! Снова в бою, снова непосредственно бьем гадов. Жаль, что не было времени на обучение, но в бою все исправим и подтянем. Сталинград отстоим, будем стоять насмерть! Положение здесь сейчас такое, как в последние дни у памятника Хользунову. Но мы сейчас действуем активнее. Отобьем врага, победа будет за нами. Командир батальона капитан Ивасенко. Военный комиссар батальона политрук Гольштейн. Начальник штаба лейтенант Солдатенок».

Они точно выразили наши мысли, очень точно. Так думали все. Не раз бойцы вступали врукопашную. До вечера шел непрерывный бой. Нас осталось мало, да, видимо, и врага тоже, многих фашистов положили в этом бою бойцы истребительного батальона. Натиск врага так же неожиданно прекратился, как неожиданно начался.

Посланный на командный пункт связной вернулся и доложил:

— В командование батальоном вступил раненый Солдатенок. И когда озверелые фашисты попытались с ходу ворваться в расположение командного пункта, они были встречены мощным огнем уцелевших средств. Главными были семь ручных пулеметов. Враг был остановлен на удалении ста метров от командного пункта и ближе не смог подойти.

На нашем участке враг тоже не прошел. Не прошел, хотя, кажется, овладел Тракторным заводом и вышел там к Волге.

Наутро 16 октября связной уже не мог попасть и на командный пункт батальона: там были немцы. О судьбе оставшихся мы могли только предполагать. Враг превосходящими силами, видимо, восполненными за ночь, глубоко вклинился в нашу оборону, отрезав нас от других рот. Но на участке нашей роты шли бои «местного значения», правда, менее интенсивные, но непрерывные. Рота была вынуждена отступить и занять позиции ближе к заводу «Баррикады» в Нижнем поселке. Весь день 17 октября рота удерживала эти позиции очень сильно измотанными в боях взводами, в которых оставалось по три-четыре человека, но сражались храбро!

6

Вечером мне нужно было войти в командирскую землянку, где хранились остатки медикаментов и перевязочного материала. Но там было совещание, и меня не пустили. Командир сказал:

— Зайдете потом.

По тону, каким это было сказано, и по отрешенным взглядом сидящих в землянке я почувствовала что-то недоброе.

Вышла. Стою. Темно. Тарахтят наши «кукурузники». Я мысленно молю их: «Скорее, скорее сюда! Заставьте замолчать фрицев!» И они действительно — к нам. А потом — гранатами по нашим окопам и ходам сообщения! Свои же! И тут по нашим позициям ударили и наши «Катюши». Я, не дожидаясь вызова, врываюсь в землянку:

— Нас наши же бомбят и обстреливают «Катюши»! Дайте им сигнал!

Все бросились к выходу, а командир крикнул:

— Куда? Все в укрытие!

Работали «Катюши» — зигзагообразная молния... Потом шелест сухих листьев... Через секунду — разрывы. Сперва редкие «тах-тах-тах», словно выстрелы. А потом — частые, как пулеметные очереди. Впечатление такое, что обстреливают со всех сторон одновременно. Это и есть «горячие объятия» нашей прославленной «Катюши»!

Старшина Яша Михайленко выскочил из землянки и тут же упал с криком:

— Ой, пятку печет!

Я и другие подбежали к нему. В стороне валялся его сапог с оторванной ногой, а старшине казалось, что печет пятку. Его подняли и положили так, чтобы он не видел оторванной ноги. А старшина мне все твердит:

— Так перевязывай! Не разрезай сапоги, они новые, не порть казенного имущества.

Мы его перевязали, дали спирту и отправили на переправу. Вскоре меня вызвал командир. С ним были комиссар и пожилые бойцы. Все очень серьезные и молчаливые. Командир сказал:

— Вот тебе задание: доставь на переправу двух раненых, а потом пойдешь на Большую землю и передашь вот эти документы и пакет. — Подал мне запечатанные пакет и сверток.

А комиссар добавил:

— На словах скажи, что в нашей роте трусов не было, все сражались героически, стойко выполняли приказ. Фашисты к «Баррикадам» не прошли. Ясно? — Ясно. Когда возвращаться?

— Возвращаться не надо. Там в бумагах написано все. Жива будешь — после войны приди на это место: здесь много наших полегло. Тут, наверное, будут жить хорошие люди. Расскажи, как сражались здесь зенитчики.

В землянку вошел боец Сотник.

— По вашему вызову...

Командир прервал его:

— Вместе с санинструктором проводите на переправу раненых, а потом доставить в целости документы в полк. Документы у Матвеевой. Вот ваши пропуска. Будьте осторожны. Прощайте!

Мы откозыряли и ушли за ранеными. Вместе с ними двинулись к переправе. Вдруг:

— Марийка, постой! — Это догоняет нас командир — лейтенант Иван Андреевич Хареба. Он схватил меня в объятия и поцеловал крепко-крепко. — Прощай, радость моя! Вот уж никогда не думал, что именно тут я найду свою любовь для того, чтобы сразу же ее и потерять. — Раздался вой не то бомб, не то мин. Он закричал: — Бегите скорее! Скорее!

Я побежала за своими товарищами. Потом оглянулась: где-то позади командира рвались мины, а он стоял неподвижно, и я видела его длинную артиллерийскую шинель. И слышала его голос:

— Скорее, скорее! Сотник, береги ее, береги себя! Прощайте! Всем, кто помнит, — привет! Прощайте!

Мы быстро продвигались к берегу Волги.

Сотник Александр Прокофьевич... Тогда ему было лет сорок. Колхозник из Чкаловской области. Дома у него оставались жена и четыре дочери. Как санитар он часто помогал мне переносить раненых на переправу.

И сейчас мы вместе с ним и ранеными пробираемся по знакомым траншеям, воронкам, через завалы, потом — в длинную щель, выходящую прямо с завода «Баррикады» к Волге. Вот и на месте. Раненых сдали на приемный пункт для отправки за Волгу. Потом я отметила его и мой пропуск, чтобы переправиться через Волгу. Поворачиваясь к нему, а он по-отцовски обнял меня за плечи.

— Прощай, дочка!

— ?!

— Нет, я не могу переправиться. Они остались тут, может, погибнут, а я? Да как я потом жить буду? Какими глазами стану смотреть на жену и дочек? Вот, мол, нате, я живой, а они, товарищи мои, погибли за меня! Нет, не по совести это!

— Но ведь нас послали?

— Потому и послали, что ты девушка. Тебя сберечь надо, и правильно! А я-то мужик. Но меня послали потому, что моя семья в тылу, на Урале. Иди, мол, к детям, спасайся! Берегут, значит. Спасибо им. Душевные у нас командиры. Но ведь у них-то тоже есть семьи, жены, дети, отцы, матери. Только они в другом тылу — у немцев. Нет, это негоже. Вот когда да их семьи освободим да в Берлине побываем... Вот тогда — с чистой совестью-то и по домам. Эх, хорошо-то будет! Ну, а сейчас прощай! Иди. Я вернусь к ним, ведь их там мало и каждый боец — сила. А я тем более: я им теперь за тебя буду и раны перевязывать. А коль суждено погибнуть, так всем вместе. На миру и смерть красна! — И Сотник скрылся в темноте.

Боже, как я сама этого не сообразила! Мы так ждали приказа о наступлении, а когда почти все погибли в обороне, уже ждали приказа об отступлении, ибо людей оставалась горстка. Поэтому приняли решение: отправить нас жить. Так вот что значат слова: «...После войны приди на это место...»

Сотник возвращается к товарищам, зная, что им предстоит: в такой момент не врут и не рисуются! Тут все обнажено до предела: и правда, и любовь, и ненависть, и смерть! Но Сотника ждут домой жена и его четыре дочери. А я? Кто ждет меня? Нет ни мамы, ни папы, ни сестренки — все погибли. К тому же я санитар. Мне и вовсе не по совести уходить. Но как быть с документами и донесением? И вдруг почти рядом:

— Фельдшвыз! У кого есть донесения? Прошу сдать сюда.

Я мигом сдала документы и получила расписку об их принятии фельдшвызью, которая доставит все куда нужно. Теперь свободна и — бегом за Сотником.

Я его догнала, когда он еще не успел выбраться с берега на кручу. Похоже, это его несколько не удивило, он только спросил про документы.

— Ну и молодец! — Потом, помолчав, добавил: — Так вот, Мария, зови меня Сашей! Мы с тобой ровня, товарищи, значит. А товарищам негоже звать друг друга иначе.

Это было естественно: бои за Сталинград, опасности, которым мы подвергались, сравняли наш возраст, а довоенная разница в годах не имела значения. Вот почему даже сейчас фронтовики, встречаясь, называют друг друга коротко по имени или просто «мальчики» и «девочки».

Обратный путь был тяжелее. Подолгу приходилось отсиживаться в воронках от бомб, пережидая бомбежку. Бомбили наши самолеты «ТБ-3». Сотник говорит:

— Чудно! Я всю жизнь на жену обижался, что она мне одних девчонок родит! Ну что девка? Какой из нее толк? Я с ней ни на работу, ни на войну. Ай, видать, ошибся. Вижу: настоящие люди — девки, и везде пригожи, коль они комсомолки такие, как ты. Вот кончится война, приеду домой, и жене пятую дочку закажу, и назовем ее в честь тебя Марией.

Я рассказала, что меня так назвал папа в честь сестры милосердия, которая в гражданскую ему спасла жизнь. Я, если буду жива и родится сын,

назову его Сашей, а если дочь, то в память о моей матери — Еленой...

Стихло, и мы начали выбираться из воронки. Вдруг кто-то схватил меня за сапог:

— Куда? Вы что, к немцам решили драпать?

Саша сразу же вцепился неизвестному в воротник.

— А ты кто будешь?

Неизвестный назвался начальником штаба нашего истребительного батальона, назначенного вместо раненого Солдатенка. Он нам сообщил, что уже два дня назад отдан приказ о выводе остатков нашего батальона из боя, вместо него позиции здесь занимают другие части, а батальон уничтожен и за железной дорогой никого из наших бойцов нет. У меня молнией мысль: «Так вот почему нас бомбит наша авиация и обстреливают «Катюши»!..»

— Какой номер приказа и кто подписал? — закричала я.

Он сказал. Я, забыв обо всем, выскочила из воронки и бросилась в сторону батальона, чтобы им побыстрее сообщить об этом. Быстрее, пока всех наших не убили. Сотник поспежал за мной, что-то кричал, но я не обращала на него никакого внимания, подгоняла себя: «Скорее, ну скорее же!» Я не слышала, как снова начали бомбить наши самолеты. Раздался грохот, меня что-то очень мягко, словно на маминых ладонях, подбросило вверх, сердце сладко замерло, и... больше я ничего не помню.

Сотник трясет меня и бьет по щекам.

— Очнись! Тебя только оглушило! Ты приказ, приказ-то помнишь?

Оказывается, он меня подобрал и тащил с километр до командного пункта нашей роты. Я огляделась. Голова ватная. Уже рассветает. Около меня и Сотника собрались бойцы.

Нет комиссара — он погиб, когда мы доставляли на переправу раненых. Пришел взводный Мартынюк. И еще кто-то. Посовещались, решили не уходить при свете: это было бы самоубийством. Надо держаться. Противотанковые ружья разбиты. Патронов мало. Гранат нет.

Заняли оборону. От батальона осталось очень мало. Оборона жиденькая. Угнетало то, что у нас было не только мало людей, но почти не было патронов. И второе — что по нашим позициям били и свои и немцы.

7

Утром к нам прибежали Маруся и Настя — у обеих в руках большие узлы. Мы их пригласили в землянку, думали, что к нам скрываться от танков пришли. Оказывается, нет. Это они нас спасать решили.

— Тракторный завод — у немцев, фашисты ходят по окопам и пристреливают наших. Вот мы и собрали для вас гражданскую одежду, — говорит Маруся. — Переодевайтесь, а свое военное пока закопайте. Может, немец гражданских убивать не будет.

Логика женщин была очевидной, а желание нас спасти — беспредельным. Мы все молча смотрим то на женщин, то на командира. Он сказал:

— Я кадровый военный. Я окончил военное училище и получил звание не для парада. Всех же вас военными сделала война: вам я разрешаю переодеться и снять форму. Я же, если придется, смерть приму в форме.

Кто-то уже начал разворачивать узел, но после слов командира, лейтенанта Харебы, еще туже завязал узел. Мы поблагодарили добрых женщин, но от переодевания, от выбора «более легкого» отказались все. Женщинам же посоветовали спрятаться в землянках поглубже.

Женщины ушли, и стало тихо, как в гробу. Раненый в голову, который лежал у меня на коленях, перестал стонать. Тихо, а на душе даже как-то светло стало. словно мы только что избежали страшную опасность. Или же какое-то унижение, что ли. Все с гордостью и тоской смотрели друг на друга и на командиров. И я вдруг вспомнила, что наш командир беспартийный, а все сделали так, как он, хотя он ничего не требовал. Это было, как мне казалось, особенно ценно. Я сидела в углу. Хареба что-то писал на планшете. Около выхода из землянки сидел Федя Тимошенко, в руках у него была винтовка, которую он называл «Маруся» — по имени своей жены. И по тому, как прижимал Федя к себе винтовку, было ясно, что мысленно он сейчас видел жену.

...Так текло время. Кто-то, сменившись, пришел в землянку и сказал:

— Лютует фриц. Танками давит все бугорочки, окопы, землянки. Всех выбегающих из окопов уничтожают или же в плен тащат. Ужас, что делают! Командир заметил:

— Живыми он нас не возьмет. В крайнем случае будем стреляться. У кого осталось сколько патронов? — И вытаскивал из кармана горсть.

Патроны подсчитали и распределили по-братски. Одну пулю он подал мне.

— Примите вместо роз, которые вам, Матвеева, дарить бы надо. А вот приходится дарить пулю, таковы дела... Все патроны не расходовать, один оставить себе.

Потом командир сказал, чтобы себе в грудь не стреляли: можно остаться в живых, и тогда наверняка попадешь в плен, а это еще хуже.

— Нужно вот куда стрелять, смотрите. — И он показал. — Отмерьте два пальца выше левой брови и четыре пальца от уха. Здесь, на пересечении, висок. Пуля в висок — моментальная смерть.

Я зарядила свой наган, попробовала. Пальцы короткие, трудно тянулись к спусковой скобе. Кто-то сказал:

— Эх, ты в себя не выстрелишь: рука коротка и пальцы слабые. А уж как лютует фашист над девушками, особенно над военными, сестрами нашими. Один мой друг бежал из плена, так рассказывал...

— Ладно, хватит! — Это командир оборвал рассказчика.

Я обратилась к командиру:

— Вы сначала в меня выстрелите, а после уже в себя. Ладно?

Он долго молчал, потом с болью произнес:

— Прости, Марийка, прости, но я не смогу... — Это он второй раз за все время назвал меня по имени. — Не смогу. — И снова: — Не смогу!

Примерно неделю назад я перевязывала раненого. Он весь, как решето, был пробит осколками: ноги, руки, грудь, живот. Он, конечно, понимал, что его спасти нельзя, и просил меня пристрелить его. Я... Я, конечно, не могла. Тогда раненый начал на меня кричать:

— Я на «французском», на «Баррикадах», пушки лил, я первым стахановцем был! Неужели сейчас я десять грамм свинца не заслужил, чтобы прекратить мои муки? Дострели меня. Ты же знаешь, что мне ничем нельзя помочь. Ты что, слаонервная или дурная? Меня сам бог уже не спасет. Умоляю: пристрели... прекрати мои муки!

Что я могла сделать? Чем помочь? Нет, нет... я действительно... не могу, не могу его пристрелить. Кажется, раненый на минуту затих, прикрыл глаза, потом вдруг опять стал пытаться подняться, поманив меня пальцем: мол, что-то скажу... Стоя перед ним на коленях, я наклонилась к его лицу, тогда он вдруг схватил меня за пояс, силясь вынуть из кобуры револьвер, чтобы самому застрелиться. В последних судорогах он еще крепче сжал холодеющие руки у меня на ремне и всей тяжестью умирающего человека потащил вниз на себя. Из всех сил старалась сохранить равновесие, но вдруг он вытянулся и стал оседать на землю, увлекая за собой и меня... Так и умер, крепко держась за мой ремень.

Все это видела та пулеметчица, что сгорела в бою. А тогда она крикнула бойцам у дороги:

— Помогите, сестру ранило!

Прибежали двое:

— Что, куда тебе угодило?

Поняв, в чем дело, стали освобождать меня из рук мертвого, но это не так-то легко: буквально — схватил мертвой хваткой. Потом один догадался расстегнуть мой ремень. Освободили меня, а затем и ремень выдернули из мертвых рук и отдали мне. Я себя чувствовала виноватой, «слаонервной» перед этим человеком.

...Оказывается, наш командир тоже «слаонервный».

Но всему приходит конец. Прежде нас спасал тот ужас, который испытывали немцы перед нашим батальоном: не зря они сбрасывали листовки, адресованные лично Ивасенко и бойцам батальона, предлагая сдаваться, обещая раем, но бойцы фашистов гнали в ад! Это было раньше. Сейчас они действуют осторожно, с опаской. Но конец медленно и неизбежно приближается.

Вдруг мы четко услышали лязг гусениц танков: они движутся на нас! Отбить их нам не удастся — гранат нет, ружья разбиты. Единственная надежда: не обнаружить себя, может, пройдут стороной. А если конец, только не плен. Я обратилась к бойцам:

— Ребята, не дайте меня в плен! Застрелите... Сейчас же...

Все отказались. Тогда сидевший у входа Федя Тимошенко сказал:

— Эх, Маруся! Я тебя из своей «Маруси»... — И только повернул на меня ствол винтовки, как на него кинулись сержант Кольчуженко и еще кто-то. Федя смущенно: — Да что вы, братцы? Разве ж я смогу?

Лязг приближался. Все замерли в ожидании. У маленького окошечка-щелки стоял лейтенант Мартынюк и комментировал:

— Вот идет на наш окоп... Вот завернул вправо... Вот... — А сам в это время машинально что-то бросал в рот и торопливо жевал.

Один боец не выдержал:

— Да брось ты жевать! Говори толком, что видишь!

Мартынюк не спеша повернулся и сказал с ледяным спокойствием:

— А что, фрицам оставлять? Лучше уж я сам напоследок вволю покушаю, — и продолжал комментировать.

Танк прошел, не обнаружив нас. Все вздохнули:

— Пока пронесло...

Очень мучительно тянулись минуты... В голове у меня пустота. Вдруг отчетливо поняла, что смотрю на себя со стороны: вот была Марийка Матвеева, ей двадцать лет, у нее были мечты, планы,

радости и свои горести, но я ее не знаю! Может, через несколько минут ее уже не будет в живых... Все забудут Марийку... И никому неизвестно, как ей хотелось стать летчицей, как в Ленинграде по секрету от подруг она ходила к врачам, хотя знала, что в аэроклуб ее не примут, ибо жестокая малярия в детстве и в юности оставила свой пагубный след на печени, легких. И все же ей очень хотелось летать, и она надеялась: «А вдруг?» Но не прошла, врачи в Ленинграде, как и дома, свое дело знали и оказались единомышленниками: «Нельзя». Даже самым близким она не говорила ни о своей мечте, ни о своей обиде. Остались только стихи...

...— А этот уже идет на нас,— продолжает спокойно Мартынюк,— черный, чешский... Вот разворачивает башню.

Взрыв. Перед глазами черно-красное пламя. Взлет куда-то вверх, а потом — вниз в пропасть, в темноту. Все черно и глухо...

8

Первое, что ощутила,— это тяжесть в голове, земля и песок в носу, во рту, в ушах и запах гари. Кто-то тащит меня вверх.

— Осторожнее, оторвешь руки... Скорее, скорее,— услышала тихий голос.

Поднялась. Ночь. Темно.

— Иди сможешь? Да? Тогда быстрее, пока фрицы не обнаружили.

Бежим. Меня поддерживают. Стрельба редкая. По земле стелется дым. Зубы стучат — стискиваю челюсти. Холодно или нервная дрожь? Тело чужое, ноги плохо слушаются, переступают вопреки моей воле, хотя, похоже, воли вообще нет. Все словно в замедленной съемке: бежим, ползем, ложимся и вновь бежим, а из кадра будто не выбегаем — вокруг одно и то же. Но нет, не одно и то же: вот овраг, вот щель и, наконец, Волга. Тут суетно и беспорядочно. Много раненых — наверное, давно не отправляли, — ими буквально усыпан весь берег. И трупами — это «работа» фашистских самолетов здесь, на берегу. Я на минуту отстала от своих, и меня тут же оттеснили. И я бы наверняка потерялась, смеявшись с толпой, но мои товарищи начали меня звать:

— Матвеева, где ты?

На этот крик отозвался лейтенант Белашов — он тоже вырвался один, его рота погибла от бомбежки и обстрела. Белашов присоединился к нашим ребятам. Теперь нас было пятеро: Хареба, Сотник, Мартынюк, Белашов и я. Всего. Другие остались там... Погибли.

К нам подошел один старший лейтенант. Он командовал на переправе. Однажды мы с ним поспорили из-за того, что я своих раненых старалась вне очереди переправить. Он тогда, конечно, возражал и требовал порядка. А тут прямо как снег на голову:

— Назначая тебя старшей по переправе раненых. Вот в твое распоряжение двенадцатиместная лодка. Переправь всех раненых, сначала тяжелораненых, затем... Короче, согласно инструкции...

Я села в лодку. Загрузили человек двадцать пять, пятеро бойцов сели за весла. Отчалили. Волгу бомбят и обстреливают. У левого берега лодка начала тонуть, кажется, где-то пробоина. Тогда Сотник, Хареба, Мартынюк, Белашов и еще кто-то нырнули в Волгу и стали подталкивать лодку, не давая ей затонуть. К счастью, левый берег — мель, и они

буквально на руках вынесли лодку к берегу. Выгрузили раненых, доставили их на приемный пункт медсанбата. Лодка сразу затонула: она была вся пробита.

Тогда, в ночь на 19 октября, было очень холодно, шел дождь со снегом. Мы искали штаб 1087-го малокалиберного зенитно-артиллерийского полка, куда прикомандировали наш истребительный батальон.

Идти было очень тяжело, и не только оттого, что мы перемерзли, но, может быть, оттого, что спало нервное напряжение, которое нас поддерживало. Попытки попасть в какое-нибудь помещение прогреться безуспешны: все избы переполнены, двери закрыты изнутри, и их никто не открывает.

На наше счастье в лесу на отшибе увидели избы. Стучим в окна, в двери — не открывают. От холода я уже оцепенела, одежда покрылась льдом. Тогда Белашов, остервенев, вышиб дверь и остановился: изба была пустой. О, чудо! На чердаке дрова и солома! Но спичек нет, все раскисли. У кого-то нашлось кресало, и мы стали из него высекать искру. Боже, какая ценность — искра! С огромным трудом от нее разгорелось пламя. Философски изрекли: «Тепло — это жизнь». Но оказалось, что огня мало: нужна еще и пища. Только согревшись, ощутили, как мы голодны. Обыск избы ничего не прибавил — пищи, увы, нет! Стали жевать солому, она определенно пахнет хлебом! На огонь, точнее, на дым из трубы, стали идти бойцы, такие же, как и мы, «бездомные».

К утру в этой небольшой избе набралось народу с роту. Из девушек я одна. Мне, конечно, уступили место у печки. А люди все шли и шли. Слышу, кто-то кому-то в дверях:

— Ты потише языком-то чеши, тут девчонка-сестренка с фронта, из Сталинграда, прямо с того света...

И сразу стихала ругань, люди переходили на шепот, а мне по цепочке передавали кусочек сахара или сухарь...

...Люди в беде щедры, а в военной беде особенно внимательны и добры. И из душе тепло, тепло и от печки и особенно от человеческого участия этих пропахших потом, махоркой и порохом людей. В нагрудном кармане меня согревает фотокарточка, а перед глазами проплывает совсем недавняя картина: наша землянка, у меня в руках пуля (вместо роз)... И голос командира: «У меня в голове, как ни странно, вертится песня. Мы ее пели в училище в строю: «За тебя, за очи голубые, за любовь пойду на смертный бой...» Я тогда смеялся над сочетанием слов «любовь», «очи голубые» и «смертный бой». А теперь вот как для меня все это обернулось. Оказывается, это правда!» Он вытащил свою маленькую фотографию, на обороте написал слова из этой песни и подарил мне. (Сейчас эта фотография хранится в Волгоградском Музее Обороны Царицына-Сталинграда вместе с моими дневниками.) В ответ я тоже подарила ему свою маленькую фотокарточку с оптимистической надписью: «Моя любовь — смерть победит в бою любом».

Засыпая в этом безмятежном спокойствии избы, уже не на передовой, я сама себе сказала: «А все-таки я счастлива!»

Утром 19 октября по грязи и под дождем отправились на поиски пристанища. Наконец, прибыли в бывшее правление колхоза «Колхозная Ахтуба».



Мария Ивановна Матвеева. 1981 год.

Там размещался штаб 1087-го полка. Тут мы узнали, что наш батальон понес большие потери от своей авиации и своих «Катюш» по вине старшего лейтенанта Шевчука, назначенного командиром батальона после гибели капитана Ивасенко. Шевчук легко поверил в гибель батальона и, даже не попытавшись пройти на его позиции, доложил, что вся территория расположения батальона занята врагом, что батальон полностью уничтожен. Вот почему перестали нам доставлять продовольствие и боеприпасы, хотя весьма прицельно бомбили нас наши же самолеты и обстреливали «Катюши». За трусость и малодушие, за то, что по вине Шевчука погибли сотни бойцов, осталось много вдов и сирот, суд военного трибунала приговорил Шевчука к высшей мере наказания — к расстрелу.

Переправившиеся через Волгу в ночь на 19 октября, так же как и прибывшие сюда прежде раненые бойцы и командиры истребительного батальона, были зачислены в списки 1087-го полка.

Узнав об этом и о том, что управление нашего полка находится по приказу корпусного района ПВО в В. Баскунчаке, откуда руководит зенитными средствами, обороняющими железнодорожные коммуникации, командиры добились, чтобы их, а с ними санинструктора (были и контуженные и раненые) откомандировали в родной 74В-й полк.

Наутро мы — лейтенант Хареба Иван Андреевич, лейтенант Мартынюк Михаил Павлович, лейтенант Белашов Михаил Евграфович, лейтенант Фатрухудинов (он лежал в санчасти в «Колхозной Ахтубе», но, узнав, что наши идут «домой», сбегал из санчасти) и я — пошли своим ходом в В. Баскунчак — в 74В-й ЗАП. В полк, который понес огромные потери в боях за Сталинград, на «Баррикадах» и «Красном Октябре»... Овеянные порохом не в одном сражении и не в одном бою бойцы 74В-го показали образцы мужества, воинской доблести, армейской дружбы и товарищества. Воины возвращались в свой полк для выполнения новых заданий командования.

☆☆☆

23 августа 1943 года Сталинградский обком комсомола организовал встречу девушек-комсомолок, приехавших на восстановление разрушенного фашистами города-героя, с девушками-воинами, которые,

не щадя своей жизни, сражались с врагами за город Сталинград.

На уцелевших стенах разрушенных зданий сохранились надписи:

«Мы отстоим тебя, родной Сталинград!» Девушки-комсомолки вновь подкрасили свежей краской этот призыв, даже не меняя его, только добавив одну букву вверху вставкой, как в школьной контрольной: «Мы отст-р-оим тебя, родной Сталинград!»

Как много было радости в этой поправке! Всего одна вставленная буква, но сколько смысла, счастливого ощущения мира.

Город отстроили, да нет — заново возвели в небывало короткие сроки. Прекрасный город на Волге!

Тогда, в августе 1943-го, мы с группой комсомолок приехали на «Баррикады», где стойко сражались наш истребительный батальон, где сгорела в бою с врагом пламенная комсомолка, чье имя оставалось неизвестным. Я рассказывала и призвала комсомольцев ничего и никого не забывать и отыскать имя этой девушки, которая стала горячей искрой в огнях нелегкой Победы. Как было установлено ее имя, я расскажу чуть позже.

В память о встрече в Сталинграде в 1943 году осталась и фотография, копию которой мне выслали в 1962 году из Музея Обороны Царицына-Сталинграда. На фото — секретарь обкома комсомола Виктор Иванович Левкин с нами, девушками-воинами. Благодаря этой фотографии, которая выставлена в музее, и разыскали нас юные «Орлята» из школы № 46, «Красные следопыты» из школы № 11 и клуб «Поиск» школы-интерната № 2 города Волгограда. Встреча ветеранов нашего полка произошла в день 35-летия Сталинградской битвы в 1978 году.

На этой встрече в Волгограде родилась мысль написать историю нашего полка в боях за Сталинград. Увы, я в 1978 году «осилила» только один раздел — бои истребительного батальона, отложив на время остальное...

Накануне 8 Марта 1980 года я получила письмо от незнакомой мне женщины из Железноводска. В письме она написала, что разыскивает свою сестру Барсукову Марию Федоровну, зенитную пулеметчицу из 791-й отдельной зенитной пулеметной роты, без вести пропавшую в Сталинграде в 1942 году. Ей стало известно, что в Заводском районе я видела девушку, которая сгорела, отражая налет вражеских пикировщиков. Анна Федоровна Барсукова обещала, что она переснимет фотографию своей сестры и вышлет ее чуть позже, а сейчас просила дать словесный портрет той девушки.

Я написала все, что сохранила память. Закрыв глаза, я отчетливо видела ее, безымянную героиню. Отправив письмо, стала ждать ответа.

Через некоторое время получаю ответ. Письмо короткое, как выстрел. «Милая Мария Ивановна, вы так точно описали приметы девушки. Та девушка — моя сестра Маша. Высылаю вам ее гражданскую фотографию. Мысленно наденьте на нее пилотку и военную гимнастерку».

Я боялась вскрыть пакет с фотокарточкой. Наконец пересилила себя, вскрыла — и закружилась голова. На меня смотрела с фотокарточки та девушка. Нет, не понадобилось ее одевать в военную форму, это была она, та безымянная зенитная пулеметчица, которую я носила в своем сердце и в

памяти почти сорок лет! Анна Федоровна Барсукова коротко сообщила о жизни своей сестры.

Маша училась в железнодорожной школе, потом, окончив курсы бухгалтеров, работала в одном из санаториев Пятигорска. Началась Великая Отечественная война. Маша стала проситься добровольцем на фронт, но только в апреле 1942 года (как и меня и всех девушек-зенитчиц) ее призвали в войска противовоздушной обороны. Она стала воином 791-й отдельной зенитно-пулеметной роты.

16 апреля 1943 года родителям Марии Барсуковой вручили печальное извещение: «Красноармеец Барсукова Мария Федоровна в бою за социалистическую Родину, верная своей присяге, проявив героизм и мужество, пропала без вести. Город Сталинград».

С тех пор начались розыски... Куда только не обращались, куда только не писали — все безрезультатно. Родители умерли. Сестра Анна нашла сослуживцев Маши. Они рассказали много о боевых подвигах храброй Маши, но обстоятельства ее гибели никто не знал.

И вот в газете «Красная Звезда» 13 февраля 1979 года была опубликована статья генерал-лейтенанта артиллерии запаса Владимира Демидовича Годуна «Слово о зенитных пулеметчиках». Анна Федоровна обратилась к автору. Завязалась переписка. Работая в архиве, генерал-лейтенант проследил боевой путь роты, всячески пытался найти документы, чтобы узнать судьбу Маши.

Эпизодом неравной схватки зенитно-пулеметного расчета с вражескими «Ю-87», свидетелями которой были бойцы нашей роты истребительного батальона, описанным мною, заинтересовался Годун. В архиве он нашел боевое распоряжение штаба 9-го корпуса ПВО № 243 от 8 октября 1942 года. Скупые строки военного языка гласят: «Командиру 791-го ОЗПР с вновь полученной материальной частью прикрыть с воздуха наземные части в районе «Баррикад» и «СТЗ». Значит, рота, в которой была Маша, стояла в расположении позиций нашего батальона, точнее, нашей роты. Другие документы из тех же источников дополняют, что это была именно ее рота, а на северной окраине завода «Баррикады» 10 октября 1942 года заняла оборону именно ее пулеметная установка.

Так стало известно о Маше.

Ветераны нашего полка сердечно признательны Владимиру Демидовичу, впервые рассказавшему боевую историю 748-го. В № 11 журнала «Вестник противовоздушной обороны» за 1978 год он опубликовал статью «Подвиг 748-го зенитного». Вслед за этой статьей к нему хлынул поток благодарных писем ветеранов, выражавших искреннюю признательность за совершенный труд и вносивших свои дополнения к очерку. Участницей переписки стала и я. Годун настоял, чтобы я восстановила не только в памяти, но и на бумаге все пережитое, связанное с войной, Сталинградской битвой и истребительным батальоном.

Так родились эти записки, которые вы прочли.

г. Кировабад,
Азербайджанская ССР.



Поэзия



ЮРИЙ
МЕЗЕНКО

Выборы

Фраз дежурных не говоря, —
было время, чтоб разобраться, —
избираем секретаря
комсомольской организации.

Рядом с ним —
на версту вокруг! —
не ужиться казенной скуке.
Голосуем поднятём рук
за рабочие эти руки.

Голосуем за боль в судьбе,
за характера крепкий выдел.
Голосуем за то — в себе,
что пока только он увидел.

Мед

Своих путей не выверяли —
через крапивику босиком!
Из-под обрыва вырывали
свинце, облепленный песком.

Войны далекой посевная!..
Соскабливали грязь и кровь, —
и пули щелкали, сияя
щербатой медною корой.

А наверху, клубясь, гречиха
разгоряченная цвела,
и небо сонное чертила
трассирующая пчела...

Мы шли вдоль пасеки звенящей,
глазая, как в тени сидит,
перекосив дощатый ящик,
дебелый сторож-инвалид,

как из тарелочки дешевой
глотками ласковыми пьет
гречишный, чистый и тяжелый,
неторопливый медный мед

Мы просто так ему дерзили,
без всякой злобы, наугад,
мы просто так его дразнили —
за то, что он на трех ногах.

И удирали в клубах пыли —
карманы били по ногам...
И солнце медное лупило
по нашим гулким головам!



**ГРИГОРИЙ
КУРЕНЕВ**

*Из фронтовых
тетрадей
1943 – 1945 гг.*

☆☆☆

Уже земля впитала пот и кровь,
чехлы надеты на стволы орудий.
Но первый бой, как первую любовь,
никто из нас вовеки не забудет.
Артподготовка продолжалась час.
Казалось, нет ей ни конца, ни края.
С трудом в болоте ноги волооча,
пошла на штурм оглохшая вторая.
А впереди — железная беда
визжала, выла, плакала и пела.
И мог ли думать кто-нибудь тогда,
что из такого ада выйдет целым!
Потом, когда бежал разбитый враг
и над единственной печной трубой
подняли рваный кумачовый флаг,
табак размокший я делил с тобою.
Не тот ли миг считать твоей судьбой!
Волхвами непредсказанная дата.
Незабываемый вовеки бой —
рождение бессмертия и солдата.

☆☆☆

Кто сказал, что умирать не страшно!
Ты в бою уже не первый день.
Над распаханной войною пашней
Вьется прах сожженных деревьев.
И букеты черные шрапнели
Расцветают, окаймляя цель.
Изо всех изодранных шинелей
Ищет смерть одну твою шинель.
Ищет-свищет дьявола отродье,
Стал крошечным адом белый свет.
Ищет одного тебя лишь, вроде
Никого другого рядом нет.
Ей плевать, что ты свое не дожил
И не долюбил кого-нибудь.
Вот она тяжелым подытожит
Краткий твой двадцатилетний путь!
Вот она... И в небо, в щепки бруствер,
И окоп осколками разрыт...
Кто не испытал такого чувства,
Пусть о смерти и не говорит.
Кто сказал, что умирать не страшно!
Лезут «тигры» из-за высоты.
И вцепились о танковые башни
Пауками белые кресты.

И в лицо пахнуло смертной стужей
(А не слышно наших батарей),
«Тигры» через миг начнут утожить
Складки обвалившихся траншей.
Вот они... Но ты встанешь с гранатой.
Если умирать, то только так.
Взрыв. И пред тобой, огнем объятый,
В трех шагах остановился танк.
Лезут «тигры», но назад, к высоте.
(Кем же те, другие, зажжены!)
Завтра утром прочитаешь в сводке:
Контратаки все отражены.
А в огне, на замолчавших башнях,
Пауками корчатся кресты.
Кто сказал, что умирать не страшно!
Так сказать имеешь право ты.

☆☆☆

В том грохоте побовь теряла голос.
И только мертвым снилась тишина.
Женатый лгал, когда писап, что холост,
Я лгал анкетам и писал — женат.
А ты мне ничего не обещала...
Я помню ночь декабрьскую, когда
С простуженного Ржевского вокзала
На север уносились поезда.
Ты и тогда держалась очень сухо,
И, наблюдая за тобой и мной,
Чужая сердобольная старуха
Качала сокрушенно головой.

☆☆☆

Перестанут поджигать ракеты
Растревоженного неба синь,
И тогда на Украине где-то
У меня, возможно, будет сын.
Для него рукой закованной
Под метели надоевший шум
На листке, что был когда-то белым,
Эти строчки теплые пишу.
В черном дыме, в грохоте орудий
Сели жизнь и смерть на карусель...
Может, сына у меня не будет,
Значит, будет у моих друзей.
У кого-нибудь он точно будет —
Всем соседским хлопцам атаман.
И когда разложат версты буден
По тяжелым в золоте томам,
Пусть прочтет тогда вихрастый малый
Про солдатской юности дела,
Юности, что жизни отдавала,
Чтобы юность в будущем жила.

Отпускное

Московский поезд опоздал
И прибыл на рассвете.
Как вор, обшаривал вокзал
Сырой ноябрьский ветер.
Кружил и плакал невпопад
Над обгоревшей крышей
И не заметил, как солдат
Вдруг из вагона вышел.
И не заметил в темноте:
Он не узнал вокзала —
Название то — дома не те...
Солдату больно стало.
Он закурил, достав кисет,
Авось, полегче станет,
И медленно пошел в рассвет
Мимо разбитых зданий.



**СЕМЕН
СОРИН**

☆☆☆

Ревнуя к давним временам,
Ты прав, рожденный в сорок пятом:
Все лучшее досталось нам —
Погибшим и живым солдатам.
Да не коснемся тех времен,
Когда, не мысля о привале,
Шелк отступающих знамен
Мы под шинелью укрывали.
О наступленьях говорю,
Об ожидании сигнала,
Когда закатную зарю
Артподготовка зажигала.
Когда, свой ожидая срок
Перед атакой неминучей,
Грыз пехотинец сахарок,
Чтоб не пропал — на всякий случай!
Горяю о чужих сынах,
Молчал угрюмо маршал Жуков.
Танкисты в новых орденах
Глядели из открытых люков.
Светились, как глаза у вдов,
Медали тусклые — награда
За оборону городов
Москвы, Одессы, Ленинграда.
Не Шипка, не Бородино —
Одна из тысячи батальи.
Горели, сплавившись в одно,
Броня и серебро медалей.
Кого еще так мать-земля
Жалела, к сердцу прижимая!
Госпиталя, госпиталя,
Где исстрадалась плоть живая.
Ревнуя к давним временам,
Ты прав: что лучшее, то наше.
Все лучшее досталось нам,
Нет даже памятников краше.
Тебе остались... только дасть,
Леса, поля, моря, рассветы
И наилучшая медаль
«За оборону всей планеты».

Пятьдесят две строчки

Цвела она, как роза, хорошея,
А я, сказать по совести, увы,
Нелепой одежкой Москвошвеей
Обезображен с ног до головы.
Росли, не избалованные бытом,
Мы, с приписным свидетельством, юнцы:

Снимок 1943 года.

Ботинки — парусина с кожмитом,
Ковбойки да бумажные штанцы.
Ах, если бы немножечко таланта,
Но черт бы, серого меня, побрал:
Не я ведь в «Детях капитана Гранта»,
А Яшка Сёгель Роберта играл.
К тому ж еще столешниковский Венька,
Главарь великовозрастных верзил,
Он ждал ее, устойчивый, как стенка,
И на такси из школы увозил.
Как совладать с трагическим недугом,
Как повернуть фортуны колесо!
Я грудь свою украсил по заслугам
Значками ГТО и ГСО.
В угоду героическим минутам,
Транжирил безотчетные часы,
Сигая раз в неделю с парашютом
С болтавшейся на тросе «колбасы».
С небес на землю рушится и между
Землей и небом, в грозной высоте,
Лелеял безнадежную надежду
Приблизиться к небесной красоте.
«Давай дружить!» — сказал, собравши силы,
А мне в лицо, развязку торопя,
[Как будто из «Руслана и Людмилы»]
В упор: «Герой, я не люблю тебя!»
Жестоко, напавал, без проволок.
Провидеть бы тогда издалека
Тот день, когда на пятьдесят две строчки
Меня подвигнет Пушкина строка!
Отсегнутый, от ревности зверя,
Спешил срывать листки календарей:
Дурак, хотел состариться скорее,
Чтоб только ей состариться скорей.
Надеялся невинно и наивно
Дожить до замечательного дня,
Когда она, как старая Наина,
Сама начнет преследовать меня.
...Настиг-таки нас возраст стариковский,
Хоть жили розно и старели врозь.
С Галиной Александровной Орловской
Случайно повстречаться довелось.
С авоською в руке прошла устало,
Из-под платочка — седенькая прядь.
Мне горько, что она старухой стала,
А то, что я состарился, плевать.

Бабада

В ночь вдребезги разбитых мирных снов
Солдату было не до орденов.
Убить врага, всадить в броню снаряд
Считал он самой высшей из наград.
Наградой высшей он считал тогда
Спасенные родные города.
Ложились реки — лишь перешагнуть —
Муаровыми лентами на грудь.
Не горевал солдат — на то война,
Что вслед не поспевают ордена.
Он победил, отцом и дедом стал,
Неся под сердцем вражеский металл.
Но что ответить, вдруг захочет внук
Потрогать знаки воинских заслуг,
Когда незримый вражеский металл —
И тот солдата доблесть подтверждал!
...Не позабыла война страна,
Догнали ветерана ордена:
Спасителю отеческой земли
Их не вручили — следом понесли.
Озарены солдатские следы
Далеким светом вспыхнувшей звезды.



**ГЛЕБ
ПАГИРЕВ**

Экзамены

Я помню, до войны
учился на рабфаке:
простецие штаны,
рубашка цвета хаки.
Имел я строгий вид
в своем пальтишке рыжем:
был дочиста побрит
и коротко пострижен.
Знавал я хлеб и квас,
не ел блинов у тещи,
и потому как раз
война далась мне проще.
Так вот, рабфак. Рабфак,
езде он одинаков,
но тот был (это факт)
последний из рабфаков.
И было мне не лень:
от своего завода
я ездил через день
на Сретенку три года.
Военная страда
еще была в начале,
а мы как раз тогда
последний курс кончали.
Экзамен. Тишина.
Но каждый знал, однако:
слова «Вставай, страна»
касались и рабфака.
Жизнь поднимала нас
в то памятное лето,
и мы сдавали враз
по два, по три предмета.
Мы не могли не знать,
толкаясь в коридоре,
какой э к з а м е н сдать
нам предстояло вскоре.

Фронтовые стихи

Так начиналось, помню это:
прощая мелкие грехи,
дивизионная газета
мои печатала стихи.
Они печатались не где-то,
где их никто не разберет,—
стихи ценились, и газета
их выносила наперед.
Бывало, все версталось разом,
и часто шло мое перо
в ряду со сталинским приказом
и сводкой Совинформбюро.
Боюсь, что это было слабо,
но, признавая мой талант,
один веселый писарь штаба

сказал: «Неплохо, лейтенант».
Кто знает, если бы не эта
бесхитростная похвала,
куда солдатского поэта
судьба еще бы привела...
Что хорошо, что вовсе слабо,
теперь никто не скажет мне,
молчит мой критик, писарь штаба:
остался, видно, на войне.
Остался где-то парень шалый,
где смерть ходила по пятам,
не то бы он теперь, пожалуй,
сказал: «Неплохо, капитан».

☆☆☆

Ельничек, осинничек, березничек —
от роду знакомые места...
Девочка брала грибы в передничек,
из травы брала, из-под куста.
Шла она, босая, мокроногая,
разметала палую хвою
и тихонько, чуть заметно окая,
выпевала присказку свою:

Беленький грибочек
знать меня не хочет!

Но грибы вставали сами около,
сами раскрывались перед ней.
Маленьких она совсем не трогала,
а брала, что краше и видней.
Так и шла, живая, как горошина,
слушала, что птицы говорят;
а пришла домой и огорошила:
«Уезжаю к тетке — в Ленинград».
До свиданья, Горки! Прощай, Любница! —
и уедет в поисках судьбы.
Станет взрослой — в лейтенанта влюбится,
с ним пойдет вот так же по грибы.
Ветка позади ее колышется,
чистый жемчуг сыплется с куста.
...Нет тебя давно, а мне все слышится
песенка бесхитростная та:

Беленький грибочек
знать меня не хочет!

Москворецкие мосты

У реки жила девчонка,
что вошла в мои мечты.
Москворецкая сторонка,
москворецкие мосты!
Я тогда был очень юным
и встречал свою мечту
то, как помню, на Чугунном,
то на Каменном мосту.
А потом была дорога
через годы и фронты,
но хранила память строго
москворецкие мосты.
Ветер боя бил по струнам,
пули пели на лету.
Где вы, ночи на Чугунном
и на Каменном мосту!
И теперь чего-то ради
я брожу до темноты,
вспоминаю в Ленинграде
москворецкие мосты.
И мечтаю: в свете лунном
увидать девчонку ту,
встретить юность на Чугунном
иль на Каменном мосту.



АНДРЕЙ БОГОСЛОВСКИЙ

Родился в 1953 году
в Москве.
Окончил
Литературный
институт
имени Горького.
Это его первая повесть.



ВЕРОЧКА

I

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

Все мы, пришедшие в школу после каникул и уже третий год встречающие друг друга вновь, мгновенно распались на группки и завели обычные беседы о рыбалках, пионерских лагерях — одним словом, обо всем том, о чем говорят девятилетние создания после трехмесячной разлуки. Она одна не участвовала во всеобщем оживлении. Новенькая. В первое время мы ее вроде бы даже и не заметили — так тихо и смиренно она стояла у стены, хотя внешность ее была примечательной: невысокая девочка, болезненно-рыхлостолстая, бледная-бледная, так что все жилки голубели под кожей. Лицо у нее было некрасивым, одутловатым и с какими-то очень неприятными бо-родавками на щеках. Но самыми странными, необычными были у нее глаза: совершенно белые. Я более никогда не видел таких глаз, да думаю, что и вообще таких больше в природе не встречалось. Стояла она тихонько, дышала часто и коротко и как-то очень смешно сложила на груди толстые коротенькие ручки, соединив ладони, будто молилась. Вся фигура ее казалась расплывчатой, неопределенной, беззащитной, и в этой беззащитности — страшно уязвимой для наших по-детски злых наскоков. Были мы еще в том возрасте, когда категории добра и зла только смутно начинают маячить перед человеческим разумом и человек еще может быть одновременно и безгранично добр и зол до жестокости, не совсем осознавая обе крайности.

Заметив новенькую, мы окружили ее. По какому-то невероятному закону вселенной новенькие всегда таят в себе прелесть, жажду познакомиться с ними, общаться, но одновременно с тем одинокостью своей и чуждостью пока для всех предоставляют возможность самоутвердиться на них, почувствовать себя сильным и безжалостным. Видно, этот инстинкт, эта боязнь чужака сидит в нас еще со времен первобытного, животного стада.

— Ты кто? — надменно спросила ее наша классная красавица Ира Мещерская, недобро оглядывая новенькую из-под чуждых сомкнутых бровей.

— Я девочка, — тихо-тихо ответила та каким-то замогильным голосом, испуганно тараща на нас свои белые глаза.

— Видим, что не мальчик, — усмехнулась Ира. — Как тебя зовут?

— Верочка, — еще тише, совсем еле слышно проговорила новенькая.

Мальчишки да даже и девочки засмеялись. Я сам помню, что мне было страшно смешно: Верочка! Учимся в третьем классе, все повзростали, а она — Верочка. Ха-ха! Девочка Верочка!

— Меня, например, зовут Ирина Александровна, — веско и презрительно кинула Ира. — А ты?

— А меня Сергей Сергеевич! — захохотал наш румяный и хулиганистый Губенко и показал ей язык. — Ве-роч-ка!

— Она в бога верит! — воскликнул маленький загорелый Краснощек в очках. — Гляньте, как она руки сложила. Она молится!

— Ты веришь в бога? — изумилась отличница Бескудина. — Да как ты... как ты можешь? Ты пионерка? Или ты октябрятка? Кто ты такая? — Голос ее звенел металлом. — Кто ты такая?..

У новенькой девочки задержались губы, мелко-мелко затряслись бледные щеки, а руки она быстро опустила и странно растопырила и тут сразу стала похожа на тучную лягушку.

— А что это у тебя такое? — совсем безразлично спросила Ира Мещерская и с гримасой на лице ткнула пальчиком куда-то новенькой в щеку. — Что это такое, эти, такие... — Ира морщила носик.

— А это бородавки! — рявкнул веселый Губенко. — У нее вся рожа в бородавках! Бородавка! Бородавка!

Толстая девочка начала тихо плакать, и это сейчас же раздражило нас всех. Все мы стали прыгать вокруг нее, кривляться, корчить рожи и вопить: «Бородавка! Бородавка!» Так потом это прозвище и приклеилось к ней — Бородавка. Да еще и Жабой ее называли иногда. А тогда она все стояла и тихо плакала. А потом вдруг белые глаза ее закатились, она дернулась несколько раз и мягко, боком упала на пол. Смех наш и возбужденные движения разом прекратились. Мы сгрудились вокруг новенькой и смотрели на нее жадно и без всякого сострадания.

Появилась наша учительница Мария Васильевна, накричала на нас, отвела очнувшуюся новенькую в медпункт. Потом нам объяснила, что девочку зовут Вера, фамилия у нее Батистова, что она очень боится и пропустила два года школы, но занималась дома и теперь вот пришла в наш класс.

— Законов она наших школьных не знает, — говорила нам Мария Васильевна. — Она даже не была в октябрятах. Все, что вы узнали за два года занятий в школе, она учила сама, дома. Помните это и старайтесь ей во всем помогать, помогите ей освоиться, подружиться с вами. А еще помните, что Вера Батистова очень, очень сильно была больна, и даже теперь ей нельзя волноваться, нельзя резко двигаться... — Мария Васильевна оглядела нас внимательными печальными глазами из-за толстых стекол очков. — И зачем я вам это говорю? — тихо пробормотала она самой себе. — Вы же еще дети...

2

Так поселилось у нас в классе это существо, эта Верочка Батистова. Сидела она за партой одна — никто не хотел с ней сидеть, — молча и внимательно пучила глаза на учительницу. Ее поначалу не спрашивали, а мы Верочку избегали, и потому голос ее запомнился лишь тихим-тихим, звучащим словно из какого-то подвала. Приходила она в школу сама, одна, благо все мы жили в стоящих прямо возле школы домах, а вот после уроков часто ее встречала мать. Мать была тоже рыхлой, бледной женщиной в смешных, неловких платьях, с беленькими кудельками на лбу и вечно в дурачках, прямо вызывающе дурацких шляпках. Иногда, впрочем, за ней заходила и какая-то высокая костлявая женщина неопределенных лет, в очках и с лошадиными зубами. Бородавка и перед матерью и перед теткой делала что-то вро-

де книксена и покорно шагала рядом, нелепо пере-валиваясь, сбиваясь с шага, как ходят все люди, непривычные к пешим прогулкам и потому не имеющие своей ровной походки.

У нас у всех были свои заботы, работы, увлечения, развлечения. Мальчишки играли в футбол, гоняли на велосипедах, дрались и так далее. Девочки тоже жили какой-то там своей жизнью с куклами, перешептываниями, ужимками. Все мы встречались в классе, о чем-то говорили, спорили, ссорились, дружили, заглядывали друг к другу в гости, на дни рождения... Чем и как жила новенькая, было секретом. Вот выходила она молча из школы и шла молча домой, а что уж там потом, там, на четвертом этаже четвертого подъезда дома номер пятнадцать, неизвестно, да, честно сказать, никто и не стремился проникнуть в ход ее жизни, узнать хоть какие-то подробности.

Лишь через месяц Бородавку осмелились спросить по арифметике. Весь этот месяц Мария Васильевна относилась к ней с подчеркнутым вниманием, ласково оглаживала ее взглядом из-под очков, улыбалась ей. И, наконец, пришло время — спросила о чем-то, вызвала к доске. Что тут началось! Задержалась Верочка Батистова, закатила глаза, затряслась, и слезы потоком побежали по ее лицу, а дышала она с болезненным шумом. Раздражающую картину она являла для нас — здоровых, румяных, закаленных в словесных и кулачных стычках. Гогот и хохот поднялись!

— Ну что, что я тебе сказала? — плачуще умоляла Мария Васильевна, сама растерянная, расстроенная. — Ну, Верочка, ну, милая моя, успокойся, не плачь. Я ведь ничего, ничего такого...

Истеричную Верочку-Бородавку отправили домой к толстой мамане и тетке с лошадиными зубами. Мария Васильевна была подавлена и рассеяна. После уроков Губенко безапелляционно заявил: — Психованная она. Дура. Из сумасшедшего дома.

— Да, она очень неуравновешенная, — с фарисейской печалью проговорила Ира Мещерская, опуская длиннейшие ресницы. — Крайне неуравновешенная ученица.

— Что вы хотите? — жестко молвила отличница Бескудина. — Она ведь даже не октябрятка.

— Надо ее... — заметил Губенко, показывая кулак, но успеха не имел.

А на следующее утро Верочка эта всех нас ошарашила. Когда мы собрались в классе, прозвенел звонок и все уже сели, она осталась стоять.

— Что тебе, Вера? — спросила Мария Васильевна не без некоторого испуга. — Что случилось?

— Я хочу попросить прощения, — сказала та вдруг, и сам звук ее голоса в тишине потряс нас. Так мы привыкли, что вроде как и нету у нее голоса, а тут внезапно появился, правда, тихий, хилый, пыльный какой-то, но есть! — Я вела вчера себя дурно, — продолжала наша Бородавка с видимым трудом, часто дыша. — Мой поступок может оправдать только огромное волнение, ибо мне впервые предложили выйти к доске и отвечать выученный урок из арифметики. И потому я прошу глубокие извинения всему классу и вам, Мария Васильевна, как педагогу...

Она таращила белые глаза, тяжело дышала, и видно было, что мучилась. Все мы сидели тихо, настороженно.

— Это... Ну, конечно! — как-то деланно заговорила Мария Васильевна. — Ты садись, садись!.. Кто же тебя обвиняет? Никто! Нам вполне понятно твое волнение... да... Первый раз, конечно... А что сегодня ты приготовила?.. Вот, скажем, по литературе...

— Все,—тихо сказала Бородавка.— Некрасова...
— Ну прочти нам,— улыбнулась учительница.

Бородавка неловко вышла к доске, привычно сложила толстые ручки, будто молясь, завела белые глаза и тихим, но каким-то священно-тихим голосом весь урок читала нам стихи Некрасова. Ей-богу, хорошо она тогда читала! Все мы сидели не дыша и слушали — почти все в первый раз — некрасовские строки о декабристских женах, о плачущей Саше и железной дороге. По программе мы это еще не проходили. Нашим кумиром был пока дед Мазай с зайцами. Наконец, вместе со звонком она закончила и опустила ручки, оттопырив их смешно, но никто не засмеялся.

— Хорошо, Верочка,— медленно произнесла Мария Васильевна, влажно посверкивая глазами из-под очков.— Молодец, молодец, девочка. Ставлю тебе пять. Пять с плюсом!.. Некрасов...— Она не договорила, покачала головой и вышла из класса.

Реакция наша была, правда, осторожной.

— Ну ты даешь! — выговорил Губенко, как-то покрутив пальцами.

— Да, стихи она читать может,— сказала Ира Мещерская, вроде ни к кому не обращаясь, но таким тоном, словно ничего, кроме чтения стихов, бедная Батистова делать не могла вообще.

— Если делать нечего, почему стишки не выучить? — криво усмехнулся желчный Краснощеков.— Вали, учи стишки, чего там. Плюс заработаешь.

Бородавка обвела всех выпуклыми глазами и тут заплакала, просто слезы заструились у нее по лицу, а губы вновь задрожали. Она тяжело дошла до своей пустой парты, тяжело села и спрятала лицо в руках. Все равнодушно (или делали вид, что равнодушно) отстранились, отошли от нее, лишь я чуть замешкался и разобрал сквозь ее почти неслышные всхлипывания что-то вроде тоненького: «О-о-ой... жи-изнь моя...» И тут-то мне впервые ее стало жалко. Нет, нет, всем мальчишечьим своим нутром, всем нашим общественным и домашним воспитанием я знал, что плакать плохо, гадко, что это слабость даже для девчонок мерзкая, и никогда я плакальчиков не жалел, но тут почему-то пожалел, и кольнуло что-то меня. Я тоже отошел от нее, но все стоял перед глазами ее вздрагивающие плечи под коричневым платьем, сосисочные пальчики, закрывающие лицо, жиденькие бесцветные волосики...

А Бородавка продолжала нас все удивлять. По арифметике задачки она решала с уравнениями, о каких мы вообще слыхом не слыхивали, писала грамотней всех, бормотала уйму стихов... Но вот глаза эти ее белые, зажатость, странный испуг и частые беспричинные слезы делали ее нам чужой, странно-неприятной, словно не из нашего мира вообще, не из этой жизни. Мы шли на экскурсии в Нескучный сад собирать золотые листья осени — Бородавка не шла по причине нездоровья. Мы играли в салочки — она нет. Мы резвились на уроках физкультуры, а она была освобождена и все уроки просиживала бог знает где, видно, спрятавшись в темном уголке школы, сжавшись, сложив ручки на груди и пуская тихие слезы... И вечно маменька, либо тетка с зубами, книксен и домой — нелепо, как утица, скособочившись... Но что-то такое похожее на жалость к ней, пожалуй, уже поселилось во мне. Не знаю, было ли это у меня как-то выражено, но Верочка Батистова что-то заметила. Однажды после уроков она сама подошла, чего прежде с ней не случалось, и, ласково посмотрев на меня лягушачьими своими глазами, тихо сказала:

— Ты бы мог проводить меня до дома? Мама сегодня на работе задерживается, и Дуся тоже. Может у меня быть к тебе такая просьба?

— А-а-а?...— сейчас растерялся я и даже, кажется, испугался.— А почему это я?

— Видишь ли...— И что-то похожее на улыбку мелькнуло на ее тонких, бесцветных губах.— Ты единственный в классе, кто ни разу не назвал меня Бородавкой. Или Жабой. Ты вообще надо мной никогда не издеваешься. Спасибо тебе.

— Ну, я это...— засмутился я вконец.— Ну, провозжу...

И вышли мы вместе с Бородавкой. Только-только выпал первый снежок. Школьный двор был беловато-сероватым, лужи уже покрылись тонюсенькими корочками льда, а в сухом бензиновом воздухе появились первые морозные иголки. На Верочке красовалось нелепое, ужасное какое-то, розовое пальто, и идти мне с ней было тогда, честно говоря, стыдно. Я краснел. Губенко и Краснощеков с испугом смотрели на наш дуэт и выразительно покрутили пальцами у виска, состроив рожи. Девочки сбились в группку и насмешливо зашушукались. А мадемуазель Батистова, словно не замечая этого ничего, неловко шла рядом со мной.

— Мне как-то страшно одной бывает,— тихо говорила она.— Тебе так не бывает?

— Нет,— деревянно шел и отвечал я, проклиная себя за то, что дал себя сбить с толку.

— А мне бывает. Впрочем, мужчина и должен быть бесстрашен, как сказочный герой. Мужчина, мальчик создан для того, чтобы сражаться с трудностями. Ведь верно, Алеша?

Я молчал и лишь отводил глаза, чтоб только не видеть эти ее бородавки, эти ее доверчивые выпуклые белые глаза и старушечье розовое пальто. Ледок хрустел у нас под ногами, воздух пьянил, звал в бой, в игру, в бег, в смех, а тут это пальто, толстая плакса и дикие разговоры. У своего подъезда она остановилась, долго посмотрела на меня и каким-то особенно тихим, но доверительным голосом молвила:

— Спасибо тебе, Алеша. Ты настоящий мужчина. Я очень благодарна тебе за чудесную прогулку.

С трудом дыша, она влезла на ступеньки парадного, «царственно» кивнула мне головой и исчезла. Вот так вот это все произошло! Хоть кричи и лепи первые снежки, хоть волком вой от унижения и непонимания: что ж это она наделала? Я плюнул со злости. Но жалость уже жила, уже свила себе гнездо в моем сознании, в моей еще маленькой душе. Я вообще по природе сентиментален и с трудом борюсь с этим чувством, а уж тогда, в светлом детстве, куда там...

3

— Ты чего это, с Бородавкой дружишь? — с изумлением спросил меня на следующий день бравый Губенко.— С этой? С Бородавкой? — Нескрываемое презрение было в его голосе.

Ира Мещерская и ее подружки обливала меня уничтожающими взглядами и едкими улыбками. Этим, правда, и ограничились, ибо считался я тогда человеком драчливым и отчаянным, и связываться со мной было небезопасно. Себе я дал слово больше с Бородавкой не общаться, но когда она подошла ко мне, хлопая белыми ресницами над белыми глазами и растягивая губы в неестественной, дохлой какой-то улыбке, то я не нашел в себе силы обругать ее, оттолкнуть и даже просто отойти в сторону.

— Здравствуй, добрый мой рыцарь,— произнесла

она тихим, странно-низким голосом, что должно было, видно, обозначать высшие проявления доброты. — Я вчера много думала о тебе. Я всегда, когда встречу человека, начинаю о нем много думать. — Она доверительно прикоснулась ко мне. — Сегодня я попрошу тебя зайти к нам на чашку чая. Мама очень хочет с тобой познакомиться, и я думаю, что мы найдем множество интереснейших тем для беседы.

И вновь последовал «царственный» кивок. В классе я сидел как на иголках, бесновался на переменах, подрался с Губенко, и вообще что-то во мне было не так. «Пойду, — наконец решил я. — Черт с ней, пойду. Схожу разок, и все. А то и правда, все над ней издеваются, смеются, Жабой зовут. Каково ей-то, одной?.. Хм, рыцарь...» Этот «рыцарь» здорово меня обезоружил перед ней, ибо кому не хочется быть рыцарем? После школы мы молча дошли до ее четвертого подъезда. Она была все в том же розовом пальто, да еще к нему была добавлена шляпочка, вроде тех, что носила Верочкина мамаша.

Квартира ее состояла из двух комнат — в одной жили какие-то соседи, вечно отсутствующие, а в другой — меньшей по размеру — обитала Верочка Батистова с мамой и косящей теткой с лошадиными зубами. Это и правда оказалась ее тетя, какая-то, впрочем, двоюродная.

Стоило мне войти в их комнату, как я сразу понял, что ж такое меня настораживало всегда в Бородавке. Это был запах! Не знаю, как описать его, но именно он и вызывал во мне то чувство неприязни, которое я постоянно испытывал к Верочке. Этот запах дома с вечно закрытыми (из боязни сквозняков и простуд) окнами плотно висел в комнате, вьелся во все предметы, вещи, в самих людей, живущих в ней. Что-то было в нем погребено-мускусное, что-то такое неживое и ненастоящее.

— Здравствуй, здравствуй, гордый рыцарь! — приветствовала меня ее мама, поднимаясь мне навстречу из-за стола. — Есть, есть все же еще чистые душой мальчишки!

А зубастая тетка стояла возле дверей, сверкала очками и дурашливо улыбалась.

— Меня зовут Агнесса Павловна, — говорила Верочкина мать, пожимая мне руку влажной ладонью. — Я надеюсь, что мы станем добрыми, добрыми друзьями, ибо что же еще есть чудеснее на свете, чем искренняя, преданная дружба. Садись, садись, пожалуйста, и мы станем пить чай.

Я покраснел, побормотал что-то и уселся на ветхий, отчаянно заскрипевший венский стул. Я не привык, чтоб со мной так разговаривали, да, наверное, и любой мальчик второй половины двадцатого века растерялся бы, потому что язык этот был странным, словно выкупан в пыли времен, давно уже утерян, почти выведен из обихода. Так могли изъясняться разве что герои Карамзина или персонажи романов Вальтера Скотта. Тогда этого я точно не осознал, но неестественность почувствовал.

Комната была небольшой. На дворе стоял ясный денек осени на переходе к зиме, однако занавески были задернуты и горела лампа под оранжевым абажуром. Старый платяной шкаф с мутным зеркалом, старый плюшевый диван, железная кровать с никелированными шишечками, книжная этажерка, кадка с каким-то неуклюжим растением, коврик с оленями у озера на стене в желтых обоях, черная радиотарелка над диваном, такая, какую можно, вероятно, увидеть лишь в фильмах тридцатых годов, — все это, хоть и чистенькое и прилизанное, носило отпечаток тщательно скрываемой бедности, а пожалуй, даже и нищеты. Стулья скрипели и грозили развалиться, плюш дивана и коврик на стене

были истерты чуть ли не до дырок, никелированные шишечки у кровати почернели. Посуда для чая на круглом столе стояла разномастная, тронутая временем, а скатерть была уж не белой, а прямо желтой и тоненькой-тоненькой от долгих стирок. Такой же казалась и одежда хозяек — вся чистенькая, но старая, и как ни ухищрялись они, а штопка и латочки все ж были заметны. И уж со всем этим так не вязалось их странное, убогое кокетство, ибо в волосах у матери и тетки вставлены были какие-то пыльные матерчатые цветы, вся одежда их пестрела бантиками, рюшечками, ленточками — все так нелепо, нелепо.

— Вот сейчас мы будем пить чай, — говорила Агнесса Павловна, усаживая рядом со мной свою белоглазую дочь Верочку. — Ах, какой это чудесный и ритуальный обычай в России — пить чай! Ведь пьют не для того, чтобы пить, а для того, чтоб разговаривать, познавать людей, как близких, так и далеких.

— Я тоже много-много думаю о далеких людях, — тихим голосом вступила Бородавка. — Так много людей на земле, а мы так мало их знаем. А хочется знать всех, всех! Алеша, ты любишь романтические сказки?

— Люблю, — сказал я, не зная, что сказать.

— Ах, боже мой, как я люблю романтические сказки! И братьев Гримм и Гауфа, а особенно Андерсена. Ах, как хорош Андерсен! Ты любишь Андерсена, Алеша?

— Люблю, — туповато повторил я.

— Я так часто читаю сказки. Лежу и читаю, читаю и представляю себе, будто я — это Розочка и Беляночка или Дюймовочка... Я много сказок прочитала. — На глазах ее выпуклых появилась подозрительная влага.

— Ты знаешь, Алеша, — тут же включилась Агнесса Павловна, — Верочка очень много прочитала. Ты, наверное, в курсе дела, что жизнь моей дочери сложилась трагически. Она родилась с четырьмя пороками сердца, с четырьмя одновременно! Совсем маленькую ее прооперировали, но жизнь ее отличалась от жизни иных, здоровых детей. Постельный режим... бе-бе... бесконечные страдания... Агнесса Павловна беспомощно всхлипнула и достала, как фокусник, из манжеты кофточкой скомканный носовок платок. — Поверь, Алеша, это так тяжело. А потом тяжкая утрата. Умер Верочкин отец, мой муж Лев Селиванович, и жизнь совсем стала трудная и безумная. А дочь моя все лежала, и врачи не предвещали ей скорого выздоровления. Что могла делать моя маленькая, моя беспомощная девочка, моя Ве-ве... Верочка! Она читала книги, сказки. Она слушала чудесную музыку по радио, но я знаю, знаю, какими нечеловеческими усилиями давалось ей это... все это... Я знаю! — Голос ее зазвенел, натянулся и, наконец, лопнул, как перетянутая струна.

Она глубоко вобрала в себя воздух, а уж вышел он из нее плачем, горьким негромким плачем. Она закрыла лицо одной рукой, а в другой все комкала платок. Толстая Верочка задвигалась рядом со мной, задыхалась часто-часто, астматически. Белесые ее ресницы быстро заморгали, и по лицу привычно побежали слезы. Нос ее сразу покраснел.

— Мамочка! — закричала она, медленно и неуклюже передвигаясь к матери. — Любимая моя, золотая моя! Не плачь, не плачь, моя самая любимая, самая-самая, мамуленька моя! Пусть уж я одна у нас буду плакать! Чтоб никто, никто больше, а только я одна!..

Они обнялись и слились в один плачущий клубок, жалкий и трогательный одновременно. От двери тоже послышался печальный всхлип — там заплакала



ла их тетка с лошадиными зубами. Очки у нее вовсе запотели. Я вжался в стул, не зная, что мне делать. Абжур оранжево плыл над столом, освещая эту минуту грусти и слез. Но, наконец, они оторвались друг от друга, и мать, вытирая глаза, сказала: — Прости нас, Алексей, за постыдную сцену. Иной раз и хочешь, а не можешь сдержать слезы. Все вспомнилось разом — и болезнь дочери, и смерть Льва Селивановича, и все, все. Не плачьте больше, Верочка, Дуся! Не нужно больше плакать... Надо занять нашего гостя. — Но настроение резко переменялось. Уже, видно, и самой Агнессе Павловне расхотелось вести светскую беседу, и Верочка настроилась на грустный лад. — Дружите, дружите, милые, — элегически говорила Агнесса Павловна. — Ты помогай ей, Алеша. Ведь она как училась? В постели, все больше романтические истории читала. — Она усмехнулась, как, наверное, ей казалось, с лукавинкой. — Я ведь и сама порой так замечтаюсь, так замечтаюсь, что покупатели недовольны бывают... Я кассиршей работаю, в аптеке. Боже, как прекрасно мечтать и думать о чем-то таком, хорошем...

Тут я скоро собрался домой, не слишком убедительно ссылаясь на уроки и какие-то дела.

— Ты заходи, заходи, помогай ей, Алеша, — с улыбкой упрямилась меня Агнесса Павловна. — Мы всегда будем рады тебе.

— Приходи, Алеша, — улыбалась и Верочка. — Хоть завтра, после уроков. Давай опять придем чай пить.

А костистая тетя Дуся обнажала в улыбке зубы свои и не то махала мне рукой, не то крестила на прощание.

Я быстро сбежал по лестнице и вырвался из подъезда. Воздух показался мне необыкновенно свежим после спертых, прокисших духа той комнаты. Уже смеркалось. Дом зажигал окна, белел снежок, темнели кусты на газоне. Как хорошо было на земле! Я подумал, что меня уже давно ждут дома и я сделаю уроки, потом зайду на шестой этаж к соседу и приятелю Витьке — поменяюсь солдатиками, потом посмотрю телевизор... Нет, нет, есть еще нормальная жизнь на земле. И я опять несколько раз глубоко вздохнул.

4

— Значит, ты все-таки с Бородавкой дружишь, — констатировал Серега Губенко, и во взгляде его, которым он одарил меня, был не только упрек, но и даже какое-то искреннее недоумение. — Зачем тебе Бородавка? — Зачем, зачем, — огрызнулся я. — Чего ты привязался? Никто с ней не дружит. Ну, зашел один раз, так что, нельзя?

— Да нет, — пожал плечами Серега. — Только ведь она... У нее ведь эти, бородавки. И вообще рожа такая...

— Хватит! — сказал я вдруг твердо, памятуя о своем рыцарском достоинстве. — Что ты все: Бородавка, Бородавка! У нее и имя есть, между прочим.

Губенко уж совсем недоуменно на меня уставился.

— Ты что? — спросил он. — Совсем, что ли? Ну ладно, ну пусть Батистиха. — Он покрутил головой. — В хоккей с третьим «В» пойдешь играть?

Мне очень хотелось пойти, тем более что мне купили новые коньки, но я коротко отрезал:

— Нет, не пойду. Я занят.

И после уроков отправился к Бородавке пить чай. И потом эти заходы к ней стали частыми и обычными.

Наверное, я преодолел какую-то преграду брезгливости, отвращения и теперь перестал видеть в ней только ее физическое уродство, но видел уже и большую, страдающую душу, полную самых необыкновенных превращений. Я стал привыкать к ее дому, к этой погребно пахнущей, убогой комнате, к скалящей зубы тете и словоохотливой, возвышенно кокетливой Агнессе Павловне. Я приходил и все внимательней вглядывался в их утлый, непонятный мне мир, стараясь постичь его тайны.

Что была Агнесса Павловна? Да просто романтически настроенная кассирша аптски, несчастная, измученная женщина. На руках у нее был больной ребенок, рано умер муж (я видел его фотокарточку: толстый, пучеглазый человек — Бородавка вся в него), и она все же нашла в себе силы продолжать жизнь. Только стронулось у нее что-то в голове и какие-то придуманные, несуществующие образы поселились там. Рыцари перемешались у нее с таблетками аспирина, гордый Ихтиандр соседствовал с необходимостью дотянуть на карточке до зарплаты, и прекрасная музыка Вивальди слизалась с горькими, одинокими ночами. Но она жила и заставляла жить других. Лексикон ее был необыкновенно преобразен литературой того сорта, что стояла у нее на этажерке, — сказки, исторические романы... Но она читала и приучила к чтению Верочку. Она была безвкусна, но добра и нежна; ужасно болтлива, но терпелива и правдива...

Молчаливая, обнажающая лошадиные зубы в страшноватой подчас улыбке тетя Дуся оказалась созданием добрейшим и бесхитростным. Она была истинной приживалкой в старых, добрых традициях. Дуся состояла на учете в психо-неврологическом диспансере, и на работу ее не брали, но она получала пособие и где-то стирала белье, что-то штопала и себя прокормить могла. Любила она Агнессу Павловну и Верочку огромной, небывалой любовью, до страшного, до ужаса любила, но из-за своего скудоумия распорядиться этой любовью не умела и делала полные глупости: ущипнуть могла, язык противно высунуть, даже стукнуть, но все это от великой, немой любви. Я так думаю, что она и руку себе могла оттапать топором, по локоть, — просто так: поглядите, поглядите, родные, как я вас люблю! Дуся смеялась, когда они смеялись, и плакала тоже вместе с ними, хотя порой, видимо, и не понимала, о чем этот смех или плач.

С Верочкой я проводил довольно много времени. Девочка она была дикая, непонятная мне тогда и очень больная. Она часто, спазматически дышала, потела, мгновенно уставала. У нее отекали руки и ноги, синело под глазами. По любой причине срывалась на слезы, на плач, на тихую истерику, но именно на тихую, ибо, как и мать, была тиха и добра. Непонятно, как в такой рыхлый, больной комочек вмещалось столько добра, правда, слезливого, но истинного. Она всегда очень горько переживала обиды, но не показывала этого, предпочитая тихо плакать. Лишенная обычных ребячьих контактов, общения, наедине с книжками, радиотарелкой и сумбурной матерью, что выдумывала она себе, какие картины рисовала в воображении? Вместе с Верочкой мы подолгу слушали по радио классическую музыку (песенки она не любила), и я изумлялся, как хорошо и много она ее знает. Она читала наизусть огромные отрывки из Пушкина, Лермонтова, Маяковского, и я приходил от того в восторг. Но рядом с этим она любила сладенькие, нравоучительные сказки с гадкими иллюстра-

циями: румяные мальчики и девочки с зализанными прическами вознаграждаются за добродетель добрыми феями с лицами лилипутов. И все это на неестественно зеленых лужайках под голубым небом. Она знала Бетховена, но не знала, сколько стоит сливочное мороженое, а что важнее было тогда — поди, разбери. Она действительно на вопрос «Кто ты?» всерьез могла ответить: «Я девочка!» — и только удивлялась, что же здесь смешного и странного.

Верочка читала мне свои стихи, где полянки рифмовались с санками и река с облаками. Она рассказывала мне какие-то вымученные, странные истории, выдуманные ею, про принцев и старших бухгалтеров (а отец у нее был старшим бухгалтером). При этом она счастливо плакала. Но все это имело для меня свою особенную притягательность: ведь в том жестковато-решительном, румяно-здоровом мире детства, в котором я жил, ничего подобного быть не могло. Все это считалось чепухой, ерундой, даже пакостью какой-то...

— Знаешь, как страшно бывает, когда уплывешь далеко в море и уже берега не видно, и кругом только синяя вода и туман.

— А ты была на море? — подозрительно спрашивал я.

— Нет, не была. Но разве это обязательно? Какая разница, что не была? Ведь страшно, когда берега не видно, а кругом одна вода. Ведь главное, что страшно.

Была в ее словах магическая убедительность.

Она и правда никуда не выходила — ни гулять, ни в кино, никуда.

— А тебе никогда не хочется погулять, побегать? — спрашивал я ее, не подозревая жесткости своих слов. — Ну, по комнате-то ты ходишь, почему не во дворе?

— Мне нельзя, — тихо отвечала она. — Вдруг кто-нибудь меня толкнет или ударит? — И она растягивала бледные тонкие губы в некрасивой улыбке, но уродства ее я уже почти не замечал.

— Ну, со мной никто не толкнет, — убеждал я.

— А вдруг ты сам нечаянно толкнешь? Вдруг? Я боюсь, Алеша! В мире так много злых людей, а я девочка, мне трудно будет защитить себя.

Потом приходила Агнесса Павловна и снимала свое старое пальто и смешную шляпку, соорудив на лице понимающе-бодрую мину.

— Ну-с, — говорила она. — Будем пить чай!

И пылал оранжевый абажур, пили воду олени из озера на коврике, и молча обнажала зубы свои в улыбке добрая Дуся. Бежали дни, кончалась зима, и весна уже пела за окном веселыми птичьими голосами, стучала капелью и звенела тающим льдом.

5

А жизнь шла своим чередом. Каждый день мы приходили в школу, шумели, смеялись, получали пятерки и двойки. Мария Васильевна смотрела на нас добрыми глазами из-под очков и учила нас, и хвалила, и корила, и, в общем, мы росли, как росли и миллионы наших сверстников в этом огромном чудном мире. Но мой дружок Серега Губенко замыслил спасти меня от моего страшного наваждения — дружбы с Верочкой Батистовой, с Бородавкой.

— Старик, — говорил он, покачивая крупной головой. — Ну чего ты туда пойдешь? Чего? Э-э-эх ты, а еще друг называешься! Лучше давай набьем рожу Лютику из девятнадцатого дома. У него отец за

границу ездит, у него жвачка есть и шариковые ручки. А мы отнимем. Пойдем?

Конечно, никого он бить не собирался и ничего отнимать бы не стал, но хоть этим ухарством он отчаянно пытался вовлечь меня в привычный круг интересов вольной, веселой жизни.

— Не пойду, — отвечал я и шел к Бородавке, слушал ее стишки и разговаривал на возвышенные темы.

Дома мои походы всячески одобряли, что, кстати, внушало мне некоторое недоверие. Ведь если взрослые так охотно тебя поддерживают, улыбаются, стало быть, что-то не так, что-то такое странное получается. Самой активной сторонницей моих новых интересов была бабушка.

— Это очень хорошо, что ты дружишь с Верочкой, — говорила она так рассудительно, что я морщился. — Она чудесно на тебя влияет. Ты вот и читать больше стал, а то раньше тебя со двора не дозовешься, от хоккея по телевизору не оторвешь. Она, видно, хорошая девочка. И маму я ее видела, очень милая, порядочная женщина.

Оно, конечно, Агнесса Павловна была милой и порядочной женщиной, но тогда это звучало для меня как-то очень пыльно, скучно и назидательно.

А однажды Губенко подошел ко мне на перемене, отвел в дальний угол коридора, к лестничной площадке, и строгим голосом с долей злейшей иронии сказал:

— Ну что, я кое-чего понял.

— Чего? — спросил я.

— Бородавка... то есть Батистиха, на физкультуру ходит?

— Нет, не ходит.

— А почему не ходит?

— Она же освобождена, она больная. Ты что?

— Освобождена? — Глаза его излучали максимум сарказма. — Больная, говоришь? Да-а... А я знаю, почему она не ходит на уроки физкультуры... — Он помедлил.

— Почему? — не выдержал я. — Ну почему?

— А у нее, — медленно и зловеще проговорил Серега, — у нее все ноги волосатые! Вот так, Леха! Понял?

Как, какими ухищрениями разума пришел он к этому необыкновенному выводу? Непонятно! Но сказано это было так уверенно, с такой силой убеждения, что я даже ни на секунду не засомневался, не удивился абсурдности этого заявления. Я принял его как неизбежную данность. А голос у Сереги уже стал теплым, дружеским... Знал, знал он, чем можно сразить, отравить юную душу, а я не ведал противоядия.

— Откуда ты знаешь? — только и спросил я.

Если бы он ударился в подробности, в объяснения, то я, может, и засомневался бы в достоверности его слов, но он только горестно покачал головой и тихо сказал:

— Знаю.

И мир перевернулся!

Я ведь уже почти совсем не обращал внимания на ее отталкивающую внешность и даже запах ее комнаты стал воспринимать как нечто обыденное, привычное, неотделимое от всей жизни ее семьи. А тут... Все последующие уроки я внимательно приглядывался со своего места к Верочке и подсознательно искал в ней что-то звериное, животное, но ничего, кроме разве что сводства с лягушкой, не находил. В моем разыгравшемся воображении появлялись лесные чащобы, какие-то вурдалаки, мохнатые сатиры с копытами. И рождалось во мне ощущение противоестественности нашей с ней дружбы, ибо не может же человек, в самом деле,

всерьез дружить с енотом или слоном, и не может животное (да еще и гадкое!) читать ему стихи Пушкина! Не может!

Но после уроков из какого-то упорства, а еще и из необъяснимой заинтересованности я пошел ее провожать. Стояли мягкие майские дни, и уже зелень полностью вылезла наружу, но была еще не запыленной, а свежей, чистой. Газоны были вскопаны деятельными общественниками, и вообще недавно прошел субботник, и все сияло и сверкало новыми красками, побелкой. Я вглядывался в Верочку и заметил, что за этот год она стала еще более грузной и нескладной, а глаза у нее стали такими уж совсем белыми, что даже страшновато было. Дул легкий, теплый ветерок, за тополями звенел трамвай на проспекте, и все было как-то необыкновенно солнечно и благостно.

— Давай присядем на скамеечку, — вдруг предложила Верочка у своего подъезда. Обычно она никогда ничего подобного не предлагала. — Такой воздух замечательный. Ты чувствуешь, Алеша? Ах, какой воздух!

Я что-то буркнул в ответ. Она с трудом забралась на зеленую скамейку, расплылась, растеклась по ней, грузно осела, приоткрыла рот и задумчиво подняла белые глаза к высокому, с легкими облачками небу.

— А вот ты знаешь, Алеша, — немного насморочно заговорила она, ибо была слегка простужена. — Вчера ночью дождик шел, ты не слышал, наверное. А я не спала. Говорят, что в дождь хорошо спится, но я, наоборот, так всегда мучаюсь, плачу и как будто жду чего-то хорошего, чистого. Так после ночного дождя сегодня много дождевых червей. А я недавно где-то прочитала, что дождевые черви слепые...

— Естественно, слепые, — хмыкнул я. — Они же в земле живут. Что ж тут интересного?

— А я подумала, знаешь, что? Что раз у них глазок совсем нет, то как-то ведь они должны все различать. Значит, у них должно быть какое-то... ну, что-то такое, что им заменяет глазки.

— Ну и что?

— Вот у меня, Алеша, нет здоровья. Конечно, немножко есть, но очень, очень мало. Значит, что-то должно и у меня быть, что заменяет мне здоровье. Ведь правда, Алеша? — Она выкатила на меня глаза, дыша с хрипом, тяжело.

— Наверное... может быть... что-то есть, — сбивчиво проговорил я, вновь поддаваясь чувству жалости.

— Конечно, есть! — счастливым голосом сказала Верочка. — Я думаю, что у меня есть мама, есть Дуся, есть ты, и вы мне заменяете мое здоровье. Это же так замечательно, что у меня вы все есть. Все вы, вы все... — Закончить она не смогла, зашлюпала носом, заколебалась вся, зарыдала.

И в этом ее «все вы», в перечислении нас троих было такое бездонное, вселенское одиночество, такая оторванность от этого мира, что мне стало душно-сладко и к глазам подступили слезы.

— Верочка, — сказал я, забывая обо всем. — Ты знай, что если тебе я буду нужен, если когда-нибудь тебе помочь там надо будет или еще что-нибудь, то я всегда... — Волнение тоже мешало мне договорить.

Верочка плакала, заливалась слезами и кивала своей огромной головой, и реденькая косичка прыгала у нее на затылке. Она пыталась сказать что-то похожее на «спасибо», но выговорить не могла. Потом слезла со скамейки, нервно махнула мне рукой и скрылась за дверью.

Когда на следующее утро я пришел в школу, ко мне сразу подскочил Серега.

— Ну что, — ухмыльнулся он, — опять весь день во-ло-си-ки разглядывал?

— Какие волосики? — не понял я сразу.

— Какие, какие! Да у Батистихи своей на ногах! Какие!

«А! — озарился я мыслью. — А я и забыл про это!» И сразу, моментально Верочка стала мне отвратительна. Что-то гадкое, темное заползло в мое сознание, холодком прошло по спине, дернуло меня ознобом. А Серега стоял рядом, сочувственно смотрел на меня и улыбался.

— Про это уже все говорят, — сказал он доверительно. — Я не знаю откуда, но уже все знают. — Он захихикал. — Надо было делом заниматься, с нами ходить, а не с этой...

Все последующее время я замечал всеобщее перешептывание, перемигивание, язвительные смешки. По классу ходили записочки, но ни одна не предназначалась мне, и потому чувствовал я себя совсем неуютно. На Верочку я старался не смотреть, но видел, что все поглядывали на нее, посмеивались. А она сидела хоть бы что, как всегда одна (я так и не пересел к ней!). Но даже и Мария Васильевна заметила это нервное состояние класса, всю эту подпольную возню.

— Тише, ребята, тише! — повысила она голос. — Что такое с вами? Невозможно вести урок.

Когда последний урок закончился и прозвенел звонок, все как-то не очень торопились выбежать из класса. Постепенно кольцо ребят окружило Верочку, все стали пакостно ей как-то улыбаться, подмигивать, что-то бормотать. Краснощекоев даже зашелкал у нее перед лицом пальцами. Верочка с немлым удивлением смотрела на это, ибо уж давно ее никто не дразнил: то ли привыкли к ней, то ли и правда меня опасались.

Первым выкрикнул слово «Бородавка!» Губенко. Оно прозвучало, как призыв.

— Бородавка! — орал Краснощекоев визгливо.

— Бородавка! — выл и дико приплясывал Губенко.

— Бородавка! — выпевала презрительно красавица Мещерская.

— Бородавка! — стальным голосом кричала Бескудина.

Все кувыркались, орали, танцевали, высовывали языки — шла дикая детская травля. Свист и вой стояли в классе. Один я был чуть в стороне, не принимал в этом участия и только краснел и не знал, что же мне делать. Самым странным было то, что Верочка не зарыдала мгновенно, не стала закрывать руками лицо, а только совершенно выпучила глаза и чаще, тяжелее задыхалась. И уж полной для всех неожиданностью были ее слова.

— Я вас не боюсь! — громко сказала она. И смех, вопли разом оборвались. Настала тишина. И в этой тишине еще резче, необычайней прозвучал ее ватно-уверенный голос: — Вы все злые ребята, я это знаю. Вы все меня всегда хотите обидеть, потому что я беззащитная. Но я не беззащитная. У меня есть мой рыцарь, образ моего сердца — Алеша! Он не даст меня в обиду! Он добрый и прекрасный человек! Когда мы с ним вырастем, то поженимся и родим много-много прелестных детей, мальчиков и девочек. И он всегда будет оберегать меня, и мы всегда будем вместе! Правда, Алеша?

Наступила совсем гнетущая тишина. Лучше бы Верочка ударила меня при всех, обругала... А так

она вколотила меня в землю по самую макушку. Окончательно и бесповоротно. Есть в определенном возрасте вещи, которые говорить нельзя. О них даже, пожалуй, и думать нельзя, а уж говорить, да еще публично...

Я стоял в этой тишине, и в голове моей бился звон, и дикая ненависть заливала мне краской щеки.

— Ты! — задушенно воскликнул я, еще не осознав даже ужас своего позора. Я посмотрел перед собой и увидел искривленное едкой улыбочкой лицо Иры Мещерской. Тут меня прорвало. Я повернулся и пошел на Верочку, округлив от ненависти глаза. — Ты дура и сволочь! — кричал я ей. — Ты дура и сволочь! У тебя волосы на ногах растут! У тебя все ноги в волосах! Дура! Сволочь! Дура!

Что это было? Скорее всего истерика, иступление, потому что, кроме бессвязных своих криков, я почти ничего не слышал. И ничего не видел. Но прекрасно представляю себе, словно чужим взглядом вижу со стороны свою бьющуюся в гнев фигуру. Вижу и ее фигуру, распычатую, скованную внезапным страхом, ужасом, с испуганными белыми глазами и толстыми короткими ручками, прижатыми к груди, как на пошлых иллюстрациях к пошлым сказочкам.

А кругом стояли ребята, объединенные тогда лишь одним: презрительным любопытством. Ах, почему прекраснейшая пора — детство — бывает так бездушна и зла!

Накричавшись до одурения, я выбежал из класса и долго бродил потом по улицам. Придя домой, я нагрубил бабушке и почти весь день пролежал на своем диванчике, глядя в потолок и жестоко переживая свой позор, свое положение. Своим идиотским заявлением Верочка надолго закрывала мне пути к нормальному общению с друзьями. Это уж был такой возраст! Теперь я становился изгоем, предметом насмешек и издевательств. Ах, дура! Дура! Я ворочался, я не мог ни спать, ни думать: все во мне было накалено до предела.

Утром я вошел в класс, хмурый и угрюмый. На удивление, меня встретили не улыбочками и дразнилками, а как-то даже вежливо-отчужденно. Верочки Батистовой, естественно, не было. Они изволили переживать свою травму дома. После уроков Мария Васильевна спросила меня задержаться. Она села рядом со мной за парту и внимательно посмотрела на меня, сверкнув очками.

— Верочке вчера стало плохо, — медленно проговорила она. — Что у вас произошло? Почему ты кричал на нее?

Некоторое время я молчал и не хотел даже отвечать, но потом наконец выдал из себя глухо:

— Потому что она дура...

— Это не ответ, — строго сказала Мария Васильевна. — Как же ты мог так накричать на больную девочку, на свою подругу, что ее забрали в больницу? Приехала «Скорая», и ее забрали в больницу. Ты знаешь, что ее отвезли в больницу? — Она помолчала. — Как же так, Алеша, как же так?

— Она сама, — буркнул я, но по-прежнему агрессивно. — Что я для нее? Она сама!..

— Так нельзя с человеком! С большим человеком! — воскликнула учительница и даже прихлопнула рукой по доске парты. — Ты пойми, она ведь только оттого, что одиночество мучило ее, оттого, что не понимала, не находила путей! — Мария Васильевна сама оборвала себя и сказала в сторону: — Да что ж это я тебе... Ты же ребенок. Иди, Алеша, иди.

Я вышел. Через несколько дней нас отпустили на летние каникулы. И этим же летом мои родители переехали на новую квартиру.

7

Однажды — мне уже было лет пятнадцать, я и жил не там, и учился в другой школе — шел я с приятелем по улице, беззастенчиво беседуя. Мы возвращались с репетиции нашего школьного ансамбля и обсуждали полетевший звукозаписывающий аппарат на бас-гитаре. Была весна, и ручьи журчали под ногами, и весело рычали автомобили, все облепленные грязью. Синее небо кружилось облаками и пьянило голову. И вдруг услышал я пронзительно-ломкий голос:

— Алексей! Алеша!..

Я остановился и обернулся. Ко мне, спеша, подходила пожилая толстая женщина, нелепо перепрыгивая через лужи, стараясь не попасть в них ногой. Подойдя, она посмотрела на меня добрыми глазами и как-то заискивающе улыбаясь. Сначала я не узнал ее и, только пропустив через память целую галерею лиц, вспомнил: это же мать Веры Батистовой! Как бишь ее?.. Агнесса Павловна...

— Как ты? Ну как? — спрашивала она торопливо.

Да, она сильно постарела. Бесцветные кудельки все еще лепились у нее на лбу, и даже шляпка, моему, была, но весь облик ее уже не казался энергичным, решительным, а вялым, сонным, старым. К тому же она была еще и ярко накрашена, впрочем, как всегда, безвкусно и даже вульгарно немного. Губы у нее дрожали.

— Ну, как ты, Алеша?

— Да ничего, Агнесса Павловна, — смущенно сказал я и обернулся. Приятель стоял и ждал меня, нетерпеливо пританцовывая. — Вроде все в порядке... А как Вера?

— Верочка? — Даже под слоем пудры и краски видно было, как она побледнела. Глаза ее остеклели, а по щеке поползла одинокая слеза, оставшая за собой бороздку. — Что ж Верочка... Вера... Верочка... — Она попыталась улыбнуться, но это была не улыбка, а черт-те что. — Верочка умерла... Как забрали ее тогда в больницу, она прожила всего полгода и... умерла. Да. — На секунду взгляд ее стал безумен.

Я молчал. Я не знал, что сказать.

— Но все уже в прошлом, — молвила Агнесса Павловна и снова мучительно улыбнулась. Привычно, как фокусник, выхватила платочек из рукава и вытерла слезу.

— А вы как? — вязко выговаривая слова, спросил я.

— Что ж я... Я ничего. Мы живем все там же, с Дусей. Недавно тебя вспоминали, Алеша... Ты был такой чудный мальчик, чистый, вдумчивый... Она провела рукой по моей голове. — Ты потемнел. Раньше ведь ты был светленький-светленький... И вырос.

Я беспомощно оглянулся, отыскивая глазами приятеля. Она заметила мой взгляд.

— Иди, иди, — кивнула она с улыбкой. — Баги, Алеша. А я Дусе сегодня расскажу, она обрадуется...

Я повернулся и побрел прочь...

Прошло время, и забыл я про эту встречу. А теперь вспомнил. Вспомнил, и что-то засосало у меня внутри, какая-то появилась странная пустота... Прости меня, Верочка Батистова.

ГРИГОРИЙ
ШУРМАК

☆☆☆

Когда припоминаем
дела минувших лет,
порой не различаем,
где вымысел, где нет.

Смешалось все бывшее
с мечтами пополам,—
с тем, как пережитое
прожить хотелось нам.

☆☆☆

Не всегда на войне беда.
Есть привал. Перекур. Еда.
Есть блиндаж. Из ветвей настил.
И сидим, под гром батарей
вспоминаем далекий тыл,
младших братьев и матерей.

На исходе долгого дня
там получают весть от меня.

А в окошке лист серебра.
Завывает зимняя темь.
Вставши в пятом часу утра,
в цех дотащится мама в семь.

Ток заводам весь отдают,
и трамваи вновь не идут.

Брат размяк в постельном тепле,
худоба выделяет рот.
Снится брату глинистый хлеб,
за неделю взятый вперед.

...По винтовке вода рукой,
я шепчу себе: «Скоро в бой...»

☆☆☆

В сорок первом — похоронка. В холода.
Ей бы в крик, да ведь куда ни глянь — беда.
Был он взводный. От комроты все б узнать.
Повезло ей — сразу трех смогла сыскать.
«Я тогда комроты был, — приходит весть, —
когда брали Будапешт. Потерь не счесть». —
«Был как раз комроты я, — в письме
другом, —
Когда бипись на плацдарме за Днепром». —
«Я командовал, — в еще одном

письме. —

Близ Берлина принял роту по весне...»
Только где же тот комроты, что зимой
Вместе с мужем бился насмерть под
Москвой!

Прощание

Сине-снежные дали,
С крыш капель. Гололед.
Полон клуб госпитальный.
Пар из окон плывет.

Лихо кружатся в вальсе
пехотинец, танкист...
Лейтенантские пальцы
сжали девичью кисть.

Золотые погоны,
профессорский лоб.
Уверенность в тоне
и в манерах апломб.

А она! Хоть и рада
к лейтенанту прильнуть,
на меня, как на брата,
не забыла взглянуть.

Зажила моя рана,
отлежался зимой —
и уйду спозаранок
с вещмешком за слиной.

И, насмешливый внешне,
упиваюсь сейчас
и тревожным и нежным
выражением глаз.

В госпитальных покоех,
на скорбях, на крови,
возникает такое,
что роднит — как в любви...

В мае
сорок пятого

Гремели грозы. Буйствовали клены,
купаясь в солнце. А мужчин в зеленом!
В любой из парикмахерских чуть свет
накрыты белым, будто мыльной пеной:
с ней заодно усталость стольких лет
с опавших щек сходила постепенно...

☆☆☆

Встает в воображенье крупным планом
расстроенное женское лицо —
и жизнь моя проходит бесталанно,
и неудач сжимается кольцо.

Но вот опять наплывом этот профиль,
такое оживленное лицо —
и в тот же миг час вдохновенья пробил,
и окрыленный жил бы я пет сто...

Барометр ты! Но необыкновенный!
С тех пор, как я узнал тебя юнцом,
в моей судьбе любая перемена
предсказана родным твоим пицом.

Счастье

Измучиться: устать, бесплодно споря.
Заснуть. И утром, не открыв глаза,
вдруг различить в негромком разговоре
своих родных и близких голоса.



**ЛЕВ
БЕРИНСКИЙ**

☆☆☆

На цыпочках, неся лучисто руки
во мраке хвои и лесных пустот
и вздрагивая там при каждом звуке,
вся захолонув, девушка идет.
Дремучий лес...
А где-то там, на юге
соснового массива — камни вброд
переступает юноша, и вот
он в лес вошел
и встал почти в испуге.
И лес молчит огромный...
О, ударь,
гром среди неба ясного, и пламя
обрушь на ствол,
чтоб вспыхнул, как фонарь,
или во тьме, у них над головами
свой крик истошный, птица, оброни —
чтоб как-нибудь да встретились они!

☆☆☆

Горят рябины. Под ногами
горит листва, дымит река,
чадят дожди, стоят луга
с огнеопасными стогами.
Горит осенняя обитель...
А мы—мы заморожены,
стоим, как посторонний зритель,
и ждем, когда из вышины
ударит в нас огнетушитель
студеной пенистой пуны...

Пегас

Крылатый конь, впряженный в плуг,
что за неслыханный испуг
в глазах, блуждающих над лугом?
По краю дня, за кругом круг,
ты луг распарываешь плугом.
Крылатый, в бепых вензелях
двух облаков над потным крупом,
ты губы вытянешь, как рупор,
зовя на помощь в небесах.
Но зной и тишь во всей округе.
Стоишь и смотришь не дыша,
в недоуменье и испуге
щежит под крыльями душа.



Поэзия



**ЛАРИСА
ТАРАКАНОВА**

☆☆☆

Зима развернулась,
как белая книга,—
О светлая суть
невозвратного мига!
Хоподное солнце.
Густая лазурь...
Забудь поражение
и брови не хмурь.

Душевная смута —
пустая хвороба.
Есть свежая горсть
молодого сугроба,
Рябины
багряная тяжкая горсть.
Ты в собственном мире хозяин,
не гость.

И время,
к тебе приближая страницу,
На девственный снег
вытрясает синицу.
И ты,
у раскрытого стоя окна,
Смеясь,
вытрясашь остатки пшена.

Друзья

По улице Герцена шли и галдели,
Еще не наметив единственной цепи,
Еще ни о чем не печалась всерьез,
На щедрое небо взирая без слез.
Душа молодая не знает покоя:
Давайте придумаем что-то такое...
Пускай не кончается радостный день,
В горячих ладонях не вянет сирень.
...Друзья не желают сниматься на фото,
У каждого есть поважнее забота.
Но там, на углу,
у Никитских ворот,
Есть дверь, за которою время замрет.
Друзья не желают сниматься на фото,
А мне не унять их крутого полета.
И мы никогда, никогда, никогда
Таковыми, как есть, не вернемся сюда.
— В грядущее следуй без лишних
пожитков.
Позировать — блажь. Суета. Пережиток.
Друзья посмеются, а я помолчу.
Я их молодыми запомнить хочу.



**ДИОМИД
КОСТЮРИН**

Доброта

Это очень старо
И весьма современно —
Нужно верить в добро
Горячо, неизменно.
Защищать доброту
Бескорыстно и свято,
Что стоит на посту
В гимнастерке солдата,
Что в безмолвной ночи
Тихой женщиной плачет,
Что ребенком кричит,
Что не может иначе,
Что не прятала глаз,
Что трудна и нетленна,
Что по-прежнему в нас
Быть должна непременно...

На ипподроме

И вот, напоминая выюгу,
Стелясь почти что на лету,
Помчались лошади по кругу,
Я снова ставлю не на ту.

Она косит в тоске упрямой,
С нее ручьями льется пот,
Она придет последней самой,
А может, вовсе не придет.

Знаток безумствует привычно,
Рев набирает высоту.
А мне все это безразлично —
Ведь я поставил не на ту.

Бег фаворитки лучезарен,
Как воплощенная мечта.
Я ипподрому благодарен
За ту, которая не та,

За то, что нет здесь строгих правил,
Чтоб непременно каждый ставил
На обязательный успех.
Нарочно ставлю не на тех.

Она бежит рысцою шаткой,
Себя терзая и губя.
Ах, если б ей шепнуть украдкой:
— Беги, надеюсь на тебя!



Новый снег под ногами искрится,
Белым паром клубятся слова.
Засыпает ночная стопица,
Остается бессонной Москва.

Та Москва, что мне с детства знакома,
Как скрипела таинственно двери!
Только вместо старинного дома
Новый парк разместился теперь.

Та Москва переулков булыжных,
Где коты бушевали в ночи,
Где старьевщик на лошади рыжей
Привозил продавать пугачи.

Та Москва — не метро, а трамваев,
Та Москва, где гудели гудки.
Где светились на крышах сараев
Голубятен роскошных сады,

Где кружились под окнами пары,
Где сводила с ума резеда.
Та Москва, что электрогитары
Не спыхала еще никогда.

Пианино

Разбогатею — куплю пианино,
Буду веселые вальсы играть.
Станет не жизнь у меня, а малина,
Вроде лесной,
Что росла у овина,
Некому было ее собирать.

Разбогатею — куплю непременно.
Сяду играть — отключу телефон.
«Жизнь скоротечна, искусство нетленно», —
Так стану думать.
А тихие стены
Тихо возьмут меня
В тихий полон.

Может, действительно разбогатею.
Свечи достану, зажгу ясный свет,
Доброе сея, разумное сея..
Жаль, что играть я совсем не умею,
Да и особых способностей нет.



Вопшебней, Наташа, вопшебней
Сегодня, пожалуйста, будь,
Чтоб света прозрачные стебли
Сквозь нас продолжали свой путь.
Прохладу дай полночи жаркой,
Леса светляками изрань.
Стань ведьмой, копдуньей, знахаркой,
Русалкой, богинею стань.
Чтоб не был рассвет обездолен,
Чтоб ветер был молод и смел.
Скорее, Наташа, я болен,
Но я исцелиться б хотел
От трезвого слишком рассудка,
От шуток привычных своих.
Я болен, Наташа, мне жутко,
Пока не прошел этот миг.



НИКОЛАЙ ЛЫРЧИКОВ

Николаю Лырчикову 28 лет.
Служил в армии.
Окончил
режиссерский факультет ВГИКа
и Высшие сценарные курсы.
Печатается впервые.

РАССКАЗ



ЖИЛ-БЫЛ У БАБУШКИ...

Сначала Ваня услышал голос. Это был голос бабушки. Она будила спавшего рядом с Ваней деда и негромко говорила: — Старик, встал бы ты, проверил овчарню свою. А то ведь затопит, как лется. Ишь, ливень налетел какой.

Дед зашевелился, поднимаясь, бабушка продолжала ему шептать что-то, но Ваня перестал уже слышать все слова и звуки, кроме одного: в окно и в крышу били струи сильного-пресильного дождя, и изба стала, как барабан, по которому искрометно ударяют со всех сторон десятки палочек... Ваня открыл глаза и увидел маленькие бурные речки на оконных стеклах. Речки текут, сплетаются, волнуются.

Дед вышел из горницы, натянул шуршащий дождевик, сапоги и, уходя, хлопнул дверью. Проводившая его бабушка заглянула к внуку. Ваня закрыл глаза: пусть думает, что он спит. Бабушка поправила на нем одеяло и ушла в кухню.

А Ваня... Ну разве мог он спокойно спать, когда за окном ливень!

Он тихонько оделся, неслышно раскрыл створки окна и в следующий миг был уже во дворе. Шум, плеск, бульканье вокруг.

Ваня знал, что дед в сарае, и бежал к нему.

— Дождик, лей, лей, лей! — размахивая руками, подпрыгивая и кружась, кричал он.

Дед копал канаву от лужи, которая, все расширяясь, подступала к сараю и могла вскоре затопить его.

Вода ручьями бежала по складкам дедова дождевика, сапоги вязли в грязи и чавкали, свистели при каждом движении.

Заметя внука, дед разогнулся и без усилия, но очень громко приказал:

— Марш в избу.

— А ты?

— Марш в избу.

— Я помогать тебе буду.

— Ремень сыму вот, помогну.

Лужа расширилась, и дед, забыв про Ваню, продолжал копать канаву. Ваня отыскал сучковатую палку и водил ею по грязи, как бы расчищая дорогу дедовой лопате.

Рисунок
О. Ерзиковой.

— Дождешься вот от бабки-то,— пообещал дед, не умеющий сам ругаться.

— А ты не говори, что я с тобой был.

— Говори не говори, она поймет. Весь мокрый.

— Скажу, на двор бегал.

— На двор... Прибежит сейчас, обоим всыплет. Иди под поветью укройся,— не прекращая работы, велел дед,— простынешь, с меня старуха с живого не слезет.

— Ладно,— пообещал Ваня. Он вбежал в укрытие и оттуда шумнул: — Дед! Я спрятался. Слышишь?

— Слышу. Сиди там.

«Сиди!» Какое там! Сидеть в укрытии, когда в двух шагах от тебя ливень! Ваня опять принялся бороздить палкой грязь, роя русло для воды с другого конца лужи, так что дед не видел и не слышал его.

— Дед! — звал он время от времени.— Я под поветью сижу. Слышишь?..

Вдруг над головою у Вани послышалось шуршание, казавшееся жалким в шуме и плеске ливня, а в следующий миг мальчик уже укутан был огромным целлофановым полотном...

Пока бабушка переодевала Ваню в теплую, сухую одежду, усадив его на высокую кровать, ливень кончился, и слышны были только звуки срывающихся с карниза капель.

— Вот куда смотрел, идол старый? — ругала она деда.— Что сразу-то не прикрыл парнишку? Пустил ребенка под дождь, будто так и надо. А ножонки ледяные,— сокрушалась она, щупая Ванины ноги,— лед галимый.

Дед, как всегда, молчал и только виновато поглядывал на бабушку. А Ваня, согретый и возбужденный, рассказывал:

— А лужа все шире и шире. А мы копаем и копаем. И вот такую канаву сделали. Правда, дед?

— Правда, Ванек,— слегка улыбнулся старик.

— Ишь, помощник дедов,— покачала головой бабушка,— и когда вырастает-то успел? Все вроде маленький был, все маленький...

— Разбирай кровать, старуха,— сказал дед.

— Какая ж кровать теперь? На печь положу вас, отогревайтесь. Она горячая еще, печь-то, хлеб я пекла. Да и чайку попили бы горячего. Подогрею сейчас.

— Не хочу-у,— закапризничал Ваня.— Ну зачем чай! Дед, пошли поиграем. Ведь там смотри как,— с завистью кивнул он на окно.

— Ну-ка, игрок! — прикрикнула бабушка.— И без того бога моли теперь, чтоб не захворал. Мать на днях придет, нам отчет перед ей держать за тебя.

Мальчик надулся, и бабушка, подойдя к буфету, извлекла откуда-то из шуршащей бумаги конфеты.

— Ведь последние деньки у нас,— заговорила она, садясь к внуку,— хоть покормить напоследок. У мамки-то твоей забуденной, не знаю, дойдут ли руки.

— Дойдут,— пробурчал дед, раздевавшийся у печи.— Лидка — смышленная девка.

— Смышленная... Шибко уж молода. Сама-то, небось, конфетки еще сосать не забывает... Поздняя она у нас,— сама с собой, по обыкновению, рассуждала старуха,— а уж ты, Ванек, у ее ранний, в двадцать лет родила.

— Восемнадцать ей было,— поправил с печки старик,— а теперь Ваньке семь, ей двадцать пять.

— Ну вот— двадцать пять годов, какой спрос,— тихонько сокрушалась старуха.— Да и мужик у ей не особо представительный.

Ваня перестал есть конфеты, насторожился.

— Какой мужик, баб? — спросил он.

Старуха опять вздохнула и не ответила.

— Лишь бы путевый был,— отозвался дед,— с представительности толк не шибкий.

— Дед,— оживился Ваня,— а я хочу, чтоб и вы со мной в город поехали. И Гришка тоже.

— Чего же нам делать-то, сынок, в городах,— сказала бабушка.— Это тебе мать хочет с самого сызмальства на культурную жизнь наводить. А уж мы... Турнут еще оттуда: во, скажут, черти старые, приехали городской вид портить.

Ваня смотрел через окно на срывающиеся с карниза капли.

Сон одолевал его...

Проснулся Ваня, когда за окнами было опять светло, а в избе пусто.

Мальчик прыгнул с печки, быстренько оделся и босиком выбежал в сенцы. Там, на столе, лежал приготовленный бабушкой узелок с продуктами. Взяв его, Ваня выбежал на улицу.

Бабушка кликала кур, рассыпая для них пшеницу.

— Я на покос! — крикнул Ваня по пути к калитке.

— Завтракать-то? — пыталась задержать его старуха.

Ваня показал узелок:

— С Гришкой поедем. Я тороплюсь, баба!..

Бригада, в которой работал Гришка, состояла из нескольких водителей сенокосилок, ребят-копновозов и женщин, сгребавших сено в копны.

Гришка работал на своей косилке за ближайшим колком, а женщины, увидя Ваню, приветственно заулыбались.

— Что-то поздно нынче,— шутиливо укорила одна из них,— проспал?

— Уже обедать пора? — испугался Ваня.

— Хорош работник,— засмеялись женщины,— не успел прибежать — об обеде беспокоится.

— А ко мне мама завтра придет,— похвастался мальчик.— Я с ней в город поеду, учиться.

— Ой-ё-ёй! — наперебой умилялись вокруг.— Городским, значит, станешь?

— Как же мы без тебя тут обходиться-то будем? Кто ж нас водой поить будет?

— Гришка-то зачехнет тут без тебя с горя.

— А я с собой его попрошу взять,— сказал Ваня. Между тем женщины, как всегда, стали обсуждать новость, зашушукались.

— Является, значит, Лидка.

— Ей, вертливостке, с самого начала не надо было бросать парнишку на бабкины руки.

— Да, это легко сказать. Думаешь, сладко ей там, в городе?

— Говорят, мужик ей попался хороший—начальник.

— А ты что хотела: Лидка — красавица. Такие в начальников только и вцепляются.

— Поживохиает теперь, горя не ведает.

А Ваня шел туда, где в тени стояла бочка с водой для рабочих.

— Привет, Гришка! — махнул он своему другу, когда косилка появилась из-за колка...

Рабочие подходили часто — пить просили. И все благодарили:

— Спасибо, Ванюха, сроду так не напивался. Ты у нас тут главный работник. Что б мы без тебя на такой жаре делали? Вишь, палит как.

А Ваня сидел верхом на бочке и зачерпывал из нее полными ковшками.

Солнце стояло в самой середине неба.

Смотреть на него нельзя было: до того горячее и яркое.

Если же помотришь, оно покажется маленьким-маленьким шариком, а потом рассыплется на тысячу новых шариков, которые разбегутся по всему небосклону.

И долго после этого, как ни жмурься и ни три глаза, будут кататься перед тобою тысячи горячих ослепительных шариков...

— И охота тебе торчать тут... — услышал Ваня за спиной у себя голос.

Он обернулся и увидел мальчишку-копновоза. Тот, зевая и держа правую руку полусогнутой, подходил к бочке.

— А ты что не работаешь? — спросил Ваня.

Мальчишка показал согнутую руку.

— Вывихнул, — объяснил он, разваливаясь рядом с бочкой. — Красота-а, — лениво потянулся он, почувствовав, что от бочки несет прохладой.

— А как вывихнул? — заинтересовался Ваня.

— Обыкновенно. С лошади упал.

— Больно?

— Жуть.

— А Гришка с косилки не упадет? — насторожился Ваня.

— Не-а, — ухмыльнулся копновоз, — он дурной. Мне вот неохота пыль глотать на жарнице, я и упал. А он дурной, не упадет.

— Значит, ты просто ездить не умеешь, — сказал Ваня.

— Чё-ё? — приподнял голову мальчишка. — Щас дам...

— А зачем ты говоришь, что Гришка дурной?

— А чё ты выступаешь? — прищурился парень. — Думаешь, если сопляк, не трону? Подкидыш!

Ваня отвернулся, но не утерпел спросить:

— А что такое подкидыш?

— Погляди на себя — увидишь.

Ваня осмотрел себя и ничего не понял.

— Подкидыш, — решил объяснить парень, — значит, инкубаторский. Ни папки, ни мамки.

— У меня есть...

— Ой, умотал: есть! Отец твой, к примеру, где?

— Отец... — Мальчик не знал, что ответить. — Отец... с мамой.

— С мамой! А то я не знаю Лидку твою.

Ваня явно не понимал, но чувствовал, что мальчишка говорит плохо. Он посмотрел на Гришкину косилку, разворачивавшуюся на поле, потом зачерпнул ковшом воды из бочки и в то время, как мальчишка закрыл глаза, вылил на него воду. Парень, словно по нему пустили ток, дернулся, потом отскочил в сторону.

Ваня побежал навстречу Гришке.

— Гришка! — кричал он. — Гришка!

Парень догнал Ваню и хотел щелкнуть по голове, но в это время Гришка схватил его за руку. Парнишка скорчился, присел.

— В другой раз больней побью, — пообещал Гришка.

Потом он взял Ваню за руку и повел его к тому месту, где они всегда обедали...

Они расположились на берегу реки.

— Вот что, — говорил Гришка, — если еще кто-нибудь назовет тебя так, мне говори.

— А что такое подкидыш? — спросил Ваня.

— Ну... Когда отца нет.

— А у меня есть?

— А как же, у всех отец есть. Вот придет мать и покажет тебе отца. Он хороший мужик, я знаю его.

Гришка — парень, про которых в деревне говорят «смешной»: щуплый, остроглазый.

— А зачем отец нужен? — пожал Ваня плечами, развязывая узелок и раскладывая продукты на бабушкином платке.

— А как же без отца-то! — воскликнул Гришка. — Без отца никак нельзя. Парню особенно. Вот ты деда любишь?

— Люблю. И тебя люблю.

— Обо мне речи нет, — перебил Гришка, — я про деда. Вот он тебе как отец теперь? Понимаешь?

— Понимаю.

— Ну и молодец, Иван.

Купаясь после обеда, они оба так радовались чему-то, что у Вани заболел живот от смеха.

— Догоняю, догоняю! — брызгаясь и плывя к Ване, кричал Гришка.

— Не догонишь, — визжал Ваня, уплывая от мелькавшего за искристыми брызгами лица Гришки.

Он выскочил на берег, взобрался, где покруче, и солдатиком плюхнулся в воду за Гришкиной спиной. Но Гришка ловко развернулся и схватил своего маленького друга в охапку.

— Попа-а-лся! — бармалеевым голосом прокричал он. — Теперь мы тебя накажем. Смейся, смейся, сейчас плакать будешь, — говорил он, вытаскивая на берег коричневое Ванино тело.

А Ване делалось еще смешнее.

— Гришка, — только и мог выговорить он, — щекотно, Гришка...

Гришка дождался, когда Ваня просмеется, и попросил, став вдруг серьезным:

— Ты, Иван, это... как-нибудь по-другому меня зови. Я же старше.

— А как? Дядя Гриша? — спросил Ваня. — Дядя Гриша, — засмеялся он.

— Нет, дядей тоже плохо, — оставался серьезным Гришка. — Зови... Да никак не зови. Что, обязательно звать, что ль? Ну, мне на работу, — переменял он тему, — а ты домой беги. Помойся к мамкиному приезде.

— Гришка! — перебил Ваня. — А поехали со мной в город?

— Не могу, Иван.

— Ну почему? Я не хочу один ехать.

— Что, учиться не хочешь?

— Нет, хочу учиться. И хочу, чтоб ты был рядом. И бабушка и дед. Ведь в жизни не должно быть плохо? Не должно? А мне будет, если я без вас останусь.

— Без нас... Что мы, одни на весь мир, что ль? У тебя мать, батя.

Ваня вздохнул.

— Да, Иван, у тебя не будет плохо. Ты только... папку своего слушайся. Он мужик хороший... Ну все, — решительно закончил он, — мне работать надо...

Вечером следующего дня Ваня сидел на крыше избы и вглядывался туда, где километрах в двух от деревни тянулось шоссе. Машины изредка проходили по нему, но ни одна из них не сворачивала к деревне...

Ваня слез с крыши и хмурый вошел в избу.

Дед и бабка тоже ждали — рядышком, молча сидели на кровати.

Ваня сел к печке и отвернулся от стариков, боясь расплакаться.

— Пойдем-ка, Ванек, на Гнедой тебя покатаю, — решил повеселить его дед.

— Может, завтра приедут, — вздохнула бабка. — А тебе, старик, одежду б, однако, переменить. Рубаху счас найду, какую Лидка летось привезла.

Бабка вдруг охнула и выскочила на кухню.

— Едут, однако,— всплеснула она руками,— они ведь, старик, глянь,— пихала она мужа к окну.— Они? — Бабка подбежала к внуку, одернула его рубашку, подтянула брюки, прижала к затылку топорщившиеся волосы.— Ой, Ванька, Ванька,— бормотала она.— Ну, бежимте, встренуть ведь надо, в дом провесть...

Старики скрылись в сенцах, оставив дверь открытой.

А Ваня как будто застыл перед этой дверью. Он прислушивался. Невнятный хор приветствий вскоре перебил громкий и такой родной, такой долгожданный голос:

— Где он?

И вскоре мальчик ощутил на спине у себя, и на шее, и на голове тепло ладоней.

Он чувствовал, что лицо его щекочут локоны и поцелуи.

— Ванечка,— слышал он шепот,— Ванечка... маленький... маленький мой. Господи, да ведь ты взрослый!

И Ваня, как это нередко случается с детьми, заплакал от радости. Громко и безутешно. И никого не испугали эти его слезы: ни деда с бабушкой, ни невысокого, полного, улыбающегося мужчину, которого Ваня видел из-за плеча матери. Этот мужчина подошел к Ване, погладил мальчика по голове, потом обнял мать и сказал:

— Все у нас будет очень хорошо...

Ване показалось, что он проспал. Действительно, солнце было уже высоко, однако, заметив, что мать и Максим еще не встали, мальчик успокоился.

Он присел на корточки и, не дыша, любовался матерью.

Она улыбалась во сне и без накрашенных ресниц, без помады, без синевы на веках казалась еще роднее.

Максиму же было жарко, он ворочался, что-то бормотал со смешным во сне выражением недовольного человека.

Вдруг он открыл глаза и приподнялся на локтях, осматриваясь.

Ваня не успел спрятаться, и Максим остановил свой тревожный спросонья взгляд на нем. Ваня, словно виноватый, глядел на того, кого надо было теперь любить и звать папой. А глаза Максима постепенно теряли тревожное выражение и вскоре засветились радостью.

— Чертовщина снилась,— как будто извиняясь, сказал он. И улыбнулся.

Ваня ответил улыбкой, хотя и явно неискренней.

— Пора вставать, наверно,— сказал Максим после тяжелой паузы.

— У-у,— кивнул Ваня.

Он чувствовал, что хорошо бы поговорить о чем-нибудь с папой, но слов не находилось.

— А у вас ведь речка есть,— вспомнил Максим,— идем на рыбалку.

— Айда,— согласился Ваня.

Максим осторожно начал подниматься, однако жена услышала. Глаз она не открывала, а только вяло спросила:

— Ты куда?

Максим поцеловал ее в лоб и прошептал:

— Мы с Ваней пойдем на рыбалку.

— С Ваней,— отозвалась она. И улыбнулась, хотя глаза по-прежнему были закрыты и сон продолжался...

Ветра не было, клева тоже, и поплавки, как привязанные, едва покачивались на спокойной водной глади.

И теперь, на рыбалке, не возникало у Вани с Максимом тем для оживленных бесед или хотя бы для размеренных переговоров. И оба они чувствовали себя неловко.

— В городе у тебя много друзей будет, там весело,— заговорил наконец Максим.— А мороженое ты любишь?

— А что это? — спросил Ваня.

— Тебе понравится.

— А я люблю в поле есть,— сообщил Ваня,— с Гришкой.

— Друг твой?

— Да... Он веселый.

У Максима клюнуло, и он дернул удилище. Да так, что крючок оказался за спиною, на песке.

— Подождать надо было,— сказал Ваня.

— Никудашный я рыбак,— засмеялся Максим.— Это моя к тебе переплыла,— прошептал он, заметив, что Ванин поплавок нырнул.

Ваня привстал и после второго нырка приподнял удилище. С крючка свисал, извиваясь, жирный пещарь.

— Я так и знал,— опять засмеялся Максим,— моя к тебе переплыла.

Ваня почувствовал, что ему тоже надо засмеяться. И засмеялся.

А потом они вновь долго молча глядели на застывшие поплавки.

— А ты любишь маму, Ваня? — спросил вдруг Максим.

— Да.

— И я.— Максим подвинулся ближе к нему.— Знаешь, я думаю... я думаю, мы с тобой тоже любим друг друга. Ведь мы будем жить вместе, втроем.

— А давайте тут останемся? — оживился Ваня.— И Гришка с нами будет, и бабушка, и дед.

— Тебе надо учиться,— мягко перебил Максим, притрагиваясь к его голове, чтобы погладить волосы.— Ты у нас должен быть образованным, интеллигентным. А твои друзья будут приезжать к нам.

— А Гришка говорит,— начал Ваня,— что в жизни все должно быть правильно...

— Вот и будет правильно. А давай-ка покупаемся? Сто лет я не купался.

Вскоре Максим уже разделся и вошел в воду. Входил постепенно, потирая мокрыми ладонями полные белые плечи, руки, грудь.

Ваня не спешил раздеваться. Он взглянул на тикавшие часы, которые Максим положил поверх одежды.

— Мне к Гришке надо,— сказал Ваня, когда Максим повернулся в его сторону.— У него обед... Мы договорились.

— Ну, беги, беги,— разрешил Максим,— только возвращайся скорее.

— Ладно,— пообещал мальчик. И помчался по берегу реки туда, где Гришка должен был ждать его в их месте.

Когда до цели осталось совсем недалеко, Ваня пошел очень медленно. Шел сосредоточенный, обдумывая что-то.

Видно было, что разговор у него к Гришке не веселый.

Когда от речки, где купался Гришка, его отделяла лишь полоска кустарника, Ваня замер. Он услышал женский голос.

— Пополнел,— сказал этот голос,— легко живешь, наверно.

Гришка фыркнул, вынырнув, и отозвался:

— Легче не бывает. А ты похудела.

— Это модно. Тебе не нравится?

Да, это был голос его матери, и Ваня, ступая совершенно бесшумно, перебежал в кусты, чтобы от туда видеть мать и Гришку.

Он видел, что друг его одевается, искупавшись, а мать сидит на песке, обхватив колени руками, и смотрит на него.

— Ивана, значит, забираешь? — Гришка выглядел хмурым, даже сердитым.

— Забираем, — ответила мать, — ему в школу, сам знаешь.

— Оставь адрес, куда деньги слать.

— Не надо, Гришка, — улыбнулась она, — мой муж очень хорошо зарабатывает.

— При чем тут твой муж! — вспыхнул Гришка. — Я про сына своего говорю.

— Ох, Гришка, ты не меняешься, — засмеялась она в ответ на его вспыльчивость, любясь им. — Такой же весь из себя строгий.

Гришка поморщился и уже спокойно сказал:

— Мне не до шуток, Лида. И деньги, сколько могу, я высылать буду.

Он оделся, сел рядом с нею.

— Обедай, — кивнула она на узелок с продуктами.

— Не хочу, — отмахнулся он.

Ваня наблюдал все это и так был захвачен, что почти не дышал. Два самых прекрасных существа на земле — мама и Гришка — были рядом, перед ним.

— А может, мы и счастливы были бы, — проговорила мать. — Вот смотрю на тебя и думаю: вдруг наглупили тогда?

Гришка угрюмо молчал. Через минуту он отозвался:

— Что, плохо живете, что ль?

Она пожала плечами.

— То плохо, то хорошо — по-разному. Но... скучно.

— Какое веселье ты выискиваешь — не понимаю. И от меня в город укатила, потому что «скучно», и теперь опять...

— Ах, Гришка... — вздохнула она.

— Я, как на Ваньку погляжу, — начал Гришка через минуту, — душа отрывается. Живу, как... злостный неплательщик, скрываюсь ото всех. Надоело. А чего мне скрываться-то?! Я не преступник, я всем могу доложить, что так и так, мол. — Он вдруг резко обернулся к ней, взял ее за руку. — Лида! — вырвался у него шепот.

— Не надо, — со своей спокойной улыбкой перебила она, — не надо, Гришка... Нет, ничего я не хочу. И с тобой у меня не было бы жизни хорошей. Натура такая. А сына я в обиду никому не дам, не беспокоюсь.

— Мне работать пора, — резко поднялся Гришка.

Она встала тоже. Еще раз рассмотрела его лицо, глаза.

— А давай встретимся вечером? — предложила вдруг она.

Он хмыкнул, готовя, казалось, отрицательный ответ, но через секунду покорно и едва слышно ответил:

— Давай.

— Ведь это наше место. Помнишь?

— Помню...

— Я не знаю, когда еще раз вырвусь сюда... — добавила она.

Когда берег опустел, Ваня вышел из своего укрытия.

Он глядел туда, где сидели недавно Гришка и мама. Там остались их следы.

Убедившись, что он один, Ваня скинул одежду и бросился в воду. Он смеялся, нырял, кувыркался, подбрасывая пригоршнями искрившуюся под солнцем воду...

Вечером Максим варил уху. Он разложил дрова прямо на улице, под самодельным таганом, на котором стоял чугунок с водой. Дед сидел рядом на табуретке и дивился вслух:

— Счас, говорят, городские мужики всю работу у баб переняли. Сами стирают, сами в избах убираются, сами, — он кивнул на огонь, — варят-жарят.

Максим засмеялся.

— А что в этом плохого? — говорил он. — Теперь времена другие, теперь и женщины другие. Я лично готовить люблю Рыбы, правда, маловато, не клевало у нас с Ваней, но уха все-таки будет...

В это время в бане бабушка мыла голову внуку.

— Шею-то зачем! — жалобно зафыркал тот, когда бабка, наклонив его пониже к тазу, принялась мылить и шею.

— Уж при матери-то почище держись, миленок, — приговаривала старуха, — а то скажут, что, мол, не доглядывали мы тут за тобой... Ох-ох... Заберут вот теперь, и с концами, — забормотала она, — жди, когда стренемся. Да и стренемся ли...

— Баб, а я что-то знаю, — лукаво щурясь, сказал Ваня.

— Чего?

— Не скажу. Потом скажу, когда все сделается хорошо-хорошо.

— Ишь, знахарь, — покачала головой бабка. — Ты уж, сынок, к этому-то... к нему-то, — она кивнула на открытую дверь, через которую видны были Максим и дед, — ласкаться старайся. Он вроде мужик хороший, смиренный. Ох-ох, — опять вздохнула она.

Ваня посмотрел через дверь на Максима и вновь засмеялся.

— А я что-то знаю, — повторил он, — вот увидишь сегодня вечером.

В эту минуту он увидел через дверь, что мать его вышла на крыльцо.

— Лидочка, скоро будет уха, — похвастался Максим, — чувствуешь запах? Клевало, правда, у нас с Ваней плохо, но для запаха достаточно.

— Я прогуляюсь, — сказала мать, — к ухе приду.

— Скоро готово будет! — кинул вслед ей Максим.

Через несколько минут Ваня, натягивая рубашку, вышел из бани.

Он приблизился к Максиму. Лицо у того, как всегда в присутствии Вани, сделалось преувеличенно ласковым.

Ваня тоже улыбался, но теперь улыбка его была искренней.

— Наша уха, — кивнул на чугунок Максим.

Ваня мялся, не решаясь что-то высказать. Наконец проговорил:

— Нам надо сходить...

— Куда?

— Я дорогой расскажу. Мы с Гришкой один раз говорили...

— Про что? — спросил Максим, пробуя уху.

— Ну... ведь в жизни не должно быть плохо?

— Правильно, Ваня, — одобрил Максим, — и вот увидишь, у нас в жизни никогда не будет плохо.

— Пошли, — взял его за руку Ваня.

— Да куда?!

Ваня тянул его, и в лице мальчика было столько восторга, что Максим не мог сопротивляться.

— Снимите уху с огня! — крикнул он вышедшей из бани бабушке.



— Мы скоро, баб,— кричал Ваня,— вы без нас за стол не садитесь...

Они бежали, и Максим едва успевал за Ваней. Нельзя было не проникнуться этим ожиданием чуда, которое переполняло Ваню.

И Максим не спускал глаз с мальчика, ожидая раскрытия тайны...

Потом они остановились.

Ваня сделал своему попутчику знак молчать и передвигаться бесшумно. Максим согласно кивнул и подмигнул Ване.

Перед ними тянулась полоска кустарника, за которой текла речка.

Прокравшись в кусты, Ваня поманил к себе Максима и сказал:

— Тихо. Видишь?

И он показал туда, на песок, где сидели мама и Гришка. Они сидели рядом и, казалось, слушали спокойное поплескивание воды в речке.

— А хорошо,— проговорила мать, как бы удивляясь,— хорошо ведь, Гриша! Тихо как!.. И жалко, что в жизни все... неинтересно. Почему?

— Еще спрашиваешь,— пробубнил Гришка.— Я, что ль, виноват, что замудрила ты тогда?

— Да я не про то. Ах,— устало склонилась она к нему,— совсем не про то...

Гришка вздохнул.

— А Иван говорит,— улыбнулся он,— что ты шоколадными конфетами пахнешь.

Она тоже улыбнулась.

— Он у нас красивый, правда? И добрый. И хороший...

Ваня загляделся на них и не видел Максима, который тоже неотрывно смотрел перед собой. Но смотрел иначе: исподлобья, со злой, презрительной усмешкой.

— Ты уезжай, пожалуйста,— прошептал Ваня, обернувшись к попутчику,— а мама здесь останется. Будем все вместе: и я, и Гришка, и мама, и бабушка. А ты приезжай к нам часто-часто... Будем рыбачить.— Он тревожно следил за переменявшимся лицом Максима и повторял:— Пожалуйста... Уезжай, пожалуйста. Ведь все сразу сделается хорошо, правильно.

Максим, как будто очнувшись, взглянул злыми глазами на мальчика, потом в сторону речки и, круто развернувшись, пошел прочь. Ваня поспешил за ним, стараясь не шуметь.

Когда ушли далеко от реки, Максим заговорил — отрывисто, зло — и постоянно полуборачивался назад, к реке.

— Мерзко, мерзко,— говорил он.— Я знал, я чувствовал... Чего стоят все ее слова, все ее глупые обещания... А я идиот. Ну нет, я был идиотом до поры до времени! Все. Все!

От бывшего Максима — застенчивого и ласкового — не осталось и следа.

Ваня был очень растерян, но упорно не отставал от яростного своего попутчика.

— Я чувствовал, чувствовал, что не зря она в деревню просится. И в самостоятельность свою не зря вечерами бежит. И звонят ей каждый день не «коллеги», а... Мерзко...

Чем дальше уходили они от речки, тем медленнее шел Максим и тем менее злым становился его голос.

Напоминая теперь уже обиженного, а не оскорбленного, он продолжал:

— Неужели можно вот так! Я никогда, никогда не верил, что это коснется моей семьи. Неужели нельзя без всего этого? — Он остановился.— Все ей дал, все. Все ей прощаю, молчу на любую глупость...

— Ты уезжай,— вставил Ваня.— Ведь так будет хорошо.— Он смотрел выжидательно на Максима.

— Да-а, Ваня-Ванечка-Ванюша,— пробормотал тот.— Я же еще и виноват.— Максим задумался.— Нет, нельзя так,— решительно ответил он на какую-то свою мысль.— Нельзя делать этой глупости. К черту, к черту!.. Надо попытаться все исправить. В конце концов лучше подождать, чем рубить сплеча.

Он обернулся к Ване, и глаза его просили: подтверди мою правоту, успокой меня.

Ваня подозрительно присматривался к спутнику и молчал.

— А ты,— попросил Максим,— ты... никому не говори, что мы видели. Ни-ко-му.

— Почему? — прошептал Ваня с ужасом.— Ты не хочешь, чтоб было хорошо, правильно?

Но Максим не слушал. Он уходил к дому, с усмешкой бормоча:

— Хорошо и правильно... Чудеса!

— Что-то долго,— окликнула Максима бабка, когда он вошел во двор.— Уже уха остывает. Пора садиться.

— Садимся,— стараясь быть спокойным, отозвался Максим.— Я руки помою,— добавил он, уходя в сенцы.

— А Лидка-то?..— начала старуха.

— Не знаю,— перебил он,— поест позже.

Старуха подошла к мужу.

— Видать, поскандаливают.

Дед молчал.

— Ох, Ванька, Ванька,— вздохнула бабушка...

Была поздняя темная ночь, и взрослые думали, что Ваня спит, а потому переговаривались громким шепотом.

А мальчик не спал. Он глядел из-под одеяла и прислушивался. Он видел, что Максим курит у раскрытого окошка, а мать лежит на постели, отвернувшись к стене.

— Словом, так, Лидка,— начал Максим,— давай не будем ссориться, давай не горячиться. Просто поедем завтра домой.

— Но почему?! — шепотом воскликнула она.— Почему опять эти фокусы? Что ты выдумал!

— Я ничего не выдумал, но завтра мы едем.

— Так езжай один,— отрезала она.

— Нет, мы поедем вместе.

— Я уверена, опять чепуху какую-нибудь нафантазировал.

— Чепуху...— сквозь зубы усмехнулся он и швырнул далеко в сад окурки.

— А что, что? — насторожилась она, привставая. Максим подошел к постели, сел на краешек. Сказал примирительно:

— Не будем ссориться, Лидка, завтра поедем. Ты же знаешь, у меня дела.

— Я уже сказала: езжай один.

— Ли-идка,— прошептал он, наклоняясь к ней.— Ну, не нервничай. Ли-идочка...

На следующий день старики провожали гостей. Максим копался у машины, бабка укладывала в большую дочерину сумку гостинцы.

— Вот так погостили,— сокрушалась она,— и разглядеть-то не успели вас как следует...

Ваня, аккуратно одетый и причесанный матерью, стоял у калитки.

Улучив момент, когда никто не глядел в его сторону, он тихонько пошел со двора, а вскоре побежал. Бежал он на покос, к Гришке.

Едва оказался он в поле, как его окружили женщины.

— Ой, какой нарядный-то нынче,— умилялись они.— Видать, мамка приехала.

— Ишь — городской да и только.

Ваня уныло отозвался:

— Сегодня уезжаю.

— А кто ж нам теперь воду-то подавать будет? Никто ведь так не умеет, как ты. Ну ладно, ты знай учись, в люди пробивайся.

— А что невеселый?..— склонилась к Ване одна из женщин.— Неохота от бабки с дедом ехать? Надо, милый, надо.

— Гришка где? — спросил у нее Ваня.

— Да вон он, сюда идет.

Гришка, приближаясь к ним, настороженно вглядывался в лицо мальчика.

— Едете? — упавшим голосом спросил он, когда поравнялся.

Ваня кивнул.

Гришка обнял его и повел за собою.

— Ну что ж, Иван,— вздохнул он, остановившись,— давай прощаться... Да ты не горюй, мы часто видеться будем, вот посмотришь.

Ваня внимательно поглядел на него.

— А я не горюю,— сказал он,— ведь я не поеду с ними.

— Как не поедешь? Нельзя, Иван.

— Гришка! Ведь ты... Как ты не поймешь! Ведь не надо, чтоб я ехал с ними, это плохо!

— Погоди, Иван...

Гришка побежал куда-то и скоро возвратился верхом на лошади.

— Садись,— позвал он к себе Ваню.

Тот не двигался.

— Садись,— повторил Гришка.— Так надо, ясно?

— Что? — прошептал Ваня, удивленно смотря на него.— Ведь ты... ты мой папка. И ты сам говорил, что все должно быть хорошо, правильно.

Гришка во все глаза глядел на мальчика и долго не мог собраться с мыслями.

— Папка...— выговорил он наконец.— Кто сказал тебе? — Он слез с лошади, стараясь не встречаться взглядом с Ваней.— Папка,— повторил он слово, которое явно нравилось ему и в то же время произнеси которое было для него очевидным мучением.— Да, Иван... Ты прости, что сам я не сказал тебе этого. Не мог... Да, нехорошо... Неправильно, как ты говоришь. А что делать? — искренне обратился он к нему, смотря виновато и покорно.

— Оставаться здесь,— повторил Ваня,— чтоб все вместе: и я, и мама, и ты, и все-все. Это же просто.

— Нельзя, Иван, понимаешь? Ну, как тебе объяснить! Ты поймешь все потом. Может, и осудишь меня, да только вот так в жизни иногда получается — неправильно. И ничего не попишешь. Ты не думай, я приезжать к тебе буду, помогать... В обиду никому тебя не дам.

Ваня со странным выражением смотрел на отца и слушал его.

— Ты трус,— сказал вдруг он спокойно. И в тот же миг губы его вздрагнули, ему захотелось плакать.— Ты трус! — повторил он сквозь слезы.— И Максим, и ты тоже!

Он отвернулся от Гришки и побежал к деревне.

Гришка, сев на лошадь, догнал его.

Мальчик пошел медленно, и Гришка остановил лошадь.

Ваня остановился тоже. Гришка молчал и хмурился.

Ваня, вздохнув, подошел вплотную к лошади. Отец помог ему сесть.

— Я никому не дам тебя в обиду,— зачем-то повторил Гришка. И поморщился.

Ваня вытер ладонью остатки слез.

— И не говори и м ничего, ладно? — продолжал Гришка, с мукой выжимая из себя эту просьбу.— Они должны хорошо жить, понимаешь? Но! — резко крикнул он на лошадь.— Но!..

Дед положил собранную старухой сумку в «Жигули» и задержался рядом с зятем.

— Может, еще погостили бы? — сам не веря в успех своей агитации, предложил он.

— Пора, отец,— отозвался Максим,— нам с Лидой на работу. Да и насчет Вани надо успеть похлопотать. Я хочу устроить его в спецшколу...

Тем временем к калитке подъехали Гришка и Ваня.

Максим покосился в сторону крыльца, на жену. Та ответила мужу спокойным взглядом и позвала сына:

— Ваня, едем. Садись в машину... Привет, Гриша,— улыбнулась она.

— Здравствуй,— кивнул тот.

— Познакомься с моим мужем.

Гришка спрыгнул с лошади.

— Максим,— представила Лида,— а это мой одноклассник, Гришка.

— Очень, очень рад,— приятно улыбаясь, потряс Максим руку Гришке.

Ваня оставался сидеть верхом на лошади. Исподлобья смотрел перед собою. Дед приблизился к нему, помог слезть.

Подоспевшая бабка обняла внука и, как водится, заплакала.

— Ну-ну,— упрекнул ее дед.— не томи парнишку. Не навек прощаемся...

Вскоре Ваня глядел уже через заднее стекло машины на удалявшийся двор, на Гришку, обернувшегося вслед Ване.

Мать сидела рядом, на заднем сиденье, Максим, тихонько посвистывая, вел машину.

Когда свернули на большак и деревня скрылась из глаз, Ваня передвинулся на краешек сиденья.

За окошком мелькали поля и кусты...



**ЮРИЙ
КУЗНЕЦОВ**

Предутренние вариации

Прощай печаль!
В последний раз
Твое прекрасное лицо
Бросает отсвет
на крыльцо,
Пока заря не занялась.

Прощай, печаль!
Издалеку
Шумят дожди,
несется снег.
Что снится мне!
Счастливый смех,
Весенний свист и облака.

В твоё прекрасное лицо
Шумят дожди,
несется снег.
В последний раз
счастливый смех
Бросает отсвет
на крыльцо.

Что снится мне!
Издалеку
Твое прекрасное лицо.
Весенний свист и облака
Бросают отсвет
на крыльцо.

Пока заря не занялась,
Приснится мне
счастливый смех,
Твое лицо и вечный снег.
Так улыбнись,
моя печаль.
Издалеку в последний раз!

На краю

Битва звезд.
Поединок теней
В голубых
океанских глубинах.
Наливаются кровью моей
Вечный снег
и следы на вершинах.

Но предчувствием
древней беды
Я ни с кем
не могу поделиться.
На мои и чужие следы
Опадают
зеленые листья.

Из теней
мимолетного дня
Так и воют
несметные силы.
Боже мой,
ты покинул меня
На краю
материнской могилы.

В ложесны, из которых рожден,

Я кровавые слезы обрушу...
Боже мой,
если ты побежден,
Кто спасет
ее бедную душу!

Синица

Только выйду
на берег крутой,
А навстречу волна перегара.
Это Горский —
мой друг золотой,
Потускневшая тень Краснодара.

Он рубаху рванет
на груди,
Выставляя запавшие мощи:
— Все, мой друг,
позади, позади:
И душа и осенние рощи.

На закате —
грусти не грусти —
Ни княжны,
ни коня вороного.
И свистит
не синица в горсти,
А дыра от гвоздя мирового.

Ух, такой мы народ, —
говорю, —
Что свистят
наши крестные муки...
Эй, родную!..
И дверь на каюк,
Да поставить небесные звуки!

Жизнь прошла,
а до нас не дошла,
А быть может,
она только снится...
Наше море
сгорело дотла,
Но летает
все та же синица.



Ну, что ты тревожишься, право,
Смотри, как ромашки цветут,
Какие высокие травы
У ног твоих стройных растут.

**Какая восходит прохлада
От щедрых, от солнечных недр.
Чего же еще тебе надо?
Чего в твоей жизни нет?**

Так пой, веселись!
Золотится
Равнина, сиянием слепя.
Твой милый к тебе возвратится,
Увидев счастливой тебя.

Ни облачка в небе, ни теки
На всем серебристом пути.
Да, трудно в таком вот цветенье
Тебя ему будет найти.

И вот ударила гроза...
Во взрывах молкий
Вдруг закачались небеса,
Как будто волны.
И покатылся трубный гром
В другие страны.
За волнолом, за окоем,
За океаны.
Гляжу на дивную красу,
Душой и сердцем понимаю:
Люблю, люблю,
«Люблю грозу
В начале мая!»

Снега, снега от порта и до порта.
Вдоль побережья мраморного — штиль.
Торжественность покоя распростерта
На тысячу раскинувшихся миль.
Еще гудок истаявает где-то
За педяною кромкою земли,
Но кораблей торговых силуэты
Как будто заморожены вдали.
Какой простор — безмолвие какое!
Грядущий день в плену у тишины.
Уже восход багряною рукою
Дотронулся до снежной цепины,
Уже лучи рассветные витают

Над кронами задумчивых берез —
И сердце от восторженности тает,
И все же мне чего-то не хватает,
И горько мне, и сладостно до слез.

Спит еще тревожно,
 чутко,
 женственно.
Но лишь зорька выпустит росток,
Горизонта линия
 торжественно
Вмиг разделит
 запад и восток.
И волнуясь,

и меня волнует,
Осыпает брызгами гранит.
Подойду, потрогаю волну я —
И она — в ответ — заговорит.
Юностью обветренной повеет,
Дальней далью голову кружа...
В эти вдохновенные мгновенья
Чувствую:
у моря есть душа.

«Умерла твоя родная мама», —
Говорят мне, как будто корят.
Я не маленький — все понимаю.
Но зачем же опять повторять!
Я прикрою скрипучие двери,
Выйду в сени — слезами зальюсь.
Все я знаю, но все же не верю,
Что один на земле остаюсь.
Во дворе — разговоры и топот,
В хате плач,
полумрак,
теснота.

**А за дверью приглушенный шепот:
«Сирота»...**

До чего хороша
песня волжская русская!
Сколько удали в ней —
от села до села.
Как пролив — широка,
как тропиночка — узкая,
как былинка — легка,
как судьба — тяжела.
И поет ее каждый рыбак
и крестьянин,
за околицей тихой
песней даль осветив.
Пусть пропета она,
но в груди постоянен
богатырский, как Волга,
задушевный мотив.
Так волну и звени
на просторах России,
по равнинам раздолным
и по взгорьям скользя...
Столько воли в тебе,
столько чувства и силы,
что, все беды пройдя,
все невзгоды осилив,
разлюбить невозможно
и не подмнить нельзя!



АРКАДИЙ АДАМОВ

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

Глава VI

ВОЗЛЕ ЗМЕИНОГО ГНЕЗДА

ПОВЕСТЬ

Утром Виталий позвонил Майе. Он для этого даже пришел чуть не на час раньше обычного на работу. Ведь из дома звонить Майе было решительно невозможно.

— Слушаю,— сонным голосом откликнулась Майя.

— Здравствуйте, Майечка,— бодро сказал Виталий.— Это говорит ваш новый знакомый.

— Какой еще знакомый? — зевая в трубку, безразличным тоном спросила Майка.

— Нас Гоша в субботу познакомил, помните?

— А-а, ты Длинный, что ли?

— Точно. Он самый,— заставил себя обрадоваться Виталий.— Вы мне телефончик дали. Велели звонить, пока в постельке.

— А ты и рад,— кокетливо проворчала Майя.

— Чего ж тут радоваться? Вот если бы встретиться, другое дело.

— А не боишься? — усмехнулась Майя.

— Чего ж тут бояться?

— У меня ведь еще поклонники есть. Ревни-ивые.

— А я им уши надеру.

— Ну, насмешил,— искренно развеселилась Майя.— Ты хоть и длинный, но до их ушей не дотянешься.

— Это почему?

— А потому. Ты сначала имей, сколько они. Соображаешь?

— Ты это про Береду говоришь или про Вадим Саныча? Да я, может, побольше их имею.

— Но-но, мальчик, мне можешь не заливать. Еще успеешь. А про этих тебе кто, Гошка трепанул? Точно угадала?

— Точно.

— Ох, схлопочет он,— вздохнула Майя.— Опять схлопочет. Даже жалко.

— Пожалел волк кобылу,— насмешливо сказал Виталий.— Чего это тебе его жалеть вздумалось, интересно знать?

— По женской своей мягкости. Знаешь, что с ним будет за это? Ну, ладно, значит, встретимся мы с тобой, хороший мой, завтра.

— А сегодня никак?

— Очень тебе хочется, да? Вот и обжди. Больше захочется. А ждать будешь меня завтра у фонтана, где центральный вход.

— В котором часу?

— Ну, вот как в субботу мы с тобой встретились. В крайнем случае, обождешь, если задержусь. Охладишься по крайней мере около фонтана, тоже польза,— весело фыркнула в трубку Майя.— А то я гляжу, ты больно горячий.

— Ладно уж. Что делать. Завтра, так завтра,— согласился Виталий.

— Вот и хорошо. Чао, миленький,— нежно пропела Майя.

Виталий повесил трубку и озабоченно взглянул на часы. Позвонил Эдику Албаняну.

— Салют,— сказал Виталий.— Есть новости?

— Еще какие!

— Встретимся после оперативки, возражений нет?

— Какие могут быть возражения?

Спустя час они встретились в кабинете Федора Кузьмича.

— Ну-с,— добродушно буркнул тот, вертя в руках очки,— какие к нам вопросы у дорогого коллеги, чем можем помочь?

— Сначала трагико-юмористический сюжет для небольшого рассказа,— невесело пошутил Эдик.— Называется «Как я собрался повеселиться». Разрешите изложить?

— Ну, давайте-ка,— кивнул, усмехнувшись, Федор Кузьмич.— А то мне лично «Крокодил» редко попадает. Посмейте нас, если это так весело.

— Судите сами. Пришел я, значит, вечером в парк,— начал Эдик,— естественно, чтобы культурно отдохнуть, как все. Подхожу к этим чертовым аттракционам. Поглазел на них самую что ни на есть малость, тоже, как все. Памятуя печальный опыт своих друзей. И затем встал в длиннейшую очередь. Тихо и скромно.

— Один пришел? — мельком осведомился Кузьмич, не отрывая глаз от карандашей, которые он в этот момент раскладывал по росту.

— Вот! — азартно воскликнул Эдик.— В этом и была ошибка, понимаете? Я поздно сообразил. Кругом же пары, компании. Субботний вечер. А я один, как перст. И не улыбаюсь, не веселюсь. Глупо же одному улыбаться. И тут я один такой неприятный взгляд засек. Тогда я рисковать не стал. Поглядел с эдаким нетерпением на часы раз-другой, поискал кого-то в толпе, словно жду не дожусь девушки своей, потом махнул беззащитно рукой, вздохнул и ушел. На кой черт, значит, мне тут одному стоять. И представьте, проводили меня взглядом, это я точно засек. Очень неприятным взглядом проводили. Двое, по-моему. Так окончился первый акт.

— Пока, надо сказать, довольно благополучно,— саркастически заметил Виталий.

— Пока да,— со вздохом согласился Эдик.— Хотя я все-таки внимание привлек, как тут ни крути. Но вот что случилось на следующий день. Снова двинулся я веселиться, понимаете.

— Уже, понятно, не один,— в тон ему вставил Виталий.

— Вот тут и коренилась моя вторая ошибка,— горестно сообщил Эдик.— Но разве я мог что-нибудь подобное предположить? Пришел, как все, с симпатичнейшей девушкой. Секретарь нашего начальника, Зиночка.

— Ну, кто же не знает Зиночку! — откликнулся Виталий.

— Вот именно! В этом все и дело, если хотите знать,— досадливо стукнул себя по колену Эдик.— Ее все знают! Это же ужас, понимаете! Поразительно контактная девица. Ей не у нас служить, ей в кино сниматься. И вот, представьте себе, не успели мы с ней встать в очередь, как подкатывается

какой-то тип с «лейкой», сияет, понимаете, и кричит на всю очередь: «Зиночка! Какими судьбами! Разве работники милиции тоже культурно отдыхают? Разрешите вас запечатлеть за таким занятием». И вся очередь, конечно, на нас глаза таращит. Я его спрашиваю: «Вы сами-то кто такой?» «Я,— говорит,— из «Вечерней Москвы». Ну, «Вечерку» у нас, конечно, все любят. Я сам люблю. Поэтому я этого типа живым отпустил. А нам с Зиночкой пришлось немедленно испариться. Хотя ей, видите ли, непременно хотелось на этом чертовом аттракционе прокатиться. Но мне такая популярность, конечно, не светила, полтора часа рядом с работником милиции стоять. Вот вам и второй акт.

Эдик невесело усмехнулся.

— Все? — поинтересовался Федор Кузьмич.

— Все,— огорченно кивнул Эдик.— И вот вопрос: как теперь туда пробраться?

— Разрешите информацию, Федор Кузьмич? — спросил Виталий.

— Ну, давай, информируй,— кивнул тот.

— Так вот, чтобы ты знал,— начал Виталий, обращаясь к Эдику.— У них, оказывается, существует специальное контрнаблюдение за такими, как ты.

— Да ну? — изумился Эдик.

— Это они сами так называли. Мол, мы наблюдаем за ними, а они вот за нами. Наняли шпану всякую, и только попробуй там постоять да поглазеть. Уже за тобой идут, стараются выяснить, кто ты есть. Так что вел ты себя в тех обстоятельствах правильно.

— Нет,— покачал головой Эдик.— Осторожно, но неправильно. Надеюсь, ничего не испортил, но и ничего пока не достиг.

— А чего ты хотел?

— Я хотел всего лишь прокатиться на этом аттракционе. Пройти, так сказать, весь цикл облапошивания. Потому что они каким-то путем мои денежки присваивают, мои и многих других. А еще я хотел полтора часа, пока стою в очереди, спокойно понаблюдать за тамошней жизнью. Так сказать, обычаи и нравы. Вот и вся моя скромная задача для начала.

— Слишком скромная для такого великого мастера,— усмехнулся Виталий.

— Так ведь как-никак с нуля начинаю.

— А мы зачем? Я могу тебе дать кое-какие начальные условия задачи. Слушай. Действует хорошо организованная шайка. Во главе, очевидно, трое. А может быть, двое. Первый—это Потехин Илья Васильевич, главный инженер комплекса. Кличка у него Борода. Недавно ограбили его квартиру. Большие ценности унесли. Мы этим делом сейчас занимаемся.

— Ограбили? — насторожился Эдик.

— Именно. Причем скорей всего приезжие. Откаленко сейчас по их следу уехал.

— А как эти приезжие вышли на Потехина?

— Кто-то в Москве дал подвод...

— Ну, а кто второй? — нетерпеливо спросил Эдик.

— Второй? Ну да,— снова собрался с мыслями Виталий.— Второй—это Левицкий Вадим Александрович, или, по-ихнему, Вадик. Заведующий комплексом. Его причастность к делу, кстати, неясна пока. Возможно, все за его спиной творится. Учти это. Я его видел. Красавец дядька, холеный такой бэрин, весельчак, гуляка. И бабник, говорят, страшный. Ну, а третий...

— По этому Вадику больше ничего нет? — перебил Эдик.

— Больше ничего. Ну, разве что денег, видно, у него навалом. Девчонку одну в карту выиграл. Вот такие нравы. Ну, а третий—некий Горохов Борис,

числится механиком. Кличка Горох. Он у них как бы по кадрам. Нужных людей подбирает на работу. А ненужных или опасных...— Виталий повернулся к Цветкову.— Тут, Федор Кузьмич, кажется, убийство светит.

— Чьи сведения?

— От Гошки.

— Смотри, пожалуйста. Он тебе уже и такие вещи говорит?

— Сказал про какого-то Николая. Его к ним работать прислали, билетером. А он в шайку войти не пожелал. Больше того, разоблачить якобы решил. Вот за это, мол, и... Горох тут замешан. Надо пригласить к тому убийству в парке. Сегодня я к Филипенко хочу съездить. Надеюсь, личность убитого они установили уже.

— Это мы отдельно обсудим,— решил Цветков.— Продолжай пока. Кто там еще в шайке, кого установил?

— Дальше две кассирши идут. Одна Майя, старшая кассирша. В курсе всех дел. Гошка меня с ней познакомил. Я, между прочим, у них прохожу под кличкой Длинный.

— Какие наблюдательные, а? — засмеялся Эдик.

— Что за Майя? — хмурясь, спросил Цветков.

— Молодая совсем. Гошка говорит, Потехин ее в карты проиграл Вадику. Но, по ее нраву, как бы она их обоих не проиграла. Завтра у меня с ней волнующее свидание.

— Ну-ну. Об этом тоже потом,— сказал Цветков.— Кто вторая кассирша?

— Нинка. Жена Гороха. Гошка говорит, змея такая, что Горох ее одну только и боится. И Коротков похожую характеристику ей дает. Вот что за картина в общих чертах рисуется.

— Ладно, милые мои,— решительно объявил Цветков.— Еще вопросы есть? — Он посмотрел на Эдика.

— Вопросов больше нет, Федор Кузьмич,— бодро ответил тот.— Теперь ждите информацию. Я в долгу не останусь, Виталий знает.

— Очень самолюбивый человек,— с улыбкой подтвердил Лосев.

Когда Эдик ушел, Цветков сказал Виталию:

— Вот что. Два вопроса к тебе. Первый — насчет Гошки. Второй — на какое это ты свидание собрался без спроса? Так что освети-ка оба эти вопроса, будь добр.

— Пожалуйста,— охотно откликнулся Виталий.— Сейчас осветим.— Он был даже чуточку горд своими очевидными, как ему казалось, успехами.— Что касается Гошки, то я, надо сказать, солидно его припугнул. Но, главное, он над жизнью своей задумался, я так полагаю.

— А самого Гошку в этой компании как использовали?

— В контрнаблюдении. За Шухминим шел, за мной. А вечером собирают всех в кружок и идет расплата за проделанную работу. А потом пьянка, конечно. «Поплавок» там рядом качается.

— Вот он, воспитатель-то их, вечерний этот круг,— вздохнул Цветков и снова спросил: — Неужто начальство тоже с ними гуляет?

— Что вы! Один Горохов. Те двое там только обедают. Редко когда вечером посидят и, конечно, отдельно. Свой столик у них там.

— Так, так... Ну, а за Гошкой твоим ничего больше нет?

— Вроде... нет.

И опять Виталия кольнуло сомнение. Ох, не все, кажется, сказал ему Гошка. Ох, не все. Что-то этот подлец скрыл.

— Ну, ладно...— задумчиво произнес Федор

Кузьмич.— Ко второму вопросу переходи. Насчет свидания.

— Слушаюсь,— немедленно откликнулся Виталий.— Дело тут такое. Эта Майя, старшая кассирша, в курсе их комбинаций. Она знает, как работает «станок», то есть сам механизм хищения. Это не ведают ни Витька, ни Гошка.

— Пусть твой дружок Албанян тут работает, по его это департаменту. У нас своих дел хватает.

— Но тут случай такой подвернулся.

— Какой такой случай? Познакомился с ней? Ну и что? Ты дружком ее собрался стать? Или, думаешь, она тебе и так все выболтает? А может, тоже на испуг решил взять, как Гошку?

— Не знаю, Федор Кузьмич. Сначала надо познакомиться, понять, что она собой представляет. Может, и не выйдет ничего. Но уж хуже-то не будет?

— Кто его знает,— с сомнением произнес Цветков.— Помни, ты ее, а она тебя будет изучать. И женщина тут опаснее мужчины бывает. Если не дура, конечно. И наблюдательна.

— Почему же опаснее?

— А потому. Вот я заметил, что, как правило, мужчины хуже понимают женщин, чем те их. И потом, в женщине больше чуткости, больше наблюдательности к мелочам, на которые мужчина и внимания не обратит. А ведь скорей всего можно поскользнуться именно на мелочи. Это, милый мой, помни, когда к ней на свидание пойдешь.

— Значит, пойти можно?

— Ладно уж. Попробуй. Эта самая кассирша может кое-что и про Гороха знать. Поэтому прощупай, как она с женой его, как с ним самим. Очень осторожно. Можешь, с этого бока мы на то убийство выйдем. Понял ты меня?

— Понял, Федор Кузьмич.

И Виталий отправился в парк.

Вчера Филипенко неожиданно позвонил Виталию домой и сообщил, что появились первые результаты. Виталий сразу понял, что он имел в виду. Скорей всего, наконец-то опознан труп. Кроме того, Филипенко сказал, что бутылка «заговорила». И добавил: «Только я ее не пойму. Приезжай, надо потолковать».

Да, потолковать было о чем.

Как Виталий ни спешил, стремительно шагая по не очень-то оживленным в эти ранние часы аллеям парка, однако успевал почти машинально наблюдать, не привлек ли он внимания к себе со стороны кого-либо из встречаемых, не мелькнет ли среди них хоть на миг знакомое лицо.

Так он дошел наконец до небольшого домика, где размещался пункт милиции.

Филипенко встретил его шумно и радостно, затащил к себе в кабинет, придвинул бутылку «Боржоми», стакан и объявил:

— Так вот, представь себе, опознали-таки труп.

— Кто, когда? — нетерпеливо спросил Виталий.

— Только вчера утром. Жена.

— Так что же она столько ждала?

— Ее в Москве не было. Уезжала с дочкой к сестре в Ижевск.

— И кто же он такой?

— Егоров Николай Гаврилович, работал билетером на наших аттракционах. Ветеран войны, кстати сказать,— сокрушенно добавил Филипенко.

— Та-ак...— задумчиво произнес Виталий.— Значит, кое-что сходится.— И он сообщил сведения, полученные от Гошки.— Конечно, все надо сто раз проверить,— заключил он.— Это пока одни предположения. Хотя зерно тут, как видишь, есть.

— Зерно есть,— согласился Филипенко.— Однако давай решим, как тут дальше действовать. Чтобы этого Гороха не насторожить раньше времени.

— Ты сначала про бутылку скажи,— напомнил Виталий.

— Ах, да! Так вот, понимаешь, на ней интересные пальчики нашли. Во-первых, убитого. А во-вторых, еще одного какого-то человека, причем вполне пригодные для идентификации.

— Словом, вдвоем пили — так выходит?

— Так. Но это еще не все. В остатке водки, в капле буквально, эксперт обнаружил следы сильнейшего снотворного.

— А что дало вскрытие?

— Незадолго до смерти, совсем незадолго, он, бедняга, слегка поел и выпил.

— Что поел, что выпил?

— Поел то, что можно на травке поест. Колбасу, хлеб, огурец соленный. Но и в желудке обнаружены следы того же снотворного. Словом, не драка это была, а убийство,— резко произнес Филипенко, и худое лицо его как будто затвердело, по-суровев.— Заранее планированное убийство. Вот что я тебе скажу.

— Та-ак...— снова задумчиво протянул Виталий.— И тут тоже кое-что сходится, как считаешь?

— Пожалуй. Надо этого Гороха проверять. Ах, черт возьми,— Филипенко горестно покачал головой.— Ну, никак я к этому привыкнуть не могу. Ну, никак. Хоть беги.

— К этому привыкнуть нельзя,— заметил Виталий.— И бежать отсюда надо, если привыкнешь. А сам не убежишь, так гнать тебя надо.

— Думаю вот про таких, как этот Горох, и, веришь, трясет всего. Нервы ни к черту стали.

— Смотри, так и сорваться можно. Беды не оберешься.

— Ладно. Забудем этот глупый разговор. Давай лучше решать, как с Горохом поступим.

— У вас еще версии по этому убийству есть?

— А как же!

— Отрабатывайте. Гороха предоставьте пока мне. Тут может один подход к нему появиться. Если что — сразу тебе дам знать. Договорились?

— Идет,— согласился Филипенко.— Помощь наша требуется?

Видно было, что он уже справился со своей минутной вспышкой и сейчас ему неловко даже вспоминать о ней.

— Помощи пока не надо.— Лосев поднялся.— Пойду, Василий. Бывай.

Лосев миновал комнату дежурного и, оглядевшись, вышел в парк. Торопливо свернул на ближайшем углу в одну из аллей и медленной, ленивой походкой направился кружным путем к выходу из парка.

Внезапно ему пришла в голову новая мысль. А что если... Разве он не может себе этого позволить? Чего тут особенного? Ну, зашел. Почему именно сюда? Приглянулось, был тут однажды. И вообще... магнитик тут есть один. Не ваше собачье дело знать, кто. Хочу и сижу... На самом деле, надо бы в том месте оглядеться, уж очень оно у них, как видно, популярное. Вечерний круг собирается там или рядом. Нет, скорей именно там. Неужели он, Виталий, не найдет себе и здесь союзника? Да быть такого не может! Словом, почему бы не попробовать?

Виталий повернул в сторону набережной. Тихо плескалась река у каменного парапета, недалеко по воде тянулись длинные просмоленные баржи.

Рыжеватые волны накатывались на набережную. Вдали на мелкой ряби, прыгали солнечные блики, теплый ветер обдувал лицо. На воде недвижно застыла неуклюжая машина ресторана «поплавки», словно дремавшего в этот ленивый, полуденный час.

Виталий вошел по широкому, устланному красной ковровой дорожкой трапу на палубу ресторана и толкнул стеклянные створки двери.

Двое пожилых швейцаров в мятой желто-зеленой униформе и такой же пожилой гардеробщик, не тронувшись с места, проводили посетителя критическими взглядами. На их лицах читалось ленивое пренебрежение. Они явно, не скрывая, ждали других посетителей, привычных и щедрых, в любой момент готовые вскочить, устремиться вперед, услужить, раскланяться. Нет, эти Виталию не подходили в помощники, их следовало даже опасаться.

Виталий прошел в зал, и глаза его невольно устремились к дальнему угловому столику. Он был пуст. Вообще в низком зале, по которому гулял легкий ветерок, было в этот час много свободных столиков, куда больше, чем занятых. А что если... Виталий даже усмехнулся про себя.

Не дожидаясь, когда к нему подойдет кто-либо из официантов, он, оглядев пустые и занятые столики, прошел в глубь зала и спокойно расположился за угловым столиком. Откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, он принялся рассеянно и нетерпеливо барабанить пальцами по столу. Между прочим, он сразу заметил, что столик накрыт в отличие от других новенькой скатертью и рядом с солонкой, перечницей и стаканом с бумажными салфетками стоит до блеска вытертая стеклянная пепельница и маленькая вазочка с цветком. Этого не было на других столиках вокруг. И еще на одну деталь обратил внимание Виталий: бумажные салфетки на столике не были, как всюду, разрезаны пополам, здесь они были целыми. Да, столик явно предназначался для высоких гостей. И действительно, через минуту к Виталию приблизился немолодой сутулый официант с сизыми отвислыми щеками, он был в светлом форменном пиджаке и черном галстуке.

— Молодой человек, столик занят,— строго сказал он и поставил на середину стола прозрачную дощечку с надписью «Занято».

— А вы ее вон туда поставьте,— небрежно указал на соседний столик Виталий.

— Мне виднее, куда ставить,— еще строже сказал официант.— Прошу.

— Эх, папаша,— укоризненно вздохнул Виталий.

Он огляделся, как бы выбирая, куда ему перебраться, и увидел в глубине зала возле буфета троих официантов помоложе, следивших за их разговором. Один из них, рыжий, смотрел явно осуждающе, а двое других ехидно посмеивались, причем их ехидство явно относилось к нему, Виталию, попавшему в такое неловкое положение. В этот момент рыжий официант понес солонку на какой-то из свободных столиков, и Виталий нехотя поднялся и пересел за тот самый столик. Рыжий мельком взглянул на Лосева и, взяв с другого столика папку с меню, положил ее перед Виталием.

— Вот так-то, браток,— насмешливо сказал он.— Не в свои сани не садись другой раз. Такие уж порядки тут.

Виталий, проглядывая меню, спросил:

— И ты считаешь, так и надо, да?

— Мало чего я считаю. Людям заработать охота.

— А тебе не охота?

— Мне-то? Ясное дело, охота. Только я в холуи не гожусь.

— А тот, выходит, годится?

— Ну, дядя Гриша — профессор. Большие деньги имеет.

— С постоянных клиентов, наверное?

— А то. Их столик... — Рыжий кивком указал на дальний угол зала. — Тузы.

Он не прочь был, очевидно, поболтать. Посетителей почти не было, никто его не звал и не ждал, а, кроме того, он, видимо, почувствовал симпатию к этому долговязому парню, которого так бесцеремонно прогнал дядя Гриша.

— Ты чего оглядываешься? — спросил Виталий.

— Дядя Гриша, боюсь, услышит. Ну, выбирай что-нибудь, — сказал он.

— Тебя как звать?

— Алексей.

— Ну, пиши, Алеша.

Приняв заказ, Алексей отошел к другому столику.

Когда официант принес заказ, Виталий спросил его:

— Как тебе, Алеша, тут служится?

Тот усмехнулся одними глазами.

— Ухожу. Душа не принимает здешнюю картину.

Вокруг тем временем стало оживленнее. Приблизился обеденный час.

Спустя некоторое время Виталий вышел из ресторана. На сходях он уступил дорогу Потехину и Левицкому. Оба даже не взглянули в его сторону. Они продолжали, видно, давно начавшуюся ссору. Потехин зло сказал:

— Баба ты! Сопливая баба!

— А я не допущу...

— А я тебя спрашивать не буду. Горох знает...

Что знает Горох, Виталию услышать уже не удалось. Оба прошли мимо него в ресторан. Один из швейцаров угодливо распахнул перед ними дверь.

Была уже, наверное, середина дня, когда Виталий приехал на работу и зашел в свою комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, это перевернутый на сегодняшний день листок календаря на столе Откаленко и телефон, перенесенный с тумбочки на стол, — так Игорь делал, когда ему предстояло много звонков.

Итак, Откаленко вернулся из командировки. Не терпелось узнать, как он съездил и что привез. Виталий прежде всего позвонил Цветкову.

— Заходи, — коротко сказал тот. — Откаленко у меня.

Лосев вошел в кабинет начальства.

— Давай сначала, — кинул Игорю Цветков. — Благо недалеко ушел. Все-таки смежные у вас дела.

И Откаленко, как всегда скуп и отрывисто, однако, ничего не пропуская, доложил чуть не по часам свои действия и все происшествия в далеком южном городе, закончившиеся арестом опасной воровской группы.

— Это уж, милый мой, на бандитскую группу тянет, — заключил Цветков. — Наган сдал на экспертизу?

— Сдал, — ответил Игорь.

— У кого ты его изъяс?

— У Заморина. Кличка Директор. Главварь.

— Никого из них еще не допрашивал?

— Нет. Сегодня же утром только взяли.

— Ну, что ж, милые мои, — произнес Цветков, вертя в руке очки. — Надо начинать работу с ними. Фролов на месте, ты звонил?

— Выехал в Тимирязевский район.

— Свяжись. Если не может сейчас приехать, по его поручению сами допросим всех троих, пока еще тепленькие, пока в голове у них все вверх дном.

— Данные по ним хоть какие-нибудь есть? — поинтересовался Виталий. — Что за люди?

— Данных мало, — ответил Откаленко. — Только о прежних судимостях. По две у каждого, кроме Ткачука. У того ни одной, зеленый еще. Из-за него, в общем, и засыпались.

— Не из-за него, так еще из-за чего-нибудь, — запальчиво возразил Виталий. — Все равно мы бы их взяли. Подумаешь, неуловимые.

— И такие попадают, — угрюмо возразил Откаленко. — Не знаешь, что пиз?

— Только когда мы плохо работаем, — отпарировал Лосев.

— Ну, ладно, — остановил их Цветков. — Бесплезный разговор. — Он обернулся к Откаленко. — Звони в Тимирязевский. По этому аппарату. — И показал на свой телефон.

Пока Откаленко дозванивался, Виталий успел рассказать о своей поездке к Филипенко и посещении ресторана, включая и случайную встречу с Потехиным и Левицким.

— Значит, убитый опознан... — произнес Цветков. — Что ж, на мой взгляд, версия с Гороховым вполне основательна. Может, и ссора Потехина с Левицким произошла из-за этого убийства, как думаешь?

— Очень возможно, Федор Кузьмич, — согласился Виталий. — А Левицкий, кажется, и в самом деле сопливая баба...

— А ты не торопиться? Ведь и двух слов с ним не сказал и знать о нем ничего пока не знаешь.

— Но я видел его лицо, когда они ссорились. Такое, знаете, одновременно растерянное, капризное, испуганное, что... Ну, как бы вам это сказать...

— Уже сказал, — усмехнулся Цветков и, казалось бы, без всякой связи с предыдущим поинтересовался: — Как ты с этой Майей договорился?

— Завтра вечером, у фонтана, — улыбнулся Виталий. — Почти по Пушкину.

— Ну-ну. Смотри не забудь, что я тебе говорил.

— Не забуду. Мы этот вечерний круг их вообще скоро расшибем.

Цветкову явно не понравилось легкомысленное настроение Лосева, и он уже собрался было возразить, но увидел, что Откаленко повесил трубку.

— Ну как?

— Допрос ведет, — ответил Откаленко. — Приехать не может, дает поручение нам.

— Что ж, принимаем, — удовлетворенно кивнул Цветков. — Беремся за всех троих одновременно. Я тут. Ты, Лосев, у себя. А ты, Откаленко... иди в комнату Шухмина. Они все сейчас на задании. Ну-с, ты кого будешь допрашивать, Откаленко? Первый решай.

— Мне только Ткачука допрашивать не с руки. А других все равно.

— Наган у кого, ты говоришь, был, у Заморина?

— Да.

— Ну, давай его мне, этого Заморина. Тебе Ки-

коев, а Лосеву остается Ткачук.

Цветков снял трубку внутреннего телефона и набрал короткий номер.

Виталий направился к себе, перебирая в уме то немногое, что смог сообщить ему Откаленко про Олега Ткачука по кличке Махно. Грозная и лихая эта кличка никак, конечно, не соответствовала репутации Ткачука в уголовной среде. Тем более он не мог тянуть на атаманью кличку рядом с двумя своими опытными напарниками. Скорей всего он сам себе ее выбрал, рисуясь. А другие приняли, и те

двое тоже — возможно, даже с расчетом. Виталий знал: клички прилипают не случайно, иной раз даже против воли их обладателей, есть ведь насмешливые, издевательские.

Игорь сломал Ткачука сразу, и тот подчинился, беспрекословно повел к Терентию. Этот, в свою очередь, не слишком-то с Олегом считался, сразу выставил, как дошло до дела. О Заморине, то есть Директоре, Ткачук говорил аж с придыханием. Словом, мелочь он пузатая, шестерка рядом с тузами. Но тем не менее, а точнее, именно поэтому вопрос его имел особое значение, сейчас даже важнейшее. «Ты помни,— сказал напоследок Цветков,— этих двоих мы с Откаленко на первом допросе вряд ли расколем. А время нас, сам знаешь, как поджимает. Поэтому я в первую очередь от тебя сейчас результата жду. Самое главное — кто им дал в Москве подвод под квартиру Потехина, понял ты меня?»

Раздался аккуратный стук в дверь, и она тут же распахнулась. На пороге возник конвойный милиционер.

— Арестованный Ткачук доставлен,— доложил он.— Разрешите завести?

И вот Ткачук сейчас сидел перед Виталием. Минуту Виталий молча рассматривал его. Худой, в мятом костюме. Дерзкие черные глаза смотрят настороженно. Загорелое узкое лицо, густые сросшиеся брови. Ткачук нервно ерзал на стуле и явно не знал, как себя вести.

— Ну, что ж, начнем, пожалуй,— нарушил наконец затянувшееся молчание Лосев.— Значит, Ткачук Олег Романович, так? Знаете, Ткачук, где находитесь?

— В столице нашей Родины,— развязно ответил Ткачук.— У вас тут курить-то можно?

— Курите. Есть чего?

— Было бы, так не спрашивал.

— А вот грубить не стоит, Ткачук. Кроме всего прочего, невыгодно это вам, учтите. Вы не просто в Москве, вы, между прочим, в МУРе находитесь. Слышали про такую фирму, надеюсь?

— Слышал,— хмуро бросил Ткачук.

— Ну, вот. Поэтому советую вести себя поскромнее. Мы тут не только вас, мы и Директора обломаем. Он тоже здесь.

— Ну да?— испугался Ткачук.

Ткачука доставили другим самолетом, и об аресте своих соучастников он еще не знал.

— Представьте себе,— усмехнулся Виталий.— Стараемся мести чисто, сора не оставлять. И чтобы ситуация вам была окончательно ясна, добавлю следующее. Квартирную кражу мы вам докажем легко. И без вашего признания. Признание нужно будет вам самому, чтобы срок сократить. Докажем мы, в частности, по краденым вещам. У Терентия все показания на вас уже получены. Нам их скоро перешлют.

— Выходит, вы его самого-то не прихватили?— ухмыльнулся Ткачук.

— А за что? Вы продали ему вещь, он купил. Он же не знал, что она краденая.

— Знал, гад.

— Это еще доказать надо. Подтвердите под протокол?

— Еще чего!

— Ну вот. Потому он и гулять будет. Еще кого-нибудь нам отдаст из таких вот дурачков. Так что пусть себе гуляет. Зато вам, Ткачук, гулять долго теперь не придется. Потому что мы, кроме кражи, докажем стрельбу на вокзале, чуть больше месяца назад. Надеюсь, не забыли?

— Какая еще стрельба?!

— И до этого дело дойдет. Все по очереди. Сначала...

— А я не стрелял, понял? Не стрелял!

— Ну да,— насмешливо согласился Лосев.— Дядя стрелял. А ты слушал.

— Не знаю, кто стрелял!

— Ладно, ладно. Говорю, дойдет дело.

— Ну, сигарету то дашь?— нетерпеливо спросил Ткачук.

— А я разве обещал? Или обязан? Ты этот тон брось.

— Прошу же...— Ткачук отвел глаза.

— Это другое дело. Давай закуривай. И разговор у нас пойдет деловой, надеюсь. Потому что все ты, кажется, уже понял.— Виталий протянул Ткачуку сигареты.— Так вот, Олежек,— произнес Виталий почти дружески,— начнем мы все-таки с квартирной кражи. Сразу ее признаешь или тебе ее доказывать надо?

— Ясное дело, доказывать.

— Пожалуйста. Что часы ты Терентию продал, это отрицать не будешь, надеюсь? А они ведь с кражи, это установить совсем нетрудно.

— А я их сам, допустим, купил. Что тогда?

— И где же ты их, допустим, купил, у кого?— насмешливо спросил Лосев.

— Да там, у себя, на рынке, у неизвестного лица,— в тон ему ответил Ткачук.

— А вот у нас есть свидетели, что ты еще в Москве в гостинице пытался их продать. И не один свидетель, имей в виду.

— Ну, значит, я их в Москве купил, какая разница-то?— продолжал куражиться Ткачук.— Докажи, что нет!

Виталий внимательно посмотрел на него и спросил:

— Ты так глупо будешь себя и на суде вести?

— Почему глупо? Очень даже умно.

И Виталий вынужден был в этот момент согласиться с ним: пока Ткачук вел себя действительно умно. Зачем ему, в самом деле, признаваться раньше времени? Ведь ему еще никакие доказательства не предъявлены. Нет этих доказательств — нет улики.

— Ладно,— вздохнул Виталий.— Глупо или умно, это мы потом увидим. А сейчас скажи-ка мне, ты школу-то окончил?

— Восемь классов и ПТУ. Повар я.

— Повар?!— искренне изумился Виталий и весело добавил:— Но тогда тебе совсем другую кашу надо бы варить... Ты в повара подался сознательно? Или так, вкусно поесть захотелось?

— Ясное дело, сознательно. Отец у меня повар, и мать повар.

— Как же ты в сапожной мастерской оказался?— Выгнали из пищеблока. Чужую вину на меня свалили. Ну, а тут парень один уговорил в их мастерскую пойти.

— Чужую вину, говоришь? Ой ли, Олежка? Небось, запретили к пищеблоку на пушечный выстрел приближаться, вот ты в быткомбинат и подался. Надеюсь, отец тебя воровать не учил? Кто ж тебя с пути сбил? Может, Заморин?

— Это еще кто?

— Заморин Семен Михайлович. Кличка Директор. И еще одного судачка мы вытащили. Кикоев Илья Георгиевич. Кличка Арпан. Слышал про таких?

— Слышал...— растерянно произнес Ткачук и, глубоко затянувшись, привстал, чтобы загасить окурок сигареты в пепельнице.

— Вот так, Олежек. А Заморин влип крепко. У него ведь еще и наган изъят.

Зазвонил телефон.

— Лосев? — узнал Виталий спокойный голос Цветкова. — Вот какое дело. Тут у меня сидит, значит, Заморин. Беседуем потихоньку. Квартирную кражу он, конечно, признает. Тем более что Терентий-то прямо показывает, что Директор ему сказал: с московской кражи шкатулка. Да и гильза там, на квартире, от его же нагана. Никуда, словом, не денешься. А вот указал им на эту квартиру, говорит, Ткачук. Сначала, правда, адрес напутали, не туда залезли, Ткачук там записку и оставил: извините, мол, бедно живете, зря мы вас потревожили... Вот он и сейчас смеется, Заморин. Рано, Семен Михайлович, смеетесь, рано, — куда-то мимо трубки укоризненно произнес Цветков и продолжал, снова обращаясь к Виталию: — Не знаю, однако, правду ли говорит Семен Михайлович. — Цветков усмехнулся. — Ткачук у них вроде дурачка на побегушках. И вдруг... Что-то? — снова мимо трубки спросил Цветков. — Вот тут Заморин говорит, что Ткачук, оказывается, раньше их в Москву приехал, к тетке, что ли. А потом телеграмму им дал, приезжайте, хорошее, мол, дело ждет. — И снова мимо трубки Цветков добавил: — Насчет телеграммы, Семен Михайлович, ведь мы легко проверим, учитываете?.. Ну, то-то. — И снова в трубку: — Вот так, Лосев. Давай дальше шуруй.

Виталий повесил трубку и посмотрел на насторожившегося Ткачука.

— Да-а, Олежек, — сказал он. — Далеко ты, оказывается, от своего поварского дела ушел. — Мне бы вернуться, — вздохнул Ткачук.

Он, видно, уловил, что дела его каким-то неведомым образом повернулись весьма плохо, и на всякий случай решил манеру поведения изменить. Сейчас он уже казался тихим, скромным и простодушным.

— Чтобы вернуться, надо оглянуться, — сказал Лосев. — Вот и оглянемся давай. На дела совсем недавние. Неделию назад был в Москве?

— Ну, был. Что уж и приехать нельзя?

— К тетке приезжал?

— Ну... к тетке, — неуверенно согласился Ткачук.

— Где же она живет, твоя тетка?

— Вы что, к ней пойдете? Не надо.

— Надо же проверить, жил ты у нее или нет, — сказал Виталий. — Все придется проверить, каждое твое слово, учти это.

— Ладно, пишите.

Ткачук начал было диктовать адрес, но Виталий придвинул к нему лист бумаги.

— Так не пойдет. Пиши сам, — и протянул шариковую ручку.

— Пожалуйста.

Виталий внимательно прочел написанное и спрятал бумагу в ящик стола.

— А теперь скажи, — снова обратился он к Ткачуку, — знаешь, что такое криминалистическое исследование почерка?

— Ну, знаю. А что?

— Мы теперь твой почерк сравним с почерком в одной записке. Там некий прохвост написал: «Извини, ошиблись адресом. Бедно живешь». Не помнишь такой записки?

— Эх, — сокрушенно вздохнул Ткачук. — Вы, чего доброго, и в самом деле докажете, что я ее написал. Выходит, поймал ты меня с этим адресом?

— Я просто ускорил дело, — ответил Виталий. — Неужто ты думаешь, мы без этого не достали бы образец твоего почерка? Только лишнее время бы

ушло. Теперь же к вечеру все будет ясно. А то и сейчас. Ты записку писал?

— Я, — снова горестно вздохнул Ткачук. — Куда денешься, наука есть наука. И зачем только я, дурак, ее написал. Черт попутал.

— Бывает. На праведном пути и то иной раз спотыкаются. А на неправедном то и дело, это уже закон. И так, знаешь, спотыкаются, что потом долго лечить приходится.

Ткачук невесело усмехнулся.

— Доктора-то, небось, у вас мировые?

— Скоро сам увидишь. Не одного вылечили, представь себе. Ну, а как же ты все-таки адрес-то перепутал?

— А я не путал.

— Кто ж тогда путал? Директор?

Ткачук затравленно посмотрел на Виталия.

— А я ничего не знаю!.. — неожиданно закричал он. — Не знаю, понял!

Виталий успокаивающе поднял руку.

— Ладно, ладно. Ты лучше успокойся. Телеграмму Директору ты давал или нет? Мы же ее все равно найдем. Это нетрудно, учти.

— Давал, — безнадежным тоном ответил Ткачук. — Еще сигареткой угостишь? Свои забыл, веришь?

— Кури. — Виталий придвинул через стол сигареты. — Значит, телеграмму ты дал. Мы ее в любом случае к делу приобщить должны будем.

— Откуда ты про телеграмму-то знаешь? — хмуро спросил Ткачук, выжывая грязными пальцами сигарету из пачки.

— Вообще говоря, отвечать на твой вопрос не положено, — сказал Виталий. — Но так и быть, скажу. Директор дает на тебя показания сейчас, вот что. Гражданин Заморин Семен Михайлович, лично.

— Ну, все тогда, — совсем уже уныло вздохнул Ткачук.

— Нет, милый друг, не все. Еще кое-что надо нам с тобой выяснить. Откуда у тебя взялся тот адрес, тетка, что ли, дала?

— Ты что, очумел? — Ткачук даже опешил от неожиданности.

— Кто ж тогда дал его тебе?

— Да парень один. Выпили мы с ним. Ну, он и говорит: «Был бы ты деловым мужиком, миллион бы мы с тобой заработали, не меньше. На гаде одним».

— Ты с ним где познакомился, с парнем этим?

— Да в парке.

— В парке? — насторожился Виталий, и какая-то смутная догадка вдруг зашевелилась у него в голове. — А где именно, помнишь?

— Здоровенные аттракционы там стоят.

— Ну, а как зовут того парня, помнишь?

— Ага, Гошкой зовут.

— Так, так... А узнаешь, если покажем тебе его?

— Ясное дело. Только видеть мне его неохота.

— Ну, еще бы. Ты ж его долю-то замотал?

— Елки-палки! И это знаешь? — еще больше изумился Ткачук. — Ну, дает МУР!

— Дает, дает, — согласился Виталий. — И еще не то даст. А очную ставку все же придется вам сделать, чтобы знакомство вы оба подтвердили. Объяснишь тогда, почему с ним не поделился.

— Так я бы... Директор не дал.

— Ну, вот так и скажешь. Готовься.

— Выходит, вы его тоже... к ногтю? За то, что адрес дал?

— У него там тоже букетик собирается, будь здоров.

Так решила судьба Гошки Семкина. На свободе его оставлять было уже нельзя.

Совсем по-другому сложился допрос, который вел Игорь Откаленко. Перед ним сидел Кикоев — невысокий плотный парень, прямая жесткая челка иссиня-черных волос падала, закрывая лоб, на такие же черные, прямые брови. Узкие, беспокойные глазки, как два уголька, то вспыхивали, то тускнели, становясь почти пепельными. Тонкие, совсем незаметные губы чуть перекошенного рта придавали лицу странное выражение.

Кикоев спокойно вошел в комнату, где ждал его Откаленко, уверенно, по-хозяйски расположился на стуле и вызывающе посмотрел Игорю прямо в глаза.

— Ну что, начальник, колоть будешь? — спросил он.

Откаленко понимал сложность своей задачи. По существу, против Кикоева не было серьезных улик. Ни одной краденой вещи он не продал Терентю, очевидно, где-то до поры надежно спрятал, скорей всего у какой-нибудь своей подруги, как подсказывал Игорю опыт. И найти эти вещи вряд ли скоро удастся, если удастся вообще. Наконец, Кикоев не встречался с Гошкой Семкиным и не имел при себе оружия. Во время обыска на квартире, где он был схвачен вместе с Заморинным, обнаружили чемодан с частью похищенных у Потехина вещей. От чемодана этого оба сразу же отказались, но вскоре было установлено, что чемодан принадлежит Заморину. Словом, улики против Кикоева не было, и его предстояло немедленно отпустить, как только кончится определяемый законом двухсуточный срок административного задержания, ибо ни один прокурор санкции на его арест при таких условиях не дал бы. Ведь кроме того, что Кикоев проживал в Москве, в гостинице аэропорта, вместе с совершившими квартирную кражу Заморинным и Ткачуком — что, конечно, наводило на мысль об их сообщничестве, но все же само по себе доказательством не являлось, — улики против Кикоева не было. Даже прилет его в Москву вместе с Заморинным не свидетельствовал о причастности к краже. Мало ли можно было придумать причин совместному прилету!

Вот если бы показания против Кикоева дали его сообщники... Но об этом Цветков и Лосев, как было условлено, немедленно сообщили бы Откаленко.

Словом, задача, стоявшая перед Игорем, на первых порах казалась решительно невыполнимой. Уличать Кикоева было не в чем.

Правда, некоторые надежды Откаленко связывал с одной вещью, найденной у Кикоева в момент ареста. Это был небольших размеров изящный бумажник из тисненой кожи. В бумажнике ничего ровным счетом не оказалось — ни каких-либо записок, справок, квитанций, ни документов или денег — словом, ничего из того, что обычно в нем должно находиться. Неясно было, зачем вообще Кикоев носил его при себе. Изготовлен бумажник был в Англии, и броская золотая метка фирмы со львом и короной красовалась на самом видном месте. Впрочем, и сам по себе этот бумажник представлял немалую ценность и был, очевидно, краденым, хотя в списке исчезнувших вещей, скрупулезно составленном самим Потехиным, почему-то не значился. Откаленко перед самым допросом Кикоева еще раз осмотрел отделения бумажника и, так и не придя к какому-либо выводу, сунул его в ящик стола.

Когда Кикоев задал ему нахальный вопрос, Откаленко пожал плечами.

— Зачем колоть? Дружба с таким бандитом, как Заморин, вас и так подвела.

— Хороший парень, чего вы к нему привязались? — дерзко улыбнулся Кикоев, сверкнув ровными белоснежными зубами.

— Хороший парень наган таскать не станет.

— А у него и нет.

— Нашли, однако.

— Не его. Он разве не сказал?

— Не догадался.

— На понт взяли. Меня на это не возьмете.

— Не собираюсь. Зачем с Заморинным в Москву приехали?

— На экскурсию.

— Экскурсия в чужую квартиру по телеграмме от Махно?

— Э, начальник, — укоризненно покачал головой Кикоев. — Или доказывай, или не говори. Телеграммы не получал. В чужой квартире не был. Семку знаю, Олега тоже. Не отказываюсь. И все. За знакомство не сажают. Я наши замечательные законы знаю не хуже тебя, начальник.

Да, ситуация на допросе складывалась совершенно безнадежная. Правильно сказал Кикоев: за знакомство не сажают.

Откаленко смотрел в эти дикие, черные, как угли, глаза, в которых то и дело вспыхивали наглые, вызывающе-насмешливые огоньки, и бессильная злость переполняла его. Ведь преступник сидел перед ним, опасный, дерзкий преступник. Но его предстояло отпустить, если только не дадут на него показания те двое. А телефон молчал, значит, те двое таких показаний не давали. Что же делать? Тянуть время? Начать разговор о родителях, о семье? Растерянно металась мысль в голове у Игоря. Нет, тут надо придумать что-то новое, найти неожиданный ход... В голову ничего не приходило. А надо продолжать допрос, пауза недопустимо затягивалась.

— Две судимости у тебя? — спросил Игорь.

— Точно, две, — охотно подтвердил Кикоев. — Больше не будет, не старайся. Сыт. И тут кое-что теперь варит. — Он ткнул себя пальцем в лоб. — Меня теперь, начальник, голыми руками не ухватить, понял? — продолжал куражиться Кикоев, сверкая черными глазами. — Чуть что — я на дно. Все. Наших нет. Вот думаю, как отсюда меня выгонишь, я на юг подамся. Тепло, море, горы. Люблю. Пожалуй, там и останусь... — Он лениво потянулся.

Тут Игорь вынул из ящика стола бумажник и положил рядом с собой, словно приготовил его для чего-то, только время использовать еще не настало.

В черных глазах Кикоева мелькнула настороженность.

— Узнаешь? — кивнул на бумажник Откаленко.

— Вроде да, а вроде нет, — как-то криво усмехнулся Кикоев и попросил: — Поближе рассмотреть дай, точно скажу.

Он даже потянулся к столу, чтобы взять бумажник.

Но Игорь строго сказал:

— Сидеть. Придет время — дам. Пока издали любуйся.

— Как скажешь... — Кикоев с напускным равнодушием пожал плечами. — Давай, начальник, выгоняй скорее. А то прокурору буду жаловаться.

— До прокурора у нас с тобой еще время есть.

Игорь себя чувствовал сейчас, как когда-то в детстве, во время игры «жарко-холодно». Он вдруг почувствовал, как с появлением этого странного бумажника стало «теплее», явно «теплее». В допросе появился нерв. Кикоев почему-то забеспокоился. И как бы в подтверждение этого вдруг с удрученным видом произнес:

— Ты бы, начальник, про мою несчастную жизнь спросил. Как я на путь преступный стал, где мать, где отец. Про это всегда надо спрашивать.

— Успеем. Не я, так кто-нибудь другой спросит.

Лично у меня особой охоты философию с тобой разводить нет. Откуда ты такой взялся, сейчас особого значения не имеет. Сейчас мне необходимо признание твое. Больше меня ничего в тебе не интересует.

— Врешь, интересуется, — напряженно произнес Кикоев и даже подался вперед, словно изготавливая прыжок.

Откаленко внимательно на него посмотрел.

— Что же, по-твоему, меня еще интересует? — спросил он.

Кикоев метнул быстрый взгляд на бумажник.

— А зачем его вытаскил?

— Так, — неопределенно ответил Игорь. — Чтобы полежал вот тут.

Он вдруг почувствовал, как забилось сердце. Становилось все «теплее».

— «Полежал»? — хитро и зло переспросил Кикоев. — Врешь, начальник. Ну, давай так. Не под твой замечательный протокол, конечно. Ты знаешь, у кого в квартире мы были, а?

— Знаю.

— Ни хрена ты не знаешь. Хочешь, скажу?

— Ну, скажи.

— Вот этот бумажничек оттуда, — сказал Кикоев.

— Хозяин его в списке не указал.

— Ясное дело. Не его он, понял? Я его в передней подобрал, на полу под вешалкой.

— Думаешь, кто-то его уронил?

— Ага. Если выгонишь меня отсюда, я тебе кое-что шепну.

— Ты думаешь, чего говоришь-то?

— Ясное дело. Но если я тебе кое-что шепну, ты таких боссов накроешь, что я рядом с ними мелочью буду незаметной. Не будет у тебя расчёта со мной возиться. Ты за них орден получишь, а за меня шиш без масла.

— Ты лучше не обо мне, а о себе думай.

— Да на кой ты мне сдался? Я о себе думаю. Вот выгонишь меня, и мне больше ничего не надо. Кореша мои пусть идут, за ними хвосты тянутся. А у меня нет. Чистый я кругом. И вещичек моих никто в жизни не найдет, ни ты, ни Директор.

Глазки Кикоева горели жадными азартными огоньками. Ему словно доставляла удовольствие сама эта игра.

— погоди, — усмехнулся Игорь, — те двое тебе тоже сейчас хвост приделывают. И если ты отсюда не выскочишь, то хоть сообрази, как сократить срок, голова. Ну, рассказывай, рассказывай, чего собрался. Какие там еще боссы...

«Почему он связывает этот показ с бумажником? — напряженно соображал Игорь. — Я же его просмотрел, там ничего нет. Зачем он хотел взять его в руки?»

Нет, решительно Игорь пока не мог понять своего противника. Он только чувствовал, что надо все больше натягивать струну.

— Если шепну, выгонишь? — нетерпеливо спросил Кикоев.

— И не мечтай. Пускай боссы те на свободе пока погуляют. Раз уж ты мне попался, я тебя на суд приведу, — пообещал Игорь, стиснув зубы.

— Подавишься.

— Поглядим. У меня хватка, как у бульдога. Захочу — и то не выпущу. Судорога сводит. Вот так тебе, Арпан, повезло. Ну, будешь говорить?

— Не. Раздумал, — объявил Кикоев лениво, отваливаясь на спинку стула.

— Как знаешь, хотя...

И тут Кикоев вдруг, как развернувшаяся пружина, кинулся к столу и схватил бумажник. Но больше он ничего сделать не успел. Откаленко перемахнул

через стол и всей тяжестью обрушился на Кикоева. С грохотом отлетел к стенке стул. Кикоев вывернулся из рук Откаленко и зубами впился в бумажник. Откаленко схватил Кикоева снова, но уже более грамотно, и тот с воем повалился на пол, поджав колени чуть не к подбородку.

В комнату вбежал конвой.

В этот момент на столе зазвонил телефон. Игорь, тяжело дыша, поднялся с пола и снял трубку. В другой руке он сжимал вырванный у Кикоева бумажник.

Звонил Лосев.

— Что это с тобой? — спросил он. — Чего так дышишь?

— Потом. Ну что?

— Мой дал показания на Кикоева. Санкция обеспечена.

— Ты уже кончил?

— Только что увели. Еду на арест.

— Хорошо.

Игорь повесил трубку и повернулся к Кикоеву, который уже снова сидел на стуле и, морщась, вытирал кровь с оцарапанной щеки. Возле него стоял конвойный милиционер.

— Все, Кикоев. Показания на вас получены. Будете говорить?

— Иди ты к... — сквозь зубы выругался Кикоев.

— Увести, — распорядился Откаленко.

Оставшись один, он снова принялся за загадочный бумажник. И сразу же — видимо, потому, что тот был изрядно помят, — Игорь обнаружил секретный карманчик, прорезь которого прежде искусно пряталась во внутреннем шве одного из отделений. Сейчас шов был разорван полностью, и ее просто невозможно было не заметить.

В карманчике Откаленко обнаружил две записки, написанные, судя по почерку, разными людьми. Одна из записок гласила: «Боря, ты меня не бросай. Мне же 22, а твоей стерве 40. А Вадик пусть на меня свои миллионы вытрясет, как борода. Мы же и посмеемся над ними, да? Целую. Твоя М.». Вторая записка оказалась зашифрованным подсчетом: «Я-25, Б.-20, Г.-20, М.-10, мелочь, услуги — 15, резерв — 10. Начиная с июня».

Откаленко задумчиво повертел в руках записки и вдруг на обороте второй из них прочел: «Тамара. Знаменская, 14, кв. В». Запись была сделана торопливо, коряво и, видимо, другим человеком. Скорей всего, ее сделал Кикоев. И тогда это объяснило многое в его поведении сейчас, на допросе.

Игорь устало потер лоб, потом, вздохнул, снова положил записки в бумажник, спрятал его в сейф и вышел из комнаты.

На следующий день в условленный час Виталий Лосев отправился на встречу с Майкой, или, как следовало из наведенных справок, с Майей Сергеевной Богомоловой, которой и в самом деле было двадцать два года и работала она старшим кассиром в парковом аттракционе.

Впрочем, справка эта была куда более развернутой и включала не только всякие подробности биографии Богомоловой, но и весьма определенные черты ее характера.

Окончив школу, Майка очень быстро вышла замуж за младшего помощника штурмана громадного пассажирского лайнера, совершавшего дальние туристские круизы к берегам заморских стран. Корабль был приписан к Одесскому порту. В этом городе и жил молодой муж Майки со своими родителями. Валентин Богомолов оказался в Москве во время короткого отпуска между рейсами и случайно

познакомился с Майкой. После четырех дней безумной любви они подали заявление в загс.

Майка была изящной и чрезвычайно кокетливой девицей с отличной фигурой, смазливенькой рожцей и беззаботно-веселым характером. Кроме сказочно-романтической профессии мужа и его красивой морской формы, Майку привлекали дивные заморские вещицы, которые она у него видела и которые после подачи заявления он преподнес Майке в качестве свадебного подарка. И тут она была окончательно покорена.

Мать Майки была решительно против этого скоропалительного замужества, но дочь проявила свою обычную строптивость и, как водится, настояла на своем.

И укатила Майка с молодым мужем в солнечную веселую Одессу. Там она, однако, с удивлением обнаружила, что родители мужа не выказывают восторга по поводу ее появления. Не в пример приятелям Валентина, которые с чисто моряцкой широтой и элегантностью ухаживали за ней. У Майки от этого приятно кружилась голова, и она сначала не обращала внимания на хмурые лица своих новых родственников, а потом, чуть позже, их возненавидела. Второе неприятное открытие, которое она сделала, что в солнечной, веселой Одессе люди трудились, как и всюду. В интерклубе моряков нашлось для Майки место кассирши, и лучшего ничего придумать было нельзя. Пестрый, оглушительный хоровод вечеров, танцев, концертов, ужинов окружал ее теперь каждый день.

Но незаметно вползли в ее жизнь и другие интересы, дела и заботы. Некоторые моряки привозили из загранрейсов всякое барахло, которое норовили сбыть как можно выгоднее. И тут в Майке раскрылись невиданные способности. Такой расчетливости и находчивости она и сама в себе не подозревала. При других обстоятельствах эти свойства могли, вероятно, оказаться полезными для всех, но сейчас они лишь помогали Майке освоиться в этом грязном подполье и стать там своим человеком.

Тогда же произошло и другое событие. Валентин ушел в очередное долгое плавание, а спустя месяц или два Майка «утешилась» с одним из своих воздыхателей, которые ее неотлучно окружали в клубе. Об этой связи стало известно, и возмущенные друзья Валентина рассказали все его родителям. Произошел грандиозный скандал, после которого Майка перебралась жить сначала к одной подруге, потом к другой.

А вскоре Майка была арестована.

Все эти сведения об одесском периоде ее жизни раздобыли с помощью ЭВМ Главного центра информации министерства и после переговоров с одесскими коллегами по уголовному розыску.

Отбыв полтора года в колонии и выйдя наконец на свободу, Майка вернулась в Москву, к матери. С мужем и веселой Одессой пришлось расстаться. Впрочем, Майка не унывала. Впереди ее ждало много радостей и прибыльных дел. Только бы не растеряться, только бы найти подходящее для такой жизни занятие. На первых порах Майка устроилась кассиршей в театр. На судимость никто не обратил внимания, молодая женщина была хороша собой, мила, застенчива и наивна. Первым желанием окружающих, особенно мужчин, было ей помочь, оградить и защитить. Майка великолепно научилась пользоваться этим.

Вскоре она влюбилась в администратора театра Левицкого, немолодого красавца в замшевом пиджаке и с роскошной седой прядью в темных густых волосах. Связь их продолжалась недолго.

Однако, когда Левицкий ушел из театра и стал заведующим комплексом аттракционов в парке, он перетянул за собой и Майку: ему нужны были преданные, надежные кадры. Для опытной уже в конспирации Майки, у которой от алчности начинали порой дрожать руки, наступила новая жизнь. Появились, конечно, и новые увлечения, Майка и тут стала опытной и циничной.

Некоторые детали ее сегодняшней жизни Виталий почерпнул из записки, обнаруженной Откаленко в секретном отделении бумажника. Видимо, Кикоев и в самом деле подобрал его в передней потехинской квартиры, а потерял его там не кто иной, как Левицкий — об этом свидетельствовала вторая записка, где цифры складывались ровно в сто и могли обозначать части неведомых доходов, из которых себе Левицкий отваливал наибольший процент. Неясно только было, как первая записка, адресованная Майкой отнюдь не Левицкому, а, видимо, Горохову, попала не по назначению.

За всеми этими мыслями Виталий даже не заметил, как очутился перед входом в парк.

Вечер снова был жаркий и душный, как и все предыдущие вечера. Возле огромного круга фонтанов воздух был насыщен каплями влаги, они холодили и приятно покалывали кожу.

Виталий описал большой круг возле бассейна с фонтанами. Прошлый раз он мельком виделся с Майкой, да еще в плохо освещенном углу площадки, где стояли аттракционы, и сейчас боялся не узнать ее сразу в нескончаемом потоке людей. Он помнил только пушистые, темные, спутанные ветром короткие волосы, дерзкий, насмешливый взгляд больших, ярко подведенных глаз, невысокую ладную фигурку в пестром открытом платье.

Он снова обогнул фонтаны и нетерпеливо посмотрел на часы. Неужели она его обманула и вообще не придет?

И в этот момент за его спиной раздался лукавый голос:

— Ты почему меня не узнаешь?

Виталий поспешно обернулся. Перед ним, улыбаясь, стояла Майка. Да, она была и в самом деле хороша собой. Только лицо чуть грубовато, да фигура приземиста, чего он не заметил в тот раз.

— Куда пойдем? — деловито спросила Майка.

— Посидим? Выпьем?

— Сразу так и выпьем? — насмешливо возразила Майка. — Больно ты скор, мальчишечка. Я с чужими не пью.

— Ну, так сперва познакомимся, чтобы чужими не быть, — сказал Виталий.

— А где?

— Подальше отсюда.

— Чего это ты испугался, миленький? Я и тут хорошее местечко знаю, как одни будем, хочешь? — Она призывно улыбнулась.

— Ладно, — с неохотой согласился Виталий. — Вообще-то лучше и совсем одни. А тут ваши гаврики на каждом шагу.

— Там их нет. — Майка взяла Виталия под руку и увлекла за собой в сторону одной из аллей. — Ох, ты и длинный, — не то насмешливо, не то восхищенно сказала Майка. — Каланча прямо. Трудно управлять.

— Зато мне все видно, — засмеялся Виталий. — Ты управляй, а я буду говорить, куда и что впереди.

— Это мы сами знаем, куда. Вас только отпусти.

— И тебя тоже.

— А я свободная. Не то, что ты, женатик.

— Откуда это ты взяла?

— Если меня человек заинтересует, я все о нем узнаю.

Так переговариваясь, они шли и шли по парку все дальше, туда, где кончались аллеи, где парк переходил в лес. И, наконец, у самой этой границы они подошли к уютному ресторанчику.

— Вот сюда давай,— повелительно распорядилась Майка.

Виталий понял, что такой тон она усвоила в отношении вообще всех мужчин, обычных своих поклонников, и это означало, что она своего нового знакомого из этого ряда никак не выделяет.

Как ни странно, в небольшом зале нашелся свободный столик, один-единственный. Виталий сделал заказ подбежавшему официанту. Его услужливость показала даже подозрительной.

— У тебя в Москве кто есть? — спросила Майка.

— Мать, отец.

— А жена?

— Жена тоже,— неохотно признался Виталий.

— Вот. Хоть смелости хватило сказать,— одобрительно отозвалась Майка.— А то все, как есть, холостые. Смех просто. А деньги к тебе откуда идут? — С зарплаты.

— Ну, не свисти. Для академика ты еще плешью не вышел. А больше никто на зарплату не живет. Эх, мне бы хоть какого академика, я бы из него конфетку сделала. Из самого даже заваливающего. Они же все жизни не знают.

Виталий рассмеялся.

— Ты одну жизнь знаешь, а они другую.

— А ты третью? — прищурилась Майка.

— Я еще твоей не знаю, может, у нас и однаковая.

— Эх, мальчишечка,— вздохнула Майка.— Мою жизнь лучше не знать.

— Это почему?

— Тяжелая у меня жизнь.

— Небось, от мужиков отбоя нет. Чем плохо-то?

— Да какое от вас счастье? Горе одно.— В тоне Майки прозвучала искренняя горечь.

— Ты, может, влюблена? — насмешливо спросил Виталий.

— А что, нам не разрешается?

— Разрешается всем, не у всех получается,— серьезно ответил Виталий.— Для этого самому преданным надо быть.

— Думаешь, я не могу быть преданной?

— А есть такой человек, кому ты предана?

— Ну, допустим, был,— зло усмехнулась Майка.— Да тоже женатик. И вообще...— Она махнула рукой.

«Она была влюблена в Горохова,— подумал Виталий.— Конечно, влюблена. А тот?..»

— Преданность надо на деле проверять, я считаю,— сказал он.

— За вами углядишь, как же.

— Ну, у тебя глаз наметанный. И от любви, небось, голову уже не теряешь.

— Раньше теряла,— снова вздохнула Майка.— Забыла уж, правда, когда.

Видно, беспокойно было у нее на душе, и разговор повернулся так, что она невольно утеряла напускную веселость. Странный какой-то парень попался ей. Майке пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поддаться искушению быть с ним откровенной.

— Ну вот,— продолжал Виталий.— И теперь, гляди, не теряй голову-то. Пусть доказывают сперва свою преданность. Эх, Майечка. И кроме любви, еще заботы есть, верно я говорю?

— Самое большое счастье дает женщине любовь,— вздохнув, убежденно возразила Майка.

— Если она взаимная и честная.

— Это точно,— согласилась Майка.— Только где ее взять такую? С тобой, что ли?.. С тобой, мальчишечка, не получится, вижу. Ты какой-то отгороженный.

Виталий подивился ее чуткости. Ведь он так старательно изображал увлечение.

И в который раз уже Лосев, вывел для себя непреклонный урок: с женщинами эти номера не проходят. Они иной раз не скажут, но почти всегда уловят фальшь. Об этом его предупреждал еще Кузьмич. Тут можно жестоко обмануться. А уж если женщина решит отомстить... Да, если она решит отомстить...

— Май, а вот скажи,— спросил он,— женщины прощают предательство?

— Они все прощают, если любят.

— А мне кажется, не всякая простит. Вот ты простишь?

— Я нет. Я тут не женщина, я тут мужик. Ничего никому не прощу. Запомни. Отучилась я прощать, вот что.

— А умела?

— Да, пожалуй что и не умела.

Появился официант, расставил тарелки с закуской и, мимолетно улыбувшись, исчез.

— Если ты предательства не прощаешь, разговор у нас может получиться. Притом интересный.

— У нас и так интересный разговор,— усмехнулась Майка.— Я вот только никак не пойму, чего тебе от меня надо?

— Честно тебе сказать?

— Это бы лучше всего, если умеешь.

— А ты мне тем же ответишь?

— Ох, не обещаю, мальчишечка,— вздохнула Майка.— Не привыкла.

— Ладно. Рискну. Так вот. Надо мне от тебя, Майечка, доверие. Поняла?

— Не,— покрутила головой Майка, жуя ломтик сыра.— Зачем это тебе понадобилось? Я, к твоему сведению, вообще ни одному человеку не доверяю. Тоже отучилась. Доверять — наполовину проиграть.

Она рассеянно огляделась по сторонам, но Виталий уловил в ее глазах скрытое напряжение. Она словно чего-то боялась или кого-то искала.

— Ты знаешь, что у вашего Борода случилось? — неожиданно спросил Виталий.

Майка даже вздрогнула.

— Ну, знаю,— настороженно ответила она.— А ты откуда знаешь?

— Сначала от Гошки.

— А-а. Тут есть и к тебе один вопросик,— как-то странно произнесла Майка.

— Давай.

— Успеется. Ты продолжай. Сперва от Гошки, значит. А потом?

— Потом от Арпана.

— Это кто такой?

— Он у Борода в доме был.

— Ой, надо же! — всплеснула руками Майка.

— От него ко мне кое-что перешло.

— Купил? — в глазах у Майки зажглась жадность.

— Не. Отдал. Это только для тебя цену имеет.

— Ну да! — Майка недоверчиво смотрела на Виталия.

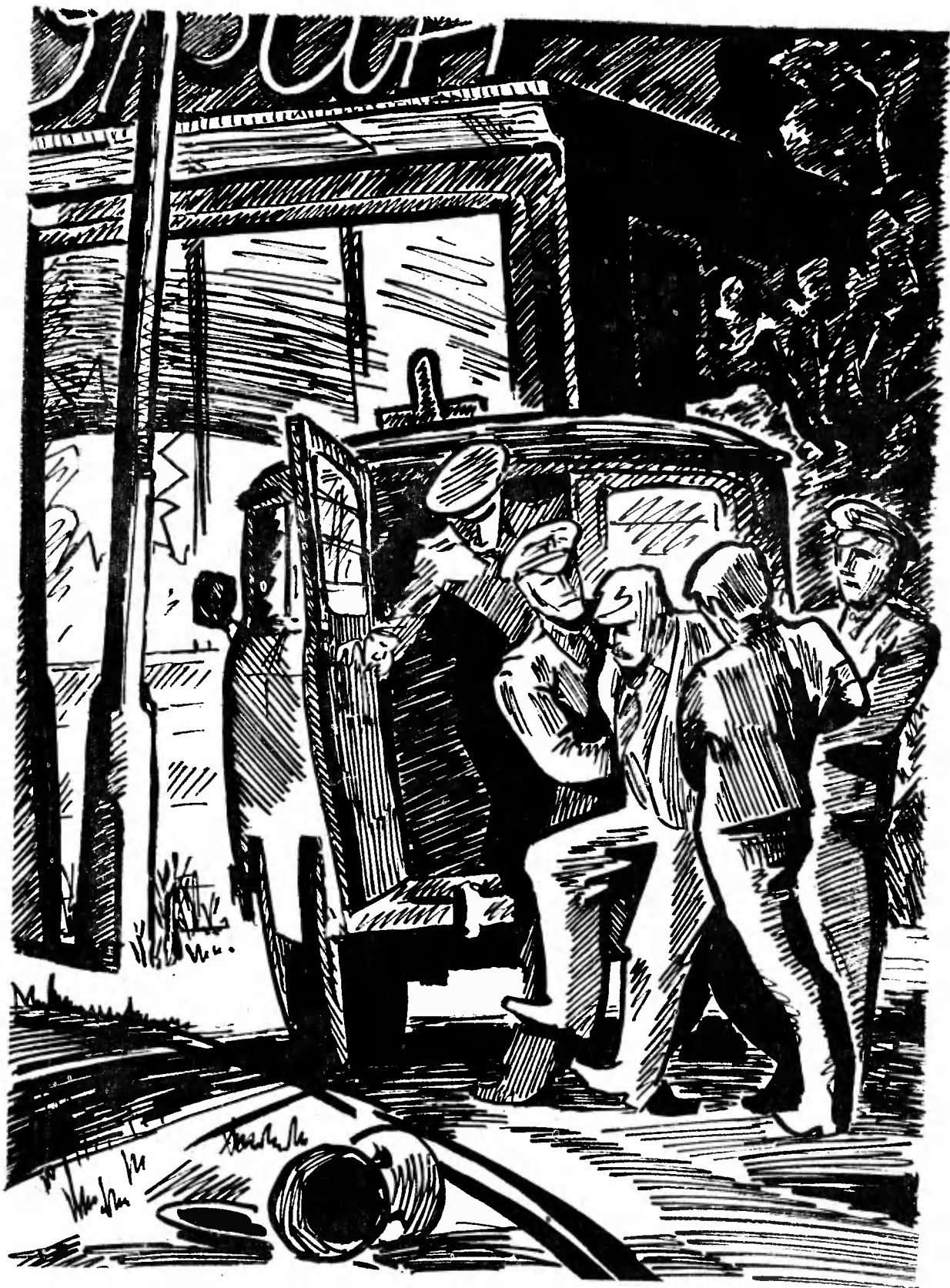
— Только для тебя одной,— подтвердил Виталий.— Вещь эта не Борода. Арпан в передней ее подобрал. Вадик ваш выронил.

— Вадик?! — еще больше изумилась Майка.

— Да. Бумажник...

Виталий помедлил. Его вдруг охватило сомнение, правильно ли он поступает.

— Ну, говори же, что там в бумажнике было-то,—



нетерпеливо потребовала Майка и вдруг, прищурившись, спросила:— А какой из себя бумажник, скажешь?

«Нет,— решил Виталий,— все правильно».

— Какой из себя? — переспросил он.— А ты его узнаешь?

— Уж как-нибудь.

Виталий приоткрыл борт пиджака и из внутреннего кармана наполовину вытащил бумажник, так чтобы виден он был только Майке.

— Ой!..— Майка приложила ладонь ко рту и, как завороченная, смотрела на бумажник.

— Ну, вот,— кивнул Виталий, пряча бумажник.— Видишь? Мне доверять можно. Но дело не в бумажнике. Главное, там записка одна была.

— Чья?

— Твоя.

— Бреешь,— грубо отрезала Майка.— Не писала я ему никогда.

— Это точно. Писала ты другому. И тот ее отдал Вадике. В записке и о Вадике кое-что было сказано.

Лицо у Майки пылало, глаза сузились от еле сдерживаемой ярости. Она, как видно, догадалась, о чем говорит Виталий.

— Отдал...— прошептала она.— Отдал, гадина...

— Отдал,— подтвердил Виталий.— Предал тебя. А уж Вадик будь здоров как ее против тебя использовал бы. Да вот потерял.

— Уж будь здоров,— машинально подтвердила Майка и повторила, словно не в силах была этому поверить:— Отдал...— И вдруг зло и недоверчиво посмотрела на Виталия.— А чем, мальчишка, докажешь?

— Чем? Да просто отдам тебе эту записку. На кой она мне? Тебе может пригодиться, если ты и в самом деле никому ничего не прощаешь.

Виталий снова сунул руку во внутренний карман пиджака и, достав оттуда записку, незаметно положил ее перед Майкой, и та мгновенно смахнула бумажку себе на колени. Майка сделала это так поспешно, будто кто-то мог наблюдать за ними, в это время и не должен был увидеть записку. Так по крайней мере показалось Виталию, и он невольно насторожился.

Майка между тем, пробежав глазами записку, покраснела еще больше и нервно сунула клочок бумаги в сумку.

— Ну, он у меня увидит клочок хмурого неба,— отрывисто сказала Майка.— Все они увидят... Теперь смеется небось надо мной со своей стервой. Ну, ладно. Вот только...— Она посмотрела на Виталия.— Не пойму я что-то, тебе какой навар от всего этого будет?..

И в этот момент Виталий неожиданно увидел Алексея. Виталий не сразу даже узнал его в новом черном фраке и белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой. Видимо, Алексей перешел сюда с повышением и был теперь метрдотелем. Вид у него был чрезвычайно важный, этим он, очевидно, хотел компенсировать свою досадную для такого поста молодость. Алексей, судя по всему, заметил Виталия уже давно и, поймав его взгляд, дружески и незаметно ему подмигнул.

Майка с минуту молча курила, потом, словно очнувшись, в упор посмотрела в глаза Виталию.

— Ты, кажется, чего-то от меня хотел?

— Точно. Хотел, чтобы ты меня с Горехом свела.

— Это еще зачем? — подозрительно спросила Майка.

— Дело есть.

Майка с ожесточением размяла в пепельнице окурок и сразу потянулась за новой сигаретой. Она нервничала и не пыталась даже это скрывать.

— Тебе повезло,— сказала она.— Боря тоже хочет с тобой познакомиться.

— Откуда он про меня знает?

— Знает вот.

— Ты сказала?

— Ну, я. Сказала, что к тебе на свидание иду. Чего тут такого? У нас с ним как-никак любовь была.

— Была?

— Была и вся вышла,— резко ответила Майка, и глаза ее сузились.— Я ему этой записки не прощу.

— А что ты сделаешь?

— Знаю, что сделаю. Кровь на нем.

— Ха! — небрежно отмахнулся Виталий.— Давно ее вытер, если и была.

— Зато она у меня в глазах осталась. И у Гошки тоже. Не говорил?

— Как так осталась? — спросил Виталий, словно не заметив ее вопроса.

— Вчетвером мы здесь сидели. Я с Гошкой так, для вида. Разговор с Николаем Гавриловичем Боря вел. Уговаривал отдать бумагу и больше не писать.

— А тот?

— А тот ни в какую. Фронтоник все-таки. Так и сказал.

Виталий слушал, изо всех сил стараясь казаться равнодушным.

— Ну, и что Горех? — спросил он.

— Заказал еще бутылку, взял кое-чего со стола и увел Николая Гавриловича в лес, тут недалеко. «Одни,— говорит,— давай потолкуем». А мы с Гошкой тихонько за ними пошли. Боря даже не видел. Трясло его всего.

— А вы, значит, видели, что он... сделал?

— Ага. Заболела я после этого. И Борю стала бояться.

— Но записку ту все-таки написала?

— Я ее еще раньше написала. А сейчас...— Майка жала кулачок.— Пусть он подохнет со своей старухой. Плевать мне.

— А он как после того?

— А никак. Зажигалку вот у Николая Гавриловича забрал. Его инициалы там в рамочку обвел, скот. Надо же, а?

Майка снова огляделась и вдруг быстро отвела глаза.

— Пришел,— тихо сказала она.

— Горех? — переспросил хрипло Виталий и откашлялся.

— Ага. Он поговорить с тобой хочет.

— Тогда... Зови его к нам за стол. Мы сперва выпьем. Разговор веселее пойдет.— Виталий огляделся.— Куда это официант заделался? Надо же встретить гостя. Погоди, я сейчас...— Он поднялся с места.— Ты пока зови его.

Виталий, лавируя среди столиков, направился в сторону кухни. Краем глаза он заметил, как из дальнего угла зала к нему двинулся Алексей.

Через минуту Виталий вернулся. За столиком возле Майки сидел плотный, краснолицый человек лет сорока пяти. Светлые волосы на круглой голове были гладко уложены. Твердые черты лица и пышные холеные усы придавали ему даже некоторую привлекательность, если бы не холодные цепкие глаза под густыми бровями. «Серьезный дядя»,— враждебно подумал Виталий. И сообщил, подходя к столику:

— Сейчас сам метр обслужит.— Посмотрев на Горехова, с интересом спросил:— Ты и будешь Горех, значит?

— Борис Егорович,— с ударением, внушительно произнес Горехов.— Рано тыкаешь, молодой чело-

век.— И пригласил, словно за свой столик: — Садись.

— Благодарствую,— насмешливо ответил Виталий, усаживаясь на свой стул.— Чем обязан такому обществу?

Горохов несколько секунд, не отвечая, пристально рассматривал Лосева и, как будто оставшись недоволен этим осмотром, сердито буркнул:

— Кто сам будешь?

— Вы тоже не тыкайте, Борис Егорович,— с издевкой ответил Виталий.— Мы с вами еще ни разу не выпили. Вот как раз...

К столику приблизился Алексей, неся на вытянутой руке поднос.

— Минуточку,— вежливо сказал он.— Потревожу вас.

Он поставил ближе к Горохову бутылку водки, разместил на столике рюмки, стаканы, фруктовую воду, тарелки с закусками и, пожелав приятного аппетита, с достоинством удалился.

— Прошу, Борис Егорович,— довольным тоном произнес Виталий.— Хозяйничайте за старшего, руководите, так сказать. Прошу.

— Ну, давай,— согласился Горохов.

Он разлил по рюмкам водку, плеснул в стаканы фруктовой воды и, подцепив на вилку ломтик колбасы, поднял свою рюмку.

— Со свиданьем,— объявил он.

Постепенно завязался разговор. Для начала Горохов пожаловался на жару и вытер платком красную, могучую шею.

— То ли будет, Боречка,— ядовито вставила Майка.

— Это почему же?— не понял Горохов.

Майка улыбнулась.

— Да так. Мысли вслух.

Они закурили. Горохов щелкнул массивной зажигалкой и тут же спрятал ее в карман. Виталий ни на секунду не задержал на ней взгляд.

Появился Алексей, поставил новую бутылку фруктовой воды и аккуратно, за кончик горлышка прихватил пустую. Когда он ушел, Горохов, вздохнув, угрюмо и твердо спросил у Виталия:

— Ты вот что. Скажи, где Гошка?

— А я почему знаю?

— Знаешь. Последним его видел. Выпить звал его?

— Ну и что?

— А то. После этого Гошки никто здесь не встречал. Ты лучше не крути,— угрожающе предупредил Горохов.— Со мной такие номера не прохоят.

— Вот пристал...

Виталий вздохнул и равнодушно обвел глазами зал. Из дальнего его конца подал знак Алексей. И тогда Виталий резко сказал Горохову:

— Пошел ты со своим Гошкой, знаешь, куда? Пока я тебе по рожке не смазал.

— Чего о?..— опешил от неожиданности Горохов.— Ах ты, тварь... Он уже успел изрядно выпить. И сейчас хмель и обида ударили ему в голову. Толстые щеки, лоб, шея побурели от прилившей крови; нос, наоборот, побледнел и казался приклеенным, глаза налились яростью. Горохов приподнялся, наклонился над столом к Виталию и прошипел: — А ну, повтори, чего сказал?

— Что, дядя, туг на ухо стал?— съязвил Виталий.— Очки надень.

Горохов развернулся, и кулак его мелькнул перед самым носом Виталия, успевшего, однако, уклониться от удара. В тот же миг длинной своей ногой Виталий зацепил под столом ногу поднявшегося Горохова и рванул ее к себе. Горохов потерял

равновесие. С грохотом, ломая стул, опрокинулся он на сидевших позади него людей.

Раздались крики, женский визг. Разъяренный Горохов кого-то ударил, кто-то ударил его. Но драка не успела разгореться.

В зал вбежали два милиционера во главе с Филиппенко, и Горохов опомнился, лишь когда его крепко схватили и вырвали из толпы.

У входа в ресторан стоял милиционерский «рафик». Горохова и двух мужчин из-за соседнего столика, на которых Горохов упал и одного из которых ударил, а также двух их спутниц увезли.

Еще когда только возникла драка и подоспевшие милиционеры схватили Горохова, Виталий увлек Майю в сторону, и они незаметно выскользнули из ресторана. Теперь они из-за кустов наблюдали, как уехал «рафик».

— Сгорел Горох,— сказал Виталий.— Не жалко тебе его?

— Пусть они все сгорят,— устало ответила Майя.— И я с ними. Жить больно тошно мне, мальчишечка.

— Остальным-то за что гореть?

— За дело. Я-то знаю. Сама, небось, билеты на три части рву. Каждое утро выхожу из дома и не знаю, куда попаду: на работу или в тюрьму. Это жизнь, по-твоему?

— Сама выбирала.

— Ну что ж. Сама и плакать буду. Никто другой обо мне не поплачет. Некому.

— Ладно, Майечка. Зато я тебя не оставляю.

— Нужен ты мне...

— Нужен,— убежденно ответил Виталий.— Увидишь.

Майя с удивлением посмотрела на него.

— Чудной ты какой-то. Ну, ладно, я пошла. Ты меня не провожай.

Совещание началось информацией Эдика Албаняна. Он говорил, как всегда, азартно, помогая себе выразительными жестами.

— Я все-таки туда залез! Отстоял два часа в очереди и залез. Но не зря стоял, не зря! Сначала мне повезло, конечно. Но не каждому везет! Везет тому, кто старается, я так всегда говорю.

— Верно, верно,— усмехнулся Цветков, по привычке раскладывая перед собой карандаши — это каким-то образом помогало, видимо, ему слушать.— За старание и ценим,— добавил он.

— И за выдающийся талант,— не преминул вставить Лосев.

— Вы мне так работника испортите,— с напускной строгостью произнес полковник Углов, начальник Эдика.

— Ничего, пусть хвалят,— засмеялся тот.— А то вы только ругаете. Природа-то, конечно, требует равновесия. Так вот.— Эдик снова стал серьезен.— Сначала, я говорю, повезло. Человека за три от меня впереди встал вдруг парень. Просто втерся в очередь, так, знаете, деловито, спокойно, никто даже внимания не обратил. Я, конечно, стал смотреть. Подходит он к кассе и вместо денег сует туда совершенно незаметно, конечно...

— Но ты все-таки заметил,— снова вставил Лосев.

— Само собой. Я чего-то, конечно, ждал, как вы понимаете. Так вот, сует он, представьте себе, спичечный коробок. Это вместо денег! А кассирша ему обратно, тоже незаметно, плоский такой сверточек передала. Парень тут же с людьми смешался и через контроль — раз! Все. Там и растворился. Вокруг суетятся, рассаживаются. И ведь в случае

чего не схватишь его с этим свертком. Контролер не пустит. Он же рядом с самой кассой стоит. Пока объяснишь ему...

— А что в том сверточке было, как думаешь? — спросил Володя Фролов.

— Думаю, они каким-то образом накапливают в кассе левые деньги. И чтобы случайно не накрыли с проверкой, время от времени их кому-то передают.

— Вы пока продолжайте, вопросы потом, — сказал Кузьмич, невольно приняв на себя полномочия председателя, так как совещание проходило в его кабинете. — Очень важная информация.

— Так вот, — увлеченно продолжал Эдик. — Теперь подхожу к кассе я. И тут такой фокус разыгрывается. Я даю деньги, кассирша отрывает мне билет, я его беру, но стоящий буквально рядом контролер тут же его у меня из рук выхватывает, быстро рвет, выбрасывает, и я прохожу. Понимаете? Я ни минуты не держу в руке билет! Я почти не вижу его! Это как, нормально?

— Тут, милый мой, все ненормально.

— Во! — азартно воскликнул Эдик. — Все! Но главная в этом деле находка: касса рядом с контролером! Рядом, вы понимаете? Билет оставить невозможно. Никак!

— Билета и нет, — вдруг серьезно сказал Лосев.

— То есть как это нет?

Все посмотрели на Лосева.

— Нет билета, — убежденно повторил тот. — Я теперь понял, что мне вчера сказала Майя: «Сама билеты на три части рву». Она тебе третью часть билета дала! — Виталий обернулся к Эдику.

— Во! — Эдик ударил одной рукой о другую. — Ясен способ! Конечно, умная голова придумала. Касса рядом с контролером, и контролер рвет билет у вас на глазах. «Вертушка», значит, исключена. Так? Других способов вроде бы нет. Все в порядке.

— Но зачем им тогда контрнаблюдение? — усомнился Фролов.

— А как же! — со злым воодушевлением ответил Эдик. — Допустим, подходит наш человек. На что он прежде всего обратит внимание, если захочет проверить работу этого объекта? Он, конечно, должен засесть время сеанса. И сразу убедится, что оно в два-три раза меньше нормы. Все! Появилась зацепка. Опасная для них зацепка, слабое место в цепочке, самое, а вы сказали, уязвимое. А ведь Шухмин этим как раз и занялся, помните? И сразу отправился в милицию.

— А ты тоже засекал время? — поинтересовался Лосев.

— Конечно! Только незаметно. Эта штука крутится у них ровно три минуты. А по инструкции она должна крутиться семь с половиной! А то и больше. И еще. Начинают они работать на час раньше, кончают на два часа позже, чем положено, темно уже бывает.

— Это точно, — подтвердил Лосев.

— Вот отсюда и полный план, а в два раза больше — в два раза! — им идет в карман, — заключил полковник Углов. — Вот вам и не криминальная область, как мы полагали. Привыкли, что воруют материальные ценности. А тут воруют время.

— Да, механика теперь вроде понятна, — согласился Цветков. — Интересно знать, чья это голова все придумала. Давай, Лосев, твоя очередь.

— Группа тут действует довольно большая, — сказал Виталий. — А во главе, как я уже докладывал, трое. Горохов — это бандит и убийца, — с ожесточением произнес он. — Вчера мы его взяли. Второй там — Левицкий Вадим Александрович. Вадик, как они его называют.

— О! — вмешался Эдик. — Кое-что мы о нем уже знаем. Разрешите?

Цветков кивнул, и Эдик продолжил:

— Работал администратором в театре. Старейший красавец. Сердцеед. Хаустун. Тряпки обожает. Комбинирует со спекулянтами вокруг «Березки». Машина, конечно. Разведен. Жена артистка была. Сын у бабушки. Она его родителям не отдает, иностранным языкам учит. Что еще про Левицкого? Паникер, между прочим. Краснобай и паникер. Одна судимость. Какие-то «левые» концерты организовывал. Вот такой тип.

Эдик снова уселся на свое место.

— Он второй из той троицы, — заключил Лосев. — Ну, а третий — это Потехин.

— Про него давай ты скажи. — Цветков обернулся к Игорю. — Ты беседовал с ним.

— Беседовал, — спокойно согласился Откаленко. — Умный человек, хладнокровный. На пустяке не поймаешь. На серьезном тоже не просто. Думаю, его голова тут сработала. Больше никому.

— Вот это настоящий противник, — сказал Фролов. — Тут хоть борьба умов, как говорится. Не то, что все эти мальчишки да девчонки — Гошка, Майка...

— Чепуха! — сердито воскликнул Эдик. — Какая тут борьба умов, что ты говоришь! Обыкновенный хитрый ворюга, вот и все. Борьба умов, если уж ты так хочешь, началась у нас с ним заочно и уже кончилась. Он придумал «систему», мы ее разгадали. И все! И после ареста ты его прижмешь показаниями соучастников.

— Насчет мальчишек и девчонок ты, Фролов, тоже ошибаешься, — добавил Лосев. — Я, например, считаю, что это как раз главный участок борьбы. А Потехин или, допустим, Горохов... Ну, напугаем мы их. В лучшем случае в будущем поостерегутся закон нарушать. Да и стариками вернутся. А этим мальчишкам да девчонкам еще, между прочим, жить да жить. А вот как им жить, за это стоит побороться. И победа здесь будет потруднее, чем разоблачить того же Потехина.

— М-да, — кивнул Цветков. — Верно ты говоришь. Ну, а с чего ж все-таки начнем, как считаешь? — обернулся он к Углову.

— Считаю самым слабым звеном в этой троице Левицкого, — ответил тот. — Надо бы начинать с него. Но он, возможно, меньше всех информирован, вот чего я боюсь. Так, знаете, бывает. Все-таки заведующий всем комплексом — его не обойдешь. В таком случае откупаются. Начнем с него — только распугаем остальных. И тогда все концы в воду. Потехин это в два счета организует.

— Но и с Потехина начать рискованно, — покачал головой Цветков, оставив в покое свои карандаши. — Пока у них особой тревоги не должно быть. Горохов арестован за пьяную драку в ресторане, Коротков и Семкин — за драку в парке. Это все им известно. Потехин же вообще проходит как пострадавший.

— А что если начать с Горохова? — предложил Лосев. — Это и вовсе никого не напугает. Ведь никто не узнает, о чем мы теперь с Гороховым будем.

— Не пойдет, — решительно возразил Эдик. — Он не даст сейчас нужных показаний. На нем же убийство! Шутка? Зачем ему еще эти дела? Ни слова не скажет, конечно. Если уж придется признаться в убийстве, он его объяснит пьяной дракой. Бытовое, мол. А так — умысел, да какой! Нет, ни слова, конечно, Горохов не скажет сейчас, ручаюсь.

— Резон тут есть,—подтвердил Цветков и обратился к Лосеву:— А что эта самая Майя, даст показания на них?

— Нет, нет. Пока и предлагать нельзя,—забеспокоился Виталий.— Она только-только заколебалась, только засомневалась. Я с ней еще увижусь. Она должна сама решиться. А пока рано. Можно все испортить.

— Ишь, психолог,—улыбнулся Цветков одобрительно.— Ладно. Отставим ее пока. Пусть осмысливает. Что же у нас остается?

— Кажется, остается только Левицкий,—с неудовольствием ответил Углов.— А он, я боюсь, не очень-то может быть в курсе дела.

— Я думаю, он в курсе всех дел,—неожиданно заявил Лосев.

— Почему ты так думаешь? — Цветков даже перестал крутить очки.

— Вторую записку вспомнил, из того бумажника,—ответил Виталий.— Там Левицкий сам распределил доходы. И себе отвалил двадцать пять процентов. Больше всех, между прочим. Больше даже Потехина. Значит, он в курсе всех дел.

— Гм... Вполне резонно, по-моему...— Цветков посмотрел на Углова.

— Да,—ответил тот.— Пожалуй, он в курсе.

— Дайте нам этого Левицкого на двоих с Лосевым,—загорелся Эдик.— Для беседы. Никуда он от нас не денется. Все выходы закроем, точно говорю.

На том и порешили.

Если бы только Эдик знал, какой выход найдет Левицкий!

Он явился необычайно импозантный, в щегольском костюме, тщательно подстриженный и даже слегка надушенный. Высокий, статный еще, лишь недавно начавший полнеть. Породистое, мужественное лицо с крупным носом, огненные карие глаза, над ними вразлет соболиные с изломом брови, надменный поворот головы, перстень-печатка на большой холеной руке, часы на толстом, дорогом браслете. Словом, о таком мужчине могла мечтать и сходить с ума не одна женщина. Он будто был специально для этого создан природой: естественно-обольстительные манеры, обаятельная улыбка, завораживающий, чуть затуманенный взгляд, наконец, плавные, широкие жесты, словно он вот-вот готов был дружески обнять своего собеседника. Виталий без труда представил, как уверенно и победно ведет себя Левицкий с женщинами.

Однако на этот раз, возможно, в связи с малоприятной обстановкой, в которую он попал, Левицкий был заметно взвинчен и даже чуточку, самую малость напуган. Впрочем, это можно было угадать только по его глазам, на лице сияла самая дружеская улыбка.

— Приветствую вас, дорогие товарищи,—произнес Вадим Александрович с порога, глядя на Лосева и Албаняна прямо-таки с братской, хотя и несколько снисходительной нежностью.— Чем могу быть полезен героям с Петровки, тридцать восемь? — Он посмотрел на свои необыкновенные часы.— Надеюсь, за час управимся? Сегодня генеральная во МХАТе. Кстати, не желаете ли посмотреть? Прелестная вещица.

Он был, однако, слишком суетлив, эта суетливость выдавала его состояние.

— Постарайтесь управиться побыстрее,—охотно откликнулся Лосев.— Многие будут зависеть от вас самого, Вадим Александрович. Присаживайтесь.

— О, за меня не беспокойтесь, не беспокойтесь,—заверил Левицкий, опускаясь на стул и свободно закидывая ногу на ногу.— Сделаю все возможное. А что,—голос его чуть заметно дрогнул,—предстоит серьезный разговор?

— Как всегда у нас,—ответил Лосев миролюбиво.— Но сначала разрешите представиться. Инспектор уголовного розыска Лосев. А это старший инспектор Управления БХСС Албанян.

— Очень, очень приятно,—ослепительно улыбнулся Левицкий и даже сделал движение, намереваясь протянуть руку, но вовремя сообразил, точнее, почувствовал неуместность этого жеста и добавил: — Рад встретить столь симпатичных и интеллигентных людей. Очень похожи на идеальных литературных героев. Вообще-то,—он снисходительно улыбнулся,—я привык встречаться здесь на более высоком уровне. И не только здесь, разумеется, но и в домашней обстановке. Скажем, с генералом...— Он с дружеской небрежностью назвал фамилию одного из руководителей Главного управления.— Но давайте, друзья мои, приступим к делу. Советская милиция своей почетной, трудной, иной раз опасной работой заслужила уважение и любовь советских людей-тружеников. Я даже писал однажды об этом в газете.

— Прекрасно, прекрасно,—сказал Лосев.— А теперь, если не возражаете, мы действительно приступим к делу.

— Ради бога,—прижал руку к груди Левицкий.— Что вас интересует?

— Нас интересует коллектив,—начал Виталий,—который вы, Вадим Александрович, возглавляете.

— Временно.

— То есть как «временно»? — удивился Виталий.

— Я человек театра, друзья мои,—патетически провозгласил Левицкий.— Я вышел из него и вернусь туда. Меня там ждут.

— С театром, кажется, связана и ваша судимость? — осведомился Эдик.

— О, это величайшее недоразумение. Величайшее,—горестно покачал головой Левицкий.— Если угодно, спросите моих друзей...— Он назвал нескольких известнейших актеров, прибавляя к фамилиям уменьшительные имена и тем как бы подчеркивая свою близость к этим людям.— Они вам скажут, как было дело. Фемида на этот раз совершила ошибку. Напрасно ей завязали глаза, ах, как напрасно.

— Ей дана повязка на глаза во имя беспристрастия,—возразил Лосев.— Так вот, вернемся к вашему коллективу. Три человека у вас арестованы за хулиганство и драки. Это Коротков, Семкин...

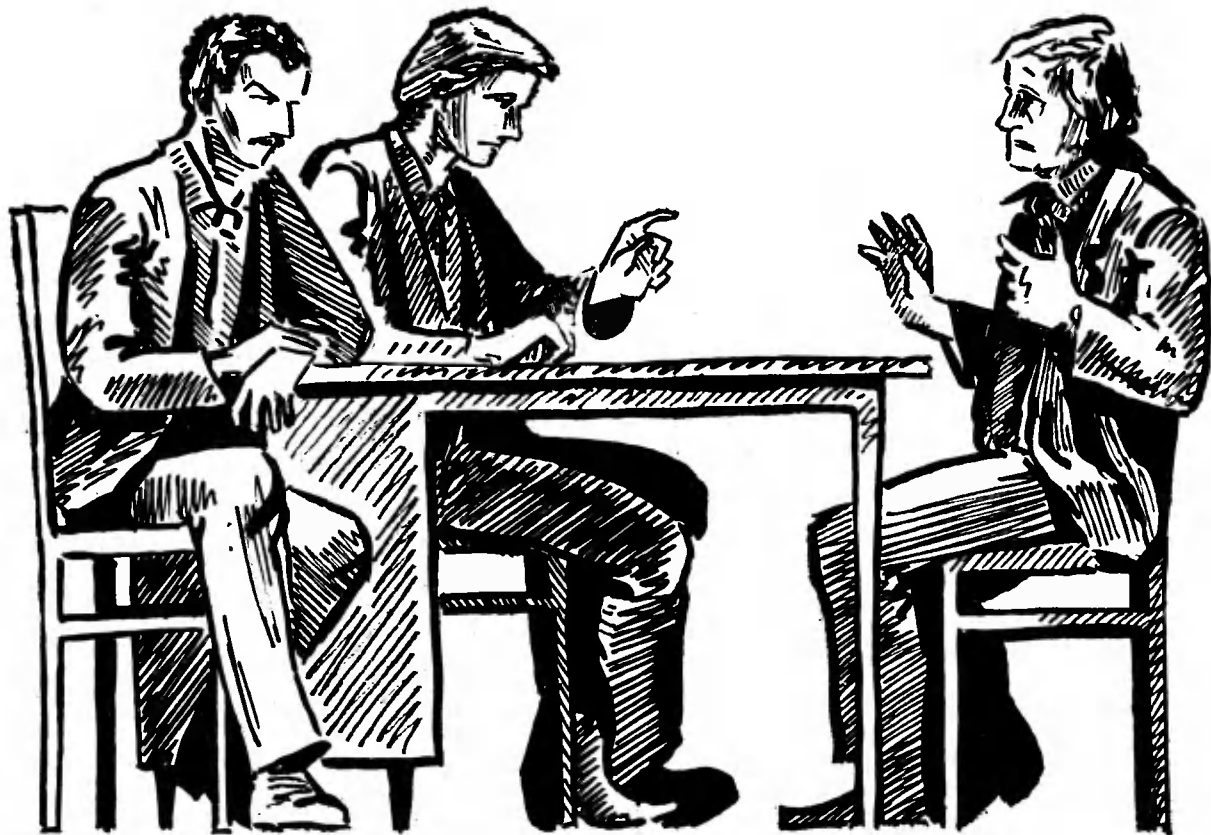
— Да, да, подонки! — брезгливо поморщился Левицкий.— Случайные люди.

— ...Горохов. Это уже механик, человек, казалось бы, не случайный. Но тоже имеет одну судимость, кстати, отбывал наказание вместе с вами, в одно время, в одной колонии. Не там ли познакомились?

— Нет, нет. Я там ни с кем не знакомился. Ровно ни с кем. Я там руководил самодеятельностью.— Левицкий заволновался.— А этот... Горохов... пришел к нам недавно. Я даже не знаю о его прошлом. Он его скрыл. Уверю вас, скрыл!

— А судимость у него, между прочим, за грабеж.

— Очень похоже. Очень! Я его узнал, к сожалению, поздно. Бандит! Суущий бандит! Уверю вас. Отца родного зарежет. И мать тоже. Шекспировский злодей.



— Как насчет отца или матери, не знаю. А вот убийство Николая Гавриловича Егорова, видимо, на его совести,— сказал Лосев, невольно вздохнув.

— Ну вот! Я же говорю! Кошмар какой-то! А за что, вы думаете, он его убил?

— А вы как думаете?

— Нет, я вас спрашиваю.

— Нас спрашивать не положено, Вадим Александрович,— отрезал Лосев.—Здесь мы спрашиваем. Ну, а теперь охарактеризуйте нам, пожалуйста, вашего главного инженера Потехина.

— Негодяй,— решительно объявил Левицкий, начиная нервничать все больше.—Обманщик, аферист, жулик!—Голос его креп и наливался гневом.—Не поручусь, что они там с этим Гороховым, понимаете, за моей, так сказать, спиной черт знает что проделывали. Я вам сказал, я в этой области не специалист. А они способны. О, они на все способны, уверяю вас. Боже, как я в них ошибся, кого я, так сказать, пригрел, вы подумайте только!—Он театрально схватился за голову, голос его дрожал.—За кого приходится отвечать! За кого!

— Успокойтесь, Вадим Александрович, вам придется отвечать только за себя,—многозначительно сказал Эдик.

Левицкий, как ужаленный, повернулся к нему.

— Что вы сказали? Отвечать за себя? Что это за гнусный намек, я вас спрашиваю? Донос получили? «Донос на гетмана-злодея»? Я не потерплю, понятно вам? И если вы верили хоть одному слову... Я не желаю с вами разговаривать! Именно с вами! С вами, с вами!

Он демонстративно отвернулся от Эдика, его всего трясло. Реакция была явно несоразмерна с тем, что сказал Эдик. Она выдавала внутреннее состояние Левицкого, его нервное напряжение, страх, наконец, панику, которая его сейчас охватила. Да, реакция была слишком сильной. И пока Левицкий находился в таком состоянии, с ним нельзя было продолжать разговор.

— Ну, зачем вы так, Вадим Александрович,— примирительно сказал Виталий.—Успокойтесь, пожалуйста. Товарищ Албанян ничего особенного ведь не сказал. Каждый отвечает за себя. Вы не исключение.

— Но как можно!.. Как можно!.. Этот тон...— продолжал кипеть Левицкий.—Я не допущу!.. Я не желаю!.. У меня тоже есть нервы! Я артист!

— Вы администратор,—сухо поправил его Эдик.

— Не ваше дело, кто я. Нет, что он от меня хочет?—Левицкий повернулся к Виталию, голос его предательски дрожал.—У меня начинает болеть сердце.—Он демонстративно стал тереть грудь под пиджаком.

— Я вас прошу успокоиться, Вадим Александрович,—решительно произнес Виталий.—Мы даже не подошли еще к главному вопросу. Вы нам пока лишь охарактеризовали некоторых из ваших сотрудников, отрицательно охарактеризовали и высказали предположение, что они за вашей спиной могли совершать какие-то махинации. Так?

— Абсолютно верно. Абсолютно,—закивал Левицкий, губы его дрожали, и он не сводил с Виталия преданных глаз.

— Махинации эти могут быть связаны с утаиванием каких-то денег, видимо. Не так ли?



Член редколлегии журнала «Юность», наш постоянный автор писатель Анатолий АЛЕКСИН на общем собрании Академии педагогических наук СССР избран членом-корреспондентом АПН СССР.

Редакция и читатели журнала сердечно поздравляют А. АЛЕКСИНА с высоким званием.

— А что же еще? Конечно, их интересуют только деньги.

— Тогда в этом должны быть замешаны и кассиры. Через них идут деньги.

— Конечно, замешаны. Одна из них, кстати, жена этого Горохова. Чудовищная женщина. Жадность непомерная, уродлива, как... как кикимора, и коварна, как колдунья. Шекспировский образ!

— А другая кассирша?

— Майя? Петаскуха. Любовница этого Горохова.

— Ничего себе, квартал, — усмехнулся Эдик. — Интересно, кто дирижер.

— А я не желаю с вами разговаривать! — раздраженно откинулся Левицкий, не поворачивая головы. — Я на вас персонально буду жаловаться генералу... Он снова назвал ту же фамилию. — Вы мне моральные пытки не устраивайте!

— Да-а, — покачал головой Лосев. — Мы даже не ожидали, что у вас такое опасное окружение, Вадим Александрович. Вернее, что вы себя окружили такими людьми. Как вы полагаете: каким образом в этих условиях может идти хищение денег?

— Понятия не имею, — нервно пожал плечами Левицкий. — Я ведь только предположил. Но я устал. Устал! Я ничего уже не соображаю...

— Вы хотите отдохнуть или, может быть, пригласить врача?

— Я хочу уйти.

— Но разговор у нас не окончен, — мягко возразил Лосев.

— Все равно я хочу уйти. Я вам напишу все, что знаю. Клянусь. А сейчас я хочу уйти, у меня больше нет сил... — Он в изнеможении откинулся на спинку стула.

Даже внешне Левицкий поразительно изменился за время этого недолгого разговора. Ничего уже не осталось от того самоуверенного, надменного и обаятельного красавца, который зашел в эту комнату всего какой-нибудь час назад. Сейчас на стуле сидел всклокоченный, обессиленный человек с посеревшим лицом, тусклыми глазами и съехавшим набок галстуком. И все это случилось во время, казалось бы, безопасного для него разговора о его подчиненных.

— Речь у нас с вами пойдет о серьезных преступлениях, к сожалению, — строго сказал Виталий. — Очень серьезных, Вадим Александрович. И должен вам сказать, что на вашем месте...

— Я никому не желаю быть на моем месте! — чуть не плача, закричал Левицкий, трагически воздев вверх руки. — Меня обманули!.. Меня погубили!.. Можете вы это понять? Погубили-или!..

— Будьте уверены, мы все выясним, кто там у вас кого погубил, — сказал Эдик. — И вот если вы нам...

— Отпустите меня, — простонал Левицкий. — Я хочу умереть дома... Я покоя, наконец, хочу! Поймите вы, ради бога! Покоя!..

— Вам нужен врач, — покачал головой Виталий. — Сейчас мы его вызовем. И вам станет легче. Тогда и продолжим разговор. Ну, а в крайнем случае перенесем...

— Нет! — воскликнул Левицкий, театральным жестом как бы отстраняя что-то от себя. — Нет! Я не желаю к вам возвращаться! Спрашивайте. Я все скажу, что знаю, — он перешел на драматический шепот. — Все, все, что знаю, что слышал, что видел, о чем догадывался... — И вдруг он снова взорвался, стукнув кулаком по краю стола. — Спрашивайте, вам говорят!

«Истерик», — подумал Виталий. — Тряпка, истерик и, конечно, жулик ко всему». Его охватила брезгливость.

— В таком состоянии с вами бесполезно разговаривать. Ладно. Поезжайте домой. Мы с вами встретимся в другой раз. Не возражаешь? — спросил он у Эдика.

— Нет, пожалуй, — согласился тот. — Успеем еще поговорить.

— Ну, хорошо же... Я уеду... — плачущим голосом с угрозой произнес Левицкий. — Я уеду... Хорошо же...

Он с усилием поднялся со стула, взял подписанный Виталием пропуск и медленно вышел из комнаты.

...Ночью Виталий поднял с постели дежурный по упрвлению. Он торопливо сообщил:

— Лосев? Быстрее собирайся. Высылаю машину. Только что сообщили: твой Левицкий выкинулся из окна. Насмерть, конечно. Восмой этаж. Оставил письмо.

Виталий примчался на квартиру Левицкого, когда там уже были сотрудники дежурной оперативной группы и местного отделения милиции. Ему показали предсмертное письмо Левицкого. В нем подробно описывалась вся система хищений, назывались имена, суммы, даты. По существу, это были развернутые признательные показания. «Будь они прокляты, — писал он. — Да, я слабый человек, я поддался. Но больше я не могу. Больше я вечером в круг не сяду. Все. Сил нет». Левицкий нашел выход, которого не учел Эдик Албанян.

В тот же день были арестованы Потехин, обе кассиры и остальные участники преступления, помельче.

Так закончилось это сложное и поучительное дело, главный узел которого оказался в области «совсем не криминальной», как выразился полковник Углов.



**ВАЛЕНТИН
КУЗНЕЦОВ**

☆☆☆

Научи меня любить
Ветра вольную работу.
Научи, как дождь, ходить
На ходулях по болоту.
Научи, как роща, петь,
Умирать учи, как птица.
Не бояться. Не краснеть
Перед первою страницей.
Растолкуй язык огня,
Объясни свободы сладость.
Научи, мой друг, меня
Из печки делать радость.
Почему олень трубит,
Почему смеется клевер?
Ты не знаешь, что лежит
У меня под сердцем Север.
Не забудь, меня учя,
Чтобы я не застоялся,
Чтоб, как песня, у плеча
Шарф дороги развевался.
И не нужен мне тулуп
В леденящие морозы.
Слово бы слетало с губ
Чистое, как дух березы.
И когда на белый лоб
Мне натянут покрывало,
Положи мне песню в гроб,
Ту, что мама напевала.

☆☆☆

И как ни тешится зима,
Как молоко свое ни тратит,
Оттают души и дома,
Когда их солнышком окатит.

Любая стойкость — до поры,
К весне весь мир меняет моду.
Зверюга выйдет из норы,
Последним снегом вытрет морду,

И в теплых дуплах и в гнезде
Опять птенцы зашевелиятся.
И на развернутом листе
Лесная мелочь будет шляться.

И дед за чаем проворчит,
Склоняя чашечку на блюдце:
«Зима худеет. Пес молчит.
Пора бы яблоням встряхнуться!»

☆☆☆

Куда все кануло, все отшумело!
На лалый лист легли дробинки мела.

Вон там, в низине, в свете бересклета,
Как полосатый цирк, стояло лето.

Плясали бабочки. Стрекозы пели.
И, как цветы, глаза твои летели

Сквозь частокол травы. И мне казалось,
Что это ты цветами признавалась:

Что будем вместе в мире мхов и сосен,
Что не страшна нам проливная осень,

Что будем жить в согласии отныне
Среди шиповника, среди полыни.

Что сбросим груз своих семейных тягот,
И станут руки красными от ягод.

И вот стою в саду заледевшим,
Осыпан сад ноябрьским мелким мелом.

Но чудится за дальней гранью где-то:
Еще играет цирк. Смеется лето.

☆☆☆

Отошла душой сосна,
Распрямилась величаво:
Стала сыпать семена
И налево и направо.
Вся цветет. Глядит светло.
И забыла, между прочим:
Что обманчиво тепло,—
Холода ударят к ночи!
Позабыла, что мороз,
Что снега-то — не солома.
Все: у ветреных берез:
Тишина, покой и дрема!
Ой, сосна — не человек!
Не тряхнешь ее за плечи.
Семена летят на снег,
А она все мечет... мечет...

☆☆☆

От этой шумной благодати —
От городского ветерка,
Ты полюби меня некстати,
Как одинокого щенка.
Ты погляди: у подаоротни
Он весь обзябший черный ком.
Ты принеси ему сегодня
Кусочек хлеба с молоком.
Он родился от дворняжки,
Он с добротою незнаком.
Ты расчеши ему кудряшки
Своим зубастым гребешком.
Не зарычит он, не залает,
А только руку лишь лизнет.
Над ним холодный снег витеет,
Его осенний дождик бьет.
Ведь что-то надо в жизни делать,
Кому-то посмотреть в глаза.
Гисать чертеж нетвердым мелом
Или любить такого пса!



**ЕЛЕНА
АНАНЬЕВА**

ТВ

●
Пройти из комнаты одной
неспышно в комнату другую,
где телевизор нецветной,
где я как будто не тоскую.
Пройти, но не перешагнуть
порог, а только встать у двери.
Шаг в будущее — и забудь
про лучшие свои потери!
Порог, граница, грань, черта.
Две комнаты — одна в другую.
Что было в прошлом! — ни черта!
А вдруг и завтра все впустую!
А вдруг!.. Застынь, остановись
на граки, на своем пороге.
Минута, час ли, год ли — жизнь,
и можно подводить итоги.
Пройти туда, где от ТВ
круг освещенного пространства,
и в черно-белой синеве
замерзнуть, замереть, остаться.
Судьба теряется в судьбе
пустой, как комната пустая.
Шаг в будущее — шаг к себе,
какая истина простая!..

●
Полюбить-разлюбить не наука.
Хорошо бы все знать наперед!
А пока бабье лето и скука
от великих столичных щедрот.
И продолжатся глупые встречи.
Бабье лето. Дела и дела.
Разлюби дурака — будет легче!
Будь что будет. Была не была.
Разлюби просто так, без причины,
потому что дождит на дворе.
Он достойный, шикарный мужчина,
как Вергилий с гравюры Доре.
И кругами бульварного ада
мы недаром ходили вдвоем —
ничего мне, мой милый, не нвдо,
погуляю один под дождем.
...Что же, деточка, все-то ты знаешь
про столичную жизнь наперед
и себя до конца понимаешь,
только депаешь наоборот!

●
Кто-нибудь! Освети, что случилось —
не случилось за прожитый час.
То, что будет, тебе и не снилось,

а что было, то было до нас.
Век что надо! Сомнения отпали.
За плечами двадцатый рубеж.
Знаем все, что случилось в Непале,
видим все, что стряслось в Бангладеш!
Смена кадров, событий и судеб.
И за кадром — судьба, да не та!
За глаза победителей судят,
а в глаза — никого, никогда!
В нашей жизни, вполне суверенной,
мы не сами себе господа.
И взрываются в черной вселенной
звезды, пюди, миры, города...

●
Герой не моего романа,
ты прав, что суета сует
вокруг обычного дивана
не стоит сношенных штиблет.
Равновеликий треугольник,
где три угла, как три сосны,
и где возлюбленный, как школьник,
спокойно спит и видит сны.
Не спи, дитя! Учи уроки!
Смвлее, мученик и друг!
Не мы, а жизнь диктует сроки,
и кое-что не сходит с рук.
Любовь бушует на экране.
Стоит, как бог, метрдотель,
как папа римский, в ресторане
сидит покойный Фернандель.
А вот и дева с кислой миной...
А ты, учащийся, смотри:
она зовет его — «Мой милый!»
Он расплывается — «Мари!»
Но мелкий собственник, иуда,
за ними пристально следит,
и вместо чуда ищет блуда,
как муж законный и бандит.
А сколько чистого убытка!
И он, ревнивец, пьет бальзам.
И безобразная улыбка
стекает по его усам.
Такой Бермудский треугольник,
что геометрия сама
подсказывает, с кем любовник
живет по прихоти ума.
Пока она коктейли цедит,
он не притронется к питью.
Его Мари его не ценит —
покурит, выпьет и адыю.
Дитя мое, учи уроки.
А что, мой милый, вот и цель.
Не я, а ты диктуешь сроки.
Не спи, покойный Фернандель!..

●
Я люблю тебя, слышишь, люблю!
Город в предновогоднем угаре.
Бабу снежную гордо леплю
перед домом твоим на бульваре.
В одиночной квартире навек
без меня невозможно и плохо!
Вот из снега тебе человек,
баба снежная — и без подвоха.
Я толкнула бы время назад,
я толкнула бы память и память...
А ведь сам будешь локти кусать,
если снежная баба растает.
Каждый раз, уезжая, печу
на подножке седьмого трамвая!
И, как снежная баба, молчу,
потому что воистину таю.



ПАВЕЛ БАРЯЕВ,

член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного
Совета СССР, лауреат премии
Ленинского комсомола, бригадир
плотников-бетоищников

*Четыре года назад,
в конце апреля 1978 года,
несколько самолетов
пересекли Полярный круг.
Триста бойцов Всесоюзного ударного
строительного отряда
имени XVIII съезда ВЛКСМ
приземлились в аэропорту Ягельный.
Только один из них, Павел Баряев,
утвержденный на съезде
командиром отряда,
преодолевал раньше эту широтную отметку.
Биография отряда началась
с того момента,
как светловолосый командир,
обращаясь к прибывшим
из разных городов страны бойцам,
предложил перевести стрелки часов
на уренгойское время:
«Отныне мы будем жить
по этому времени,
пока не сможем рапортовать
новому съезду комсомола
о выполнении задания!»
Недавно наш корреспондент
Александр Швирикас
встретился с Павлом Баряевым
в городе Новый Уренгой,
возникшем в центре
знаменитого месторождения.*

ВРЕМЯ

— Павел, на заключительном заседании XXVI съезда КПСС ты в числе других воспитанников Ленинского комсомола приветствовал делегатов. Ты заверил их, что комсомольцы восьмидесятых, «верные традиции стахановцев, будут и впредь истойчиво овладевать пролетарской наукой побеждать». Преемственность, продолжение дела старших... Как эти понятия материализуются на Уренгов и в твоей личной судьбе?

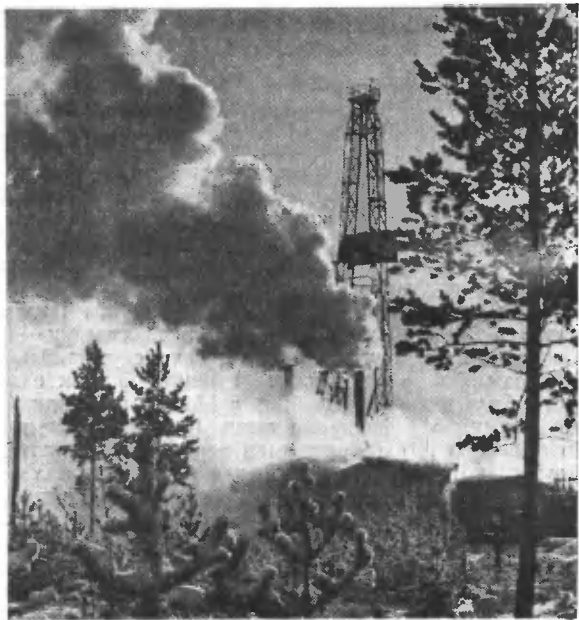
— Может быть, лучше всего переключку эпох разило одно письмо из Казахстана, оказавшееся в отрядной почте. Целинная Г. А. Смирнова-Попова пишет нам — освоителям газовой «целины»: «Дорогие мои! Завидую вам самой красивой и лучшей завистью. Буду счастлива, если хоть один из моих шестерых детей в недалеком будущем окажется среди вас».

На Уренгое «времен связующая нить» прослеживается особенно зримо. И прежде всего в делах строителей, впитавших славные традиции прошлого, черпающих в этих традициях энтузиазм, волю, упорство в достижении цели.

Как-то туляки из нашего отряда пожаловались мне на затруднения с транспортом. Конечно, я постарался исправить промашку хозяйственников, но потом рассказал тулякам один эпизод из жизни их земляка — лауреата Ленинской премии, руководителя Уренгойской нефтегазодочной экспедиции Подшибякина. Однажды Василий Тихонович летел по сроч-

На снимке: бригада Павла Баряева.

Фото В. Березина.



УРЕНГОЯ

иому делу на небольшом самолете в район, где сейчас расположен наш город. Тогда здесь была единственная буровая — «большой маяк», как называют ее и сейчас. Самолет долго кружил над заснеженной лесотундрой, но так и не смог найти место для посадки. Тогда Подшибякин попросил летчика снизиться до предела и... прыгнул в ступор на ходу.

Подшибякин не только хороший руководитель уренгойской нефтеразведки, но и незаурядный спортсмен. Когда наши монтажники на обжигающем ветру в разгар полярной ночи устанавливали конструкции спортивного зала, им казалось, что подобный объект — первенец всего Уренгоя. Вот тогда Подшибякин и пригласил друзей на экскурсию в Уренгой геологический, где еще в начале семидесятых по его инициативе «отгрохали» свой спортивный комплекс. Кстати, сам Василий Тихонович был капитаном волейбольной команды геологов и даже чемпионом округа по тундровому марафону.

— Выходит, строительный термин «начать с нуля» не совсем точен для Нового Уренгоя? Не с нуля, а с уже достигнутой ранее высоты?

— Да, первооткрыватели нашего города имели за плечами богатый опыт комсомольских ударных строек прежних лет. Урай, Игрим, Надым — вот три северных адреса Василия Даниловича Чернышова, ранее поднимавшего башкирскую нефтяную целину.

На снимке: Уренгойский пейзаж.

Фото В. Иванова.

На тюменской земле Чернышов стал лауреатом Государственной премии СССР. Не только оригинальные технические решения определяли почерк руководителя. Еще в нефтяном Урае Чернышов за счет экономичных производственных средств затеял строительство школы, крайне необходимой жителям будущего города. Только вмешательство министра уберегло его от наказания за самовольство. Переехав в Надым, управляющий производственным трестом, выполняя напряженную программу, занялся и... устройством теплиц. В то время я сам работал в Надыме и хорошо знаю, сколько молодых людей благодаря редиске, лучку и помидорам среди зимы пересмотрели намерение покинуть Заполярье.

Кстати, в Уренгое Василий Данилович тоже с первых же дней развернул обширный фронт работ на бытовых объектах. Потом создали отдельный трест «Севергазстрой». Его управляющий Юрий Александрович Струбцов не понаслышке знал проблемы молодых городов. Выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта, он возглавлял студенческие отряды москвичей в Красноярском крае. После этого работал в отделе студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. В период, когда создавались первые в стране комсомольско-молодежные тресты, Струбцов добился назначения в Надым, где стал главным инженером, а потом и управляющим «Севергазстроем». Помню, как создавался устав необычного для начала семидесятых крупного комсомольского соединения. В нем правила и принципы лучших студенческих стройотрядов. Теперь Юрий Александрович Струбцов работает в Тюмени, но не так давно на Уренгое появился прораб Струбцов, выпускник того же вуза. Павел Струбцов, сын Юрия Александровича, строит свой первый город. А начальником Новоуренгойской нефтеразведочной экспедиции утвержден Вячеслав Подшибякин. Дети первооткрывателей выросли и продолжают начатое отцами.

— Видимо, опыт первых рельефно обозначил проблемы, переходящие с одной ударной стройки на другую. Какая из них тебе, Павел, кажется самой острой?

— На мой взгляд, хроническая болезнь ударных строек — отставание с обустройством быта и досуга. Мне, например, доверили бригаду плотников-бетонщиков, занятую преимущественно на непроизводственных объектах. Не буду утомлять длинным перечнем сданных за четыре года сооружений: здесь и тот же спортзал, и музыкальная школа, и кирпичные общежития, и библиотека — все то, что именуются довольно неуклюжим сокращением «соцкультбыт». Впрочем, теперь всем приглянулось более изящное словечко «инфраструктура». Но как часто еще оно звучит с определением «неразвита»? Вот и здесь, в Новом Уренгое, мы пока не в силах совместить масштабы промысла и города, труда и быта. Наша бригада к дню открытия XIX съезда ВЛКСМ выполнит задание двух лет пятилетки. Показатель вроде бы впечатляющий. Но полной удовлетворенности у меня нет. Обязательства, реализованные под аккомпанемент «аккордов» (то есть аккордных нарядов), настраивают нас отнюдь не на бездумно-оптимистический лад. Мы знаем, как множатся проблемы, как неразвитость инфраструктуры напрямую задевает и производство. Как-то я зашел в бригаду

отделочниц, в которой работает Галина Киринова. Галия приехала четыре года назад и теперь наставница коллектива, где представлены три Всесоюзных отряда. В бригаде сорок четыре девушки, а в тот день на смену вышло всего двадцать семь. Между тем близилась сдача жилого дома. Молодые мамы вынуждены оставаться дома с детьми, ведь получить путевку в детский садик пока практически невозможно. Так отставание со строительством детского сада становится причиной многих потерь.

Как депутату Верховного Совета РСФСР, мне пришлось недавно разбираться с письмом-жалобой руководителей одного сантехнического управления на бойцов стройотряда. Из полусотни человек здесь за несколько месяцев уволилось тридцать семь. «Испугались трудностей, сбежали с Севера» — такими обвинениями пестрила жалоба. Статистика для отряда, прибывшего по комсомольскому призыву, прямо скажу, непонятная и редкая. Куда же перекочевали трудовые книжки ушедших «по собственному желанию»? Жалобщиков из отдела кадров это мало интересовало, а между тем выяснилось, что «дезертиры» обосновались по соседству. Просто в «областной» группе добровольцев сошлись бывшие водители, и вместо того, чтобы числиться подсобниками в предприятии с незнакомой спецификой, они пересели за баранки автомобилей. Так мы развеяли миф о том, что парни «не выдержали испытания». Для себя мы тоже извели важные выводы. По моему убеждению, профессиональный отбор должен начинаться не в северных широтах, а еще в местах формирования областных отрядов.

— Очевидно для вас, Павел, особенно важно, что бы работала и обратная связь республиканских, областных, городских комитетов комсомола с их полномочными представителями в краю ударных строен?

— В связи с этим я вспоминаю становление эстонской части нашего отряда. Мы наверняка потеряли бы здесь куда больше бойцов из этой республики, если бы не деятельная поддержка эстонского комсомола. С первых же дней в Новый Уренгой зачастили корреспонденты молодежных газет из Таллина, и в их статьях мы находили суждения о реальных проблемах и неизжитых трудностях. Мало того, в адрес отряда вскоре стала поступать сантехнические рулонные покрытия, электрические кабели, в ожидании которых долго простоявали наши бригады. Оказывается, по просьбе ЦК АКСМ Эстонии Госснаб республики сумел изыскать для уренгойцев современные строительные материалы. Но и «материальной помощью» не исчерпывалась поддержка эстонцами своего северного десанта. То и дело приезжали к землякам писатели, артисты, коллеги по прежней работе. До сих пор прочна связь эстонцев со своей республиканской организацией и с доброй дружбой первичных.

— Когда в Западную Сибирь направлялся самый массовый Всесоюзный ударный отряд, Леонид Ильич Брежнев так напутствовал бойцов: «Пройдет немного времени, и в этом крае при вашем участии будут созданы крупные промышленные предприятия, вырастут новые города и поселки, в которых вы станете старожилами, найдете свое человеческое счастье». Как это доброе напутствие отражается в хронике твоего отряда?

— Нам уже в привычку именоваться старожилами города Новый Уренгой. Рядом гудит промысел, где вершится газовая пятнлетка страны. Что же касается счастья — каждый хоть и понимает его по-своему, но вряд ли мыслит без личной удачи, устроенности собственной судьбы. В нашей хронике уже через несколько месяцев появилась такая запись: «Москвичи Тамара Смыслова и Евгений Пищальников, куйбышевцы Галина Миломаева и Николай Агавин —

первые молодожены отряда». Теперь же, чтобы огласить список всех, в чью честь звучал свадебный марш, потребуется довольно много места. Каждая наша молодая чета непременно едет к факелу первой газовой установки, так же, как, скажем, на Самотлоре счастливицы обязательно фотографируются у монумента покорителям месторождения. Я всегда с радостью принимаю приглашение на очередную регистрацию. Личное счастье двоих само по себе настраивает оптимистично, но ведь оно обретенное и для производственных коллективов. Несостоятельными оказались опасения, что занятый «своими» проблемами семьянин соскальзывает с орбиты общественной активности, теряет заряд инициативы. Все мы с улыбкой вспоминаем давний случай. В бригаде Сергея Стрельникова решил жениться Андрей Подбельцев. С большим трудом удалось парню выхлопотать три дня поездки в Московскую область, где жила невеста: у коллектива сложилось тяжелое положение, оно усугублялось еще и нехваткой бензина в запасных частях к иим. (Снабженцы управления только разводили руками.) Перед отлетом Андрея видели в штабе Всесоюзной ударной стройки — он подписывал там у начальства бланки с уренгойским грифом. Ребята решили, что с помощью этих бланков Андрей хочет раздобыть в Москве необходимые новой семье дефицитные вещи. Подбельцев вернулся вовремя и, едва определив невесту в общежитие, вышел на смену. Он ничего так и не рассказал ребятам о своих мытарствах в погоне за «дефицитом». Но вскоре подоспели «золотые цепочки» — только не ювелирные, а... для бензопил. Подбельцев и сейчас один из самых надежных помощников бригады, комсорг. Можно припомнить многих, для кого устройство личной судьбы стало стимулом роста общественной активности. Их решение связать судьбу с Приполярем подкреплено теперь встречной заботой о молодой семье. И это тоже помогает продолжить летопись отряда.

— «Юность» много писала о молодых городах и поселках. Мы внимательно следили за экспериментом архитекторов из БАМе. Меня интересует твое мнение, Павел, о поиске нового облика молодежных центров.

— Я думаю, в местах массового проживания молодежи должен быть полный набор услуг для проведения свободного времени. Агитплощадки и дискотеки, клубы по интересам и спортивные секции — все это должно быть максимально приближено к общежитию или группе зданий, где основные жильцы комсомольского возраста.

Помните, какой большой резонанс вызвал фильм Сергея Аполлиаревича Герасимова, посвященный судьбе архитектора, автора интереснейшей идеи «дома-города»? «Любить человека» — называлась эта лента, и в основе ее — действительный конфликт и реальный проект. Я сам видел документацию на строительство газопровода в Тюменской области, в которой предусматривался такой «дом-город» рядом с компрессорной станцией. К сожалению, потом пересмотрели место для станции, а вагон... убрали из сметы и «дом-города». Скорее всего сочли не рациональными и внушительные траты. Но то, что казалось нерациональным и, может быть, преждевременным в прошлом десятилетии, теперь стало актуальным! Знаешь, хотелось бы своими руками собрать такой «дом-город» — если не для своего отряда, то для новых ударных соединений!

...Наша беседа затянулась. Баряев смотрит на часы — миниатюрное электронное табло на руке. Быстро сменяющиеся цифры отсчитывают стремительное уренгойское время.



**ВЛАДИМИР
ЕРЕМЕНКО**

ГОД РОЖДЕНИЯ 1923



Сначала пришло большое письмо: почти целая ученическая тетрадь и машинописные листы с печатями — все это в уголке сшито нитками.

«...Владимир Николаевич, обращается к Вам солдат минувшей войны Панферов Петр Иванович, проживающий в Пензенской области, Сосновоборском районе, поселке Сосновоборске, ул. Ленина, 131, кв. 2.

...В 1941 г. в июне я пошел добровольно в армию. В первое время меня направили в Пензу, в артиллерийское училище. Но враг был силен и рвался к Москве, и вот нас, курсантов, построили на учебном плацу, и командование стало рассказывать о тяжелом положении на фронте. А потом начальник училища сказал:

— Кто хочет идти на фронт — три шага вперед.

Я в числе 71 курсанта сделал эти три шага, и нас направили под г. Горький, где формировалась 30-я ударная курсантская стрелковая бригада. Здесь меня определили наводчиком на сорокапятку. Хоть и недолго мне пришлось учиться в артиллерийском училище, а пушку эту я уже знал...

Бригаду сформировали быстро, и сразу нас бросили на защиту столицы. Вы знаете, какие сильные бои шли тогда под Москвой... А мы еще не обстрелянные, молодые, восемнадцатилетние... Фашистов к Москве не пропустили, погнав их обратно, на Запад... Но бригаду нашу курсантскую так сильно потрепало в этих тяжелых боях, что дальше мы уже не могли наступать, просто нечем было, во взводах — по 5—7 человек... Отвели нас на формирование, и мы влились в 274-ю Краснознаменную стрелковую дивизию.

В ее составе мне пришлось освобождать Московскую, Калининскую, Смоленскую и другие области. Бои тоже тяжелые были, но мы уже воевали умнее. Я очень любил свою сорокапятку и стрелял хорошо. Видно, за это мне присвоили звание сержанта и поставили командиром орудия. Теперь у меня забот стало больше. Расчет хоть маленький, а уже семья.

Наши сорокапятимиллиметровые пушки все время на передовой, а при наступлении часто в рядах пехоты воюем. Стреляем из пушки с открытых позиций и все больше на руках ее, родную, катим. Тяжелая доля у пушкарей «сорокапятки», такая же, как и у матушки-пехоты, только стреляют по нас чаще... Все подавить норовят. Вот и вся наша привилегия.

Так вот я и воевал... И опять мне вышло повышение в звании. Стал старшиной. Да и награды уже были... А главное, мы освободили свою землю от фашистов и скоро должны подходить к границе.

И вот в 1943 году случился сильный бой под Витебском. Немец пошел в атаку с танками на наш 1-й батальон. И мы отбивали их контрнаступление. Выкатили свое орудие на прямую паводку, и я успел подбить один танк. Но второй, который шел за ним, первым же снарядом накрыл нашу пушку. Я успел упасть в ровик, но второй выстрел пришлось

На снимке: Петр Иванович Панферов. Среди наград ветерана — орден Ленина, орден Славы, орден Красной Звезды. Снимок сделан 9 мая 1979 г. в Москве, на встрече ветеранов 31-й армии.

в бруствер, и меня взрывной волной выбросило из ровика. А потом ничего не помню, потерял сознание...

Позже я узнал, что и этот танк остановили из ПТР ребята-бронбойщики, а меня на плащ-палатке отвесил в санчасть нашего дивизиона. Здесь я еще был без сознания два часа. Когда очнулся, меня хотели отправить в госпиталь. Я запротестовал и упрямился командование оставить меня в санчасти. Наша дивизия наступала, и я не мог отстать от нее. Сколько прошел с ребятами, все родными стали... Но две недели меня все же продержали врачи, а потом отпустили.

Мы получили новую пушку, опять же сорокапятку. Другие уже переходили на большой калибр, а я, как начал с ней войну, так и не хотел расставаться.

Бои за Витебск шли сильные. Мы поддерживали пехоту огнем, подавляли огневые точки и все время теснили противника... Захватили плацдарм на западном берегу речки Лучесы под Витебском. Высадились прямо с пехотой здесь. Немцы дрались отчаянно — дальше уже Польша была.

15 мая в 2 часа ночи они пошли на нас штурмом, хотели сбросить с плацдарма. Прямо психическую атаку устроили. Перли валам. Но мы выстояли. Солдаты сходились врукопашную, и мы тоже брались за стрелковое оружие...

В одной из атак меня ранило в плечо. Кровь шла сильно. Меня перевязали. Голова кружится, тошнит, а лежать некогда, немцы опять пошли на наши позиции. Я стал к орудию.

В санчасть ушел, когда остановили контрнаступление. Опять та же история — прощу не отправлять в госпиталь.

— Ведь я ходячий! — говорю им.

Не послушали — отправляют. Уговариваю своего командира, капитана Воробьева:

— Не бросайте меня. Я ж все равно убегу!

Беру с него слово, если часть будут перебрасывать, чтобы забрали меня из госпиталя. Он обещал...

Бои за Витебск кончились. Нашу дивизию перебрасывают на 1-й Белорусский фронт. В госпиталь приезжает капитан Воробьев. Идет к начальству. Мне все в палате говорят: дурная затея. А я: «Не знаете вы нашего капитана Воробьева».

Что он там говорил начальству госпиталя, не знаю, только врывается в палату красный, как рак. — Соберайся! — и кидает мне обмундирование. Я его в охапку, шинель на плечо здоровое и в машину...

Долечивался в медчасти своего батальона.

А потом опять пошли бои. Форсировали реку Западный Буг, Вислу и другие... Какие, сейчас уже позабыл. Особенно жаркие бои шли на Висле. Никак не могли сбить здесь противника. Наступали вместе с Войском Польским, освобождали их родину. Погибло там нашего брата много. Мы, пушкари сорокапятки, вместе с пехотой все в первых и первых рядах. И переправлялись через Вислу первыми, прямо на головы немцам высаживались. Наши старшие братья — крупный калибр — за нами, а мы на плечах у противника. Нам все было первым — и слава, и ранения, и смерть. И грудь в крестах и голова в кустах.

За бои на Висле и за ее форсирование меня представили к званию Героя, но получил я орден Ленина. А всего за войну у меня тринадцать правительственных наград.

После войны еще два года прослужил в армии, но чувствовал себя все хуже — открылись головные

боли — контузия-то моя, что была под Витебском, стала вылезать наружу.

В 1947 году демобилизовался и по 1951 год работал токарем. Здоровье мое вроде выправилось. Ведь молодой был — 25 лет, но затосковал на гражданке, и летом 1951-го меня опять призвали в армию.

Я уже был в звании младшего лейтенанта. Назначили заместителем командира батареи по политчасти. Учил молодых ребят, таких, каким я сам воевал. Но прослужил только до августа 1953 года. Головные боли усилились, и меня признали «не годным к службе в строю».

С тех пор я на гражданке. Несколько раз лежал в больнице. Но здоровье улучшалось плохо. До пятидесяти еще как-то тянул, а сейчас стало ухудшаться.

Затеял я оформлять пенсию по ранению, да заминка выходит. Нет документов о контузии, а болезни у меня от нее. Посоветуйте, как мне быть, может, можете определить меня в тот институт на исследование, где лежал Иван Иванович Мельников, про которого Вы писали¹. Подскажите.

Участник минувшей войны — Панферов П. И.

5 февраля 1980 г.»

Еще раз перечитываю письмо, и меня обжигает чувство вины перед этими людьми. Год рождения — 1923-й... Из каждого ста, родившихся в этом году, с войны вернулся один. Только один, из ста! Трагическими считаются и 20-й, и 21-й, и 22-й годы. Здесь почти та же печальная статистика. Но 23-й — самый горемычный! Восемнадцать лет. Десятый класс. Выпускные вечера в ночь на воскресенье 22 июня. Старшие на год-два были в армии. Их учили военному делу. У них хоть какой-то солдатский опыт, а у этих только порыв да святая уверенность, что именно он должен сделать три шага вперед из строя...

«...Подарили мне Вашу книгу. Очень разволновался, когда ее читал. Особенно, как вы помогали фронтовикам. Мы же, когда воевали и были молодыми, не заботились о справках из госпиталей...»

Да, такое уже было и с другими фронтовиками, какие обращались ко мне. Закон есть закон, и для получения военной пенсии по инвалидности обязательно должны быть документы, подтверждающие ранение или контузию на фронте, которые привели к заболеванию.

«...Проходил комиссия ВТЭК, районную и областную... Невропатолог сказал, что такое бывает от контузии, а подтверждения в документах нет...»

Читаю письма ветерана и вижу сцену, которая вызывает во мне боль.

— Ничем не могу помочь, — пожимает плечами врач я, поворачиваясь к двери, выкрикивает: — Следующий!

— Нет медицинской справки, — говорит работник собося. — Заниматься вами не будем. Нам нужны документы...

Формально да и по существу все правильно. Есть служебные инструкции, в рамках которых поступают эти люди и, как говорится, чего вы от них хотите, товарищи... Внимания хочу! Обыкновенного человеческого внимания!

Стали искать с Петром Ивановичем его фронтовых товарищей, тех, кто мог подтвердить его контузию. Не так уж это и трудно. Существуют Советы ветеранов воинских частей. В них нашлись добрые, отзывчивые люди. Они помогли разыскать тех, кто воевал рядом с Панферовым под Витебском в 43-м. Завязалась переписка...

¹ В. Еременко. «Страницы памяти». Издательство «Молодая гвардия». 1979 г.

А потом пригласили его в Москву на встречу ветеранов 31-й армии. Сколько неожиданных встреч, горячих, сбивчивых разговоров, объятий сроднившихся на войне и расставшихся после нее на десятилетия людей. Уже одно это оказалось волнующим до слез.

А вот и бумаги, столь необходимые ветерану бумаги, о которых не думалось в 43-м.

«Под Витебском в 1943 году во время танковой атаки противника на наш стрелковый батальон тов. Панферов П. И. подбил из своего орудия один танк прямой наводкой, а второй танк противника разбил его орудие. При взрыве тов. Панферова П. И. контузило, даже выбросило из укрытия, и он потерял сознание, его отправили в санитарную часть 150-го отдельного противотанкового батальона на лечение. Недели через две тов. Панферов П. И. снова вернулся в строй, в свой отдельный противотанковый батальон, где участвовал в боях на реке Лучеса, западном берегу, и где снова был ранен в ночной атаке немцев. Бои в том направлении были тяжелые, и наша 274-я стр. дивизия выполняла главную задачу на Витебско-Оршском направлении.

Бывший командир 1-го стр. батальона, 961-го стр. полка, 274-й стр. дивизии, Герой Советского Союза, гвардии полковник запаса

В. И. Кряжев».

Внизу круглая печать Слободского объединенного горвоенкомата Кировской области, где Кряжев работает ныне директором вечерней школы, и приписка:

«Роспись тов. Кряжева В. И. заверена, Слободской горвоенком, подполковник Дуваев».

Второе подтверждение пришло от Михаила Митрофановича Резника.

«Я, лейтенант в отставке, Резник Михаил Митрофанович, подтверждаю следующее: участвуя в боях в действующей 31-й армии, 274-й дивизии, 965-м полку в должности зам. ком. роты противотанковых ружей по политчасти, т. е. политрука, в 1943 году действительно лично видел и знал, как и другие товарищи, что командира расчета 45 мм орудия старшину Панферова Петра Ивановича контузило и его в бессознательном состоянии взяли военные медики и эвакуировали с передовой и где-то лечили. Орудие было разбито, а мы из своих противотанковых ружей вблизи вели огонь по танкам».

Свидетельство М. М. Резника заверено 1-й Николаевской государственной юстиционной конторой.

Даже получив эти документы, предстояло немало хлопотать. Но это уже были хлопоты реальные, которые для Петра Ивановича обернулись радостью, достижением того, чего он добивался. Радость эта пришла не только в дом ветерана, ее переживали и те, кто ему помогал.



Поэзия



ЕВГЕНИЙ
ЧЕПУРНЫХ

☆☆☆

Все окончится праздничным пеньем
Петуха, копытаньем ветвей
И не громом небесным, а тенью,
Что несет под собой воробей.

Обернешься:

мол, что там в итоге!
И увидишь в мелькании дней:
Тихо лошадь идет по дороге,
Позабыв, что телега за ней.

Вдох баяна,
крыльцо золотое,
Куст сирени, поленица дров.
И сидят на завапинке двое —
Жизнь и Смерть,
Как сноха и свекровь.

Как серьезные люди большие,
Не спеша,
без улыбок и слез,
Все они за меня порешили
И на этом закрыли вопрос,

А казалось когда-то, что вечность
Для его разрешенья нужна.
И хоть время
течет в неизвестность,
Дорогая у жизни цена.

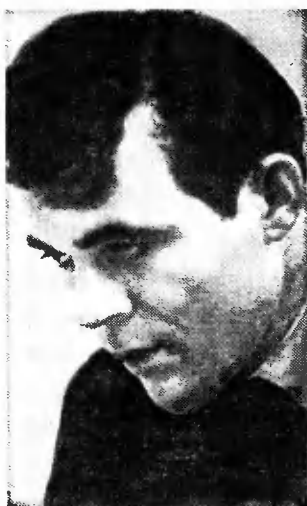
☆☆☆

Лишь одной обладаю виной —
Это странно порой и уныло, —
Что любовь наша с женщиной милой
Младше женщины этой самой.

Как она и смеется и шкет,
Как смакует черемухи горстку,
Воду как удивительно пьет,
Словно птичка, за час по наперстку.

И грустит, словно впад в забытье,
И щебечет какое-то слово...
Неужели я стою ее,
Коль на локоть поближе чужого!!

Вот она закурила опять,
Вот она на прощанье кивает.
Это странно. Но это бывает.
И молчок.
И о чем горевать!



ЕВГЕНИЙ
ДВОРНИКОВ

«Я учил вас править лодкой...»



С о стороны площади мы вошли в пустынную улочку. Дома плотно прижимались друг к другу, оставляя там, над головой, совсем небольшой просвет. Эхо шагов причудливо металось меж гулкими стенами, пока не замирало где-то у верхних этажей.

— Как называется улица?

— Лайпу, — ответила Эльза Карловна. — Ну, на русский можно перевести так: «Мостки». Нет, нет... — Она задумалась. — «Доски через ров» — так точнее...

Улица кончилась, и мы оглянулись. Несколько десятков метров в теснине Старого города Риги.

— Словно тоннель, все видно из конца в конец, — сказал я.

— Как прожитая жизнь, — с неожиданной серьезностью ответила Эльза Карловна. — Когда человеку за шестьдесят, жизнь становится видной из конца в конец.

Потом мы поднимались по ступеням старинного дома. На лестничных площадках глаза слепили золотисто-желтые витражи. Солнце едва касалось их, но впечатление было такое, будто оно вливается сюда, и оттого лестничные пролеты обретали стремительную легкость.

Вот и дверь университетской лаборатории. На стене щит с кнопками. Эльза Карловна набирает трехзначный код — и за дверью послушно щелкает замок. Автоматика в обрамлении витражей? «Мостки» между веками?

Молодые люди в белых халатах. Громады шкафов с рулонами чертежей. Приборы с подрагивающими стрелками и светящимися экранами. Микросхемы на столах, в руках пинцеты. Массивная лазерная труба, укрытая чехлом в ожидании эксперимента. Деловая тишина деловых людей: вместо приветствия — легкий кивок головы... Откуда-то из соседней комнаты — тонкий запах кофе.

— А вот мой кабинет. — Эльза Карловна осторожно приоткрывает дверь. — К нему я привыкла, как к собственному дому. Но теперь здесь Другой хозяин. Не думала, что из этого мальчишки, с упоением гонявшего бездумную шайбу, когда-нибудь получится толковый физик. Но видит бог...

Из-за стола навстречу поднимается мужчина с ежиком волос, лет сорока, может быть, чуть больше.

— Марис Янсон, — протягивает он руку. — Воспитанник и прямой наследник профессора Краулини.

— А иакурил, Марис! — совсем по-домашнему принимается бранить Эльза Карловна.

— Может, это особый вид энергии атомов, еще не открытый ни нами, ни мной?

Они смеются — коротко и примирительно.

— Увы, за свою жизнь человек не успевает сделать все, что хотел бы, — задумчиво говорит Краулини. — Одна надежда: на тех, кто идет следом. А у этих, — она кивает в сторону Янсона, — на тех, кто за ними. Так устроена жизнь, в этом ее радость и бесконечность.

С высоты четвертого этажа открывается вид на старую Ригу. Глухие дворы-колодцы, островерхие черепичные крыши, избегающие друг на друга, а там, за крышами, голубые проблески Даугавы... Я смотрю

рю на город глазами приезжего, Марис — глазами коренного рижанина, изрядно привыкшего к этой панораме, Эльза Карловна — глазами воспоминаний. Иначе она не сказала бы:

— Когда после освобождения Риги я снова вернулась сюда, на церкви Петра, той самой, что перед нами, семидесятиметрового шпиля уже не было. В один миг война разрушила то, что существовало века.

Мы молчали.

...Странный был этот день. Доктор физики Краулина предложила показать мне свой город — сегодняшний, не вчерашний. Отчего же то и дело возвращались мы памятью в минувшее? И эти «Доски через ров», и деревянный шпиль, летящий с купола, будто в пропасть, и жизнь, которая открывается из конца в конец, подобно короткой улице... Почему это в нас? Разве нельзя отсечь пройденное? Или хотя бы на время отвлечься от него, бродя по городу просто так? Оказывается, нет: пока жив человек, жива и его память.

— Хотите, покажу городской каюл с мостиком возле парка Кронвалда? — предложила Краулина, когда мы снова вышли на улицу. — Это тихий уголок с бывшим университетским корпусом.

Я не знал, что с этого момента мне откроется уже не город, а судьба, ее судьба.

...Утром Карл сказал:

— Может случиться, Эльза, что мне понадобится смена белья. Приготовь на всякий случай узелок. Что-нибудь поношенное, для леса. Под Ригой немцы, кажется, выбросили парашютистов. Я вызвался участвовать в ликвидации десанта. Не волнуйся, все будет нормально.

Он был спокоен, говорил так, будто речь шла о каком-то загородном пикнике. Старался не встретиться взглядом. Перед тем как уйти, подошел, обнял за плечи.

— Побывай в университете, узнай, какие новости там.

Дверь чуть слышно затворилась. Все было, как обычно, когда Карл уходил на работу в издательство. Эльза еще не знала, что в этот день им предстоит оставить Ригу.

Она собрала узелок, поставила его на самом виду, возле входной двери, и поспешно сбежала по ступенькам лестницы. Город ее поразил. У людей какие-то озабоченные, торопливые взгляды. Вот и улица, по которой она обычно ходит в университет... Перекрыта? И соседняя тоже? Ах, вон в чем дело: пропускают колонны солдат. Почему же они спешат к восточной окраине? Отступают? Неужели? И на дверях магазинов — замки...

В университетском коридоре стояла тишина. Такая нехорошая тишина, какой не бывает даже в каникулы.

Эльза поспешила домой. Узелок с бельем все так же стоял у двери. Зазвонил телефон. Это Карл. Голос его был отрывистым.

— Никуда не отлучайся. Я заеду за тобой.

Вскоре возле дома остановился грузовик, набитый людьми. Кто с рюкзаком, кто с легким чемоданом. У мужчин на плечах винтовки. Карл перескочил через борт кузова и спустя миг был уже в дверях.

— Ты готова? Машину выделило издательство. Надо уезжать.

— Скажи, дела совсем плохи? — Эльза с тревогой остановила его.

Он попытался успокоить.

— Да вст. Но из Риги придется уйти. Только не думай, что надолго. Вскоре вернемся, вот увидишь.

Они успели проехать всего несколько кварталов, когда услышали выстрелы. Кто-то полоснул очередью с верхнего этажа дома. В кузове пригнулись: Потом подыали головы и осмотрелись: не ранен ли кто?

— Подонок из «пятой колонны».

— Решил, что пробил его час.

— А куда едем?

— Говорят, велено пробираться к шоссе, ведущему из Псков.

Что будет потом, толком не знал никто. Наступало 27 июня, пятый день войны. Только пятый день...

В Пскове сформировали эшелон. Через несколько суток товарняк добрался до Северного Урала.

— Вот и пришел час, когда нам надо расстаться, — сказал однажды Карл. — Создается Латышская стрелковая дивизия. Я подал заявление. Ты всегда меня понимала. Поймешь и теперь.

Это было неожиданно. Конечно, Карл поступил так, как подобает мужчине, в этом Эльза не сомневалась. Но что ожидает ее? В России никогда не жила, языка почти не знает. И эта разлука — спустя несколько месяцев после свадьбы...

Ей было жутковато. Вдали от родных, теперь вдали и от мужа... Еще недавно Карл говорил: в Ригу они вернутся чуть ли не через день. Теперь об этом ни слова.

— Уот какое свадебное путешествие получилось у нас с тобой, — сказала она тихо. — И кто знает, свидимся ли.

Они обнялись.

...Поселилась Эльза в небольшом селе Кстинино — в царстве лесной тишины. Фронт был так далеко, что временами казалось: никакой войны нет.

Приходили новости, которым Эльза почти отказывалась верить. Обыски в сотнях рижских квартир? За один день арестована чуть ли не тысяча человек? Тридцать расстреляны при попытке к бегству? На месте Советского бульвара — аллея Немецкого ордена? Спешно меняют названия других улиц — дают имена Бисмарка, Розенберга, каких-то немецких майоров...

Она брала в руки косу и вместе с другими беженками отправлялась на окраину Кстинина — там вымахали густые, сочные травы. Коса ходила плохо, то зарывалась острым концом в землю, то рикометила, натываясь на тучные стебли. На покосах Эльза не уставала, а если и начинали гудеть руки, — спокойней было на душе: хотя бы не зря прожит день.

Хуже стало потом, когда в колхозе кончились уборочные работы и подступили ранние холода. Зима выдалась по-уральски крутой. Морозы под пятьдесят. Беженцы кутаются во что попало. Лапником затыкают щели в стальных стенах.

Эльза вспоминала Кронвалдский парк, его студенческое многоголосье, в аллеях — шаги Карла, поджигающего ее. Как давно это было!

Эльза вышла замуж за человека гораздо старше себя. Философ и писатель, Карл увлек ее, студентку, своими обширными познаниями. Ей нравился его свободный и острый ум, умение одним решительным выводом высекать искру истины, до сих пор неведомо где дремавшую. Она могла часами слушать его. Карл говорил, что социализм — это так же неизбежно, как весна после зимы, что новая Латвия превзойдет буржуазную своей нравственностью, что

полнота счастья измеряется способностью посвятить себя идее, в которую веруешь...

Девушка строгого, почти аскетического воспитания, не привыкшая к ухаживаниям, Эльза чувствовала, как нужен ей этот человек. Он вселял веру в справедливость — именно в то, о чем она мучительно думала сама. С каждой встречей росла потребность видеть Карла. Они и поженятся как-то так, без объяснений. Молчаливо поняли, как нелепо им расставаться.

И вот теперь она жила в таежном русском селе, приютившем латышей, и не знала, в чем смысл этих долгих и однообразных дней, какая польза от того, что она в безопасности...

— Комсомола? — спросили ее однажды.

— Да, вступила в университет перед самой войной, билет получить не успела.

— Получишь потом. А сейчас, Эльза, предлагаем тебе поехать на курсы активистов. Когда в Латвии восстановим народную власть, займешься работой среди молодежи. Надо готовиться. Курсы — в Кирове. Там много наших товарищей: члены партии, профсоюзные работники. Ну, как?

Конечно, она согласна. Это не лапником затыкать щели и не отсиживаться в глуши, пока на дорогах войны мужает победа. Спасибо, что подумали о ней.

Курсы оказались политическими: история партии, международное положение, экономика. В библиотеке Эльза Крауляя набирала книги на дом, прилежно читала все, что требовалось, и даже больше. Любознательность была у нее в крови. Но теперь речь шла не просто о знаниях впрок: все это понадобится сразу, как только они вернутся в Ригу. Может быть, на перроне вокзала будет митинг и ей дадут слово. Или отправят на завод. Или в деревню... Она не знала, как это начнется — возвращение, но не сомневалась в одном: встреча с Латвией случится скоро.

Она ошибалась. Сперва будут другие будни. Совсем другие.

— Освобожден Калинин. Город в развалинах. Ты, Эльза, — готовый политический вожак. Назначаем тебя инструктором. Задача конкретная — организация военных кружков молодежи в прифронтовых районах.

— Военных? — растерялась она. — Но ведь у меня международные отношения...

— Военное дело сейчас и есть международная политика. Если чего не знаешь, заглянешь в книги.

Инструкторы поселились в полуподвале. Днем Эльза пропадала на заводах, по ночам при тусклом свете читала наставления, методические рекомендации, брошюры по гражданской обороне. Это не Стендаль или Райнис. Но надо. Она уже научилась понимать язык военного времени.

Письма от Карла приходили не часто. Он писал, что служит фронтовым корреспондентом. Если бы Эльза могла представить пекло под Старой Руссой! Дрожала без роздыха земля, была дальняя и ближняя артиллерия, деревья в лесу стояли без веток — обугленные, черные. Враг цеплялся за каждый бугорок, овраг, лошину. И там был Карл... В его письмах она ничего об этом прочитать не могла. Муж не любил подробностей. Он и сам не спрашивал, чем занята она в Калинин. Только догадывался и, судя по всему, радовался за нее.

Как-то в комнату полуподвала вошел высокий, представительный мужчина: взгляд серьезный, темные редящие волосы, волевой подбородок, тонкая оправа очков. Себя не назвал, но Эльза видела его

среди латышских коммунистов там, на Урале, да и в Москве, куда ездил по вызову.

— Здравствуй, хозяйка, — сказал он, по-свойски присаживаясь на табурет. — Явился к тебе по рекомендации наших товарищей. Дело такое...

И начал рассказывать, зачем пришел.

— Я согласна, — ответила она, когда гость кончил говорить и поднял на нее спокойные испытующие глаза. — Мне в самой казалось, что могу сделать больше.

В ответ он долго молчал. Потом:

— Ты хоть понимаешь, о чем идет речь? Через линию фронта...

— Думаете, не справлюсь?

— О задании ничего конкретного пока сказать не могу, должна меня понять. А вот отправиться в Москву я бы тебе предложил.

И закончил по-домашнему просто:

— Спасибо за все. И до скорой встречи.

Он поднялся, статный, подтянутый, и неторопливо вышел за порог, даже не оглянувшись.

Потом, в Москве, Эльза узнает, кто он, ее недавний гость: секретарь ЦК Компартии республики Эрнест Америкс, один из организаторов латышского партизанского движения в тылу врага.

В Москве Эльзе дали новое имя — «Ирма». Сменила фамилию — «Миезис». Портной снял мерку и вскоре вручил платье из крепдешина с цветами по белому: отложной воротничок, короткие рукава. Такого удачного у нее, пожалуй, никогда не было.

Я видел этот наряд подпольщицы на фотографии, которая хранится в Риге, в республиканском Музее революции. Платье и впрямь к лицу: легкое, беззаботное. В таком самый раз гулять по солнечному городу, но Ирма снята в мрачном лесу за дощатым столом, где только походный ящик с литерами. Рядом — наборщик: гимнастерка, портупея через плечо. Они готовят очередной номер...

— А это платье я купила много лет спустя, перед тем, как поехать на международный конгресс. До чего переменчива мода, правда?

Сегодня Эльза Карловна в деловом, «кафедральном» платье, и я представляю, как она поднимается в нем на трибуну. «Атомные столкновения» — тема ее сообщения, первой женщины-физика, удостоенной в Прибалтике докторской степени. Никаких оборок, никаких цветов по белому — одежда предельно строга, как и сам предмет исследований.

«Атомные столкновения», «удары второго рода», «механизм передачи энергии»... Физики мира слушали эту женщину в Амстердаме и Бостоне, в Белграде и Сизтле, в Москве и Дрездене. Соглашались или оспаривали, принимали ее выводы или отвергали, но всегда это был сугубо научный разговор. Да и как иначе на конгрессах и симпозиумах? Но едва я слышу в устах Крауляни эти два слова — «атомные столкновения», — ломаются представления о чистой науке. Возникает нечто большее: человеческая судьба, сама рожденная в столкновениях. Не атомов — миров.

...Перед отправкой во вражеский тыл Ирма училась всему, что требовалось: стрелять из автомата, метать гранаты, минировать. Их было больше ста человек, кто готовился пересечь линию фронта. В основном направлялось подкрепление партизанам, но некоторые шли со специальным заданием. На вокзале она слышала, как командиру группы было приказано «В ваших руках судьба Ирмы. Отвечаете головой, чтобы она добралась до места назначения».

Освейские леса.
1943 год.
Эльза Краулиня
за набором
очередного
номера
подпольной
газеты.

Фото
из архива
Музея
революции
Латвийской ССР.



До фронта оставалось километров пятьдесят, когда их высадили с поезда в Великих Луках. Дальше нужно было идти пешком. Под плащ-палаткой — рюкзак с боеприпасами и продуктами: сыр, колбаса, консервы, шоколад... Пыль от тяжелых сапог въедается в кожу лица. По щекам, пощипывая, ползут струйки пота.

Коридор через вражеские заграждения для них готовили заранее. Именно к нему выводил группу командир. Пошли. Их заметили. Открыли огонь. Пришлось отступить. Не повторять же вчерашнюю ошибку: здесь пытался проникнуть отряд эстонцев. Мало кто уцелел.

Оставался один выход — забрасывать группу самолетами. За несколько рейсов. По ночам.

Когда внизу засветились костры, Эльза с ужасом подумала: что сейчас произойдет? Ведь никогда не прыгала с парашютом. Линию фронта готовилась перейти пешком, а тут... «Пошел!» За спиной что-то щелкнуло, рысак — и над головой напряглись невидимый купол. Откуда-то словно из небытия доносились жесткие слова инструктора: «Помните, приземляться — на правый бок, на левом у вас гранаты». «На правый, на правый...» — повторяла она, как заклинание. Потом ощутила сильный толчок в ноги, и по траве прошел шелест парашютного шелка. Открыла глаза: перед ней стоял офицер в фашистской форме. Мгновенно схватилась за автомат, но офицер опередил ее, прокрича по-русски: «Ты что? Свои...»

В Освейских лесах, что у стыка Белоруссии, России и Латвии, раскинулся обширный партизанский край. В декабре 1942 года сюда прибыл Латышский партизанский спецотряд. Он был невелик. Но задача стояла важная: закрепиться в этих лесах любой ценой, чтобы подготовить базу для приема оперативной

группы ЦК компартии республики. С отрядом прибыл тогда и член ЦК АКСМ Латвии Имант Судмалис.

Готовили базу и действовали. В крупных операциях — вместе с другими отрядами, в небольших — самостоятельно. Громили вражеские кордоны, устраивали засады. Особенно удачными были рейды ударной группы Судмалиса.

Гитлеровцы направили против отряда три батальона карательной экспедиции. Но ранняя весна 43-го помешала им осуществить задуманное. Потеряв несколько подвод с боеприпасами и около сотни убитыми, немцы в конце концов отошли по раскисшим дорогам. Отступая, расстреляли больше трех тысяч деревенских жителей — подозревали в связях с партизанами. Но покончить с отрядом так и не удалось.

Летом 1943 года в Освейских лесах обосновались две оперативные группы: ЦК партии и ЦК комсомола Латвии. Ирма Мнесьис должна была приступить к изданию подпольной молодежной газеты.

Она повстречала эту повозку на лесной дороге, когда направлялась в штаб отряда. Лошадью правил парень. На голове щегольская фетровая шляпа, глаза веселые, вожжи держит небрежно, то прицоклет, то примется напевать. Подумала: должно быть, загулял. Ишь, франт. Ему и война не война.

Парень остановил лошадь, едва Ирма поравнялась с телегой. По акценту поняла: латыш. Наверное, беженец. Неплохо ему живется, коли так беспечен.

Тогда она не знала, кто он. Не знала, что парень готовится для работы в рижском подполье и входит в роль, которую себе придумал. Все это станет яв-

ным потом — и его отзвук и само его имя: комиссар Имант Судмалис.

Тем летом они подружились.

— Значит, просишь, чтобы и тебе помог? — Кажется, он загорался от любого задания. — Написать для клеше название газеты? Что ж, лучшего мастера тебе и впрямь не сыскать. С таким почерком, как у меня, работать только в регистратуре для молодых людей. Вот кончится война, попрошусь.

Он балагурил легко, без натуги, и в озорных глазах было столько доброты. Вскоре явился в полутемную землянку, протянул руку.

— А ну, выбирай. Написал три варианта, один другого удачнее. Тяни на счастье...

Потом пришел прощаться. Уезжает из Освейских лесов.

— О себе-то память я оставлял. Глянешь на первую страницу: «Яунайс латвиецис» — мой почерк. А что подарить мне ты?

Ирма порылась в рюкзаке и достала компас, привезенный с собой из Москвы. Совершенно новый.

— Нет, так не годится, — возразил Имант. — Как же тебе без этой штуки? — И вдруг счастливо: — Знаешь, возьми в обмен мой. Он хоть и старенький, с оборванным ремешком, а не врет. Возьми.

«Не давайте оккупантам ни зернышка хлеба, ни капли молока. Прячьте в лесах любые припасы, уводите скот, чтобы ничего не досталось врагу.

Вас хотят угнать в Германию? Спротивляйтесь, как только можете. Вас ведут под конвоем? Охрану можно обезоружить и уничтожить. Многое можно сделать, надо только сознавать, в какое рабство толкают латышей враг.

Напрасно кто-то верит в германский рай. Фашисты высосут из обманутых все трудовые соки и потом выбросят на свалку за ненадобностью. Латвия в планах Гитлера страна, пригодная только для ограбления, а всякий латыш — презренный третьесортный человек. Об этом фашисты говорят открыто. Не верьте их лживым посулам. Будьте верны своей единственной Родине, присоединяйтесь к тем, кто громит ненавистных завоевателей.

Вас насильно заставляют работать на Гитлера? Тайно портите станки, любое оборудование.

Вас уговаривают вступать в национальные легионы СС? Ни за что не делайте этого. Неужели вы хотите братоубийства? Неужели станете на тропу позора и бесчестия?

Красная Армия гонит врага. Фронт у самых границ Латвии. Наступает решающий час. Юпоши и девушки латышских городов и сел, к оружию! Наша победа близка!»

...Выпускать «Яунайс латвиецис» («Молодой латыш») оказалось для Ирмы делом нелегким. Приходилось осваивать сразу два ремесла: журналиста и издателя. Сама писала заметки, редактировала, верстала, возилась с литерами. Хорошо, если укрывал полог землянки, а бывало, радовалась мало-мальски ровному пию или поваленному дереву. Газета должна выйти в срок — этот закон Ирма старалась блюсти, и запах типографской краски, только что проступившей на листе, был сродни для нее запаху мстительного пороха.

Уходили на задание разведчики, отправлялись в рейд партизаны — вместе с прокламациями и листовками они забирали пачки свежего номера газеты. На первой странице рядом с боевым кличем «Смерть фашистским оккупантам!» взывали слова: «Прочти и передай другим».

...Как-то, выследив партизан, немцы всерьез решили разделаться с ними. Пришлось спешно отходить. Газета была уже набрана, и литые строки, сбитые в столбцы, ждали только краски. Ирма ехала в подводе ухабистой лесной дорогой и сокрушалась: готовая полоса рассыпалась на отдельные буквы. В землянке, при свете коптилки все придется начинать заново. Она-то знала, какая это муторная работа — у наборной кассы. Но что делать... Даже города иногда берут дважды и трижды.

Отходили болотами, вязли в ржавой жиже... Шли день и ночь, ночь и день. Без сна и еды. Пересекли линию фронта, прорвались к своим. А потом — снова во вражеские леса.

...Передо мной еще одна фотография той поры. В сборе почти вся редакция дивизионной газеты «Латышский стрелок». Минута отдыха. Неярко горит лесной костерок. Кто-то сушит сапоги, кто-то задумчиво смотрит на подрагивающий огонь. Двое чему-то улыбаются в оживленном разгоне между собой. Крайний слева — Карл Краулиньш. В гимнастерке без ремня, с расстегнутым воротом, руки в карманах галифе... О чем думает он сейчас, в этом сыром настоженном лесу?

Завтра, как и вчера, ему пробираться на передовую, чтобы в тот же день вернуться с репортажем в номер. Его книги — они будут потом, сейчас нужен репортаж с боевых позиций. Это важнее.

...Был момент, когда Карл и Эльза находились недалеко друг от друга. Несколько часов езды на машине, всего-то. Но они так и не встретились: бои...

Один факт в судьбе писателя меня поразил. На войне он задумал книгу для детей. И написал ее в перерывах между дивизионными репортажами. Это оказалось... букварь.

Букварь — под пулями!

Близилось первое сентября. Такой памятный день! Не будь фашистов, в школах начались бы занятия. Если бы Ирма могла сейчас войти в класс, что сказала бы детям этого неслыханно горького времени? Вот о чем она думала, шагая однажды по опушке леса. С холма открывался вид небольшого городка, едва проступающего из зыбкого тумана. Где-то рядом вспорхнула и защебетала птица, предвещая погоду. Ирма устроилась у орешника, взяла в руки бумагу, карандаш. Написала заголовок: «Школа и борьба за свободу». Что теперь? Хотелось найти слова, обжигающие болью и гневом, — простые, обычные и все-таки удивительные слова.

И вдруг вспомнила стихи. Это была давняя история латышского учителя, расстрелянного немцами баронами. В предсмертный миг он обращается к детям: «Я всегда учил вас, как жить, как править лодкой жизни на стремнине. Сейчас дам последний урок: как надо умирать».

Стихи звучали гордо и трагически. Она поставила их эпитафией, перед тем как написать это: «Гитлеровские захватчики физически уничтожают латышский народ и духовно отравляют его...». Она хотела, чтобы первое сентября началось с урока мужества.

¹ Война пощадила фронтового журналиста. Впоследствии Карл стал известным литературоведом, профессором Рижского университета, автором ряда крупных работ по классической и современной латышской литературе. Умер Краулиньш всего несколько месяцев назад.



А. ТКАЧЕВ, С. ТКАЧЕВ.

Май сорок пятого.

Из серии «О Великой Отечественной войне».

По залам выставки произведений художников Российской Федерации
«По родной стране».



В. ЕРОФЕЕВ.

Лето.

В. САМАРИН.
Весна.



Р. БАРАНОВ.
Сыновья.





М. РОЙТЕР.

Ранняя весна в деревне (акварель).
Из серии «Северные мотивы».

13 ноября 1943 года Домскую площадь в Риге потряс взрыв. Мина взорвалась рядом с трибуной во время митинга фашистов и тех, из «пятой колонны». Это был ответ подпольщиков на уверения оккупантов, будто латыши спят и видят власть «Великой Германии». Служба безопасности кинулась искать следы «диверсантов». Но тщетно.

Вскоре Имант Судмалис снова пробрался в Освейские леса: потребовалось оборудование для типографии и рация. В январе он опять в Риге. Под его руководством действуют уже одиннадцать комсомольских групп, создается подпольный горком комсомола. Дела с типографией налажены — ее оборудовали в неприметной столярной мастерской. Имант пишет воззвание, вот уж готова и часть тиража... Он чувствует, что слежка усилилась. Еще есть шанс исчезнуть из Риги. Но что будет с товарищами по подполью, с организацией? Решает послать связных к партизанам, главное — предупредить о пробравшемся провокаторе. 18 февраля Иманта арестовывают, а спустя три месяца — в Рижской центральной тюрьме — казнят.

Потом, после Победы, когда каждая вещь, связанная с героической жизнью Судмалиса, станет реликвией, Эльза Краулиня отыщет старенький компас с оборванным ремешком, бережно обернет его и отнесет в Музей революции Латвии. Он и сегодня лежит здесь под стеклом витрины. Стоит потянуть рычажок — и дрогнет и не соврет магнитная стрелка...

Потом, после Победы, прочтет Эльза и прощальное письмо Иманта: «Я оглянулся на пройденный путь, и мне не в чем упрекнуть себя — я был человеком и борцом в эти столь решающие для рода человеческого дни...»

Она читала и не могла отделаться от ощущения, что когда-то уже слышала похожие строки. Где? Когда? При каких обстоятельствах? И вдруг вспомнила: притка об учителе.

«Я учил вас жить... Сейчас дам последний урок: как надо умирать».

...В дни защиты докторской диссертации Эльза Карловна услышала от коллег много лестного.

— Исследование элементарных процессов в плазме сулит многое практической науке, — говорили один.

— Накоплен материал, который еще требует теоретического осмысления, — вторили другие.

— Зарубежные ученые проявляют интерес к вашим выводам в связи с разработкой газовых лазеров. Поздравляем...

Она благодарила, приносила домой цветы, подаренные учениками, и невольно начинала думать о всей прожитой жизни. Как она шла к тайне атомных столкновений? Через институтские лаборатории освобожденной Риги. А до того? Через фронтовые леса, где кровавое противостояние с врагом если и было наукой, то только одной — не сдаваться. Она защищала Родину, как могла, и без той — солдатской — защиты не было бы этой, сегодняшней.

...Теплоход шел вокруг Европы. В Стокгольме была короткая стоянка. Заслышав латышскую речь, из портовой толпы отделился седой человек и несмело подошел к трапу.

— Я физик. До войны преподавал в Рижском университете...

Стал расспрашивать о Советском Союзе. Больше всего удивлялся: неужели в Латвии так резко продвинулась наука?

— Что-то не верится, — покачал головой. — Несколько помню, Рига никогда не была городом физиков.

Среди туристов оказалась группа ученых. Кто-то назвал имя Краулини и ее работы. Незнакомец по-прежнему слушал с недоверием.

— А вы приезжайте, — предложили ему. — Слово — одно, глаза — другое...

Через несколько лет он и в самом деле приехал. Рейнгард Сиксна... Краулиня со студенческих времен отлично помнила этого преподавателя.

— Только не подумайте, Эльза, будто я бежал вслед за немцами. — Он говорил, не отводя глаз, и было в его голосе не то чтобы раскаяние, нет — щемящая печаль на склоне лет. — Я просто не хотел никакой политики. Никакой! Не хотел думать ни о чем, кроме своих исследований. Принял шведское подданство, занимаюсь физикой атмосферы, достиг кое-каких результатов. Не жалуюсь. Вот только сердце стало пошаливать... Ну, а ваша жизнь?.. Как она сложилась? Неужели заведуете университетской лабораторией?

Ходил по кабинетам, подолгу останавливался, всматриваясь в приборы, интересовался исследованиями.

Из Стокгольма прислал открытку. Всего несколько строк: «Если бы не увидел все это сам, вряд ли поверил бы. Как не поверил тогда, в порту».

В том же году Рейнгард Сиксна умер в нейтральной стране. Причина смерти довольно обычная — сердце...



МИХАИЛ
ОЗЕРОВ

ВЫСТРЕЛЫ ИЗ-ЗА УГЛА

На снимке:
один из стендов
антифашистской
выставки
в центре
Бонна.



о чего же разительный контраст! Только что я словно побывал в муравейнике. Толкучка. Люди снуют туда-сюда. Вокзал в Риме один, и вместе с прилегающей площадью ов, пожалуй, самое шумное место в столице.

А всего в двухстах метрах отсюда оазис тишины и покоя. Полным-полно зелени. Цветочные клумбы. В глубокой задумчивости застыли пинии — итальянские сосны с могучими стволами и легкими прозрачными кронами. Тихая музыка. Девушка — у нее длинные светлые волосы и чуть раскосые глаза — кокетничает со спутником, время от времени заливаясь смехом. Крестьянин с крупными тяжелыми руками поднимает уже четвертую кружку пива. За соседним столиком пожилая женщина читает журнал, потягивая кьянти — красное вино.

Неторопливо беседую с итальянским коллегой — журналистом, поглядываю на вокзал, за стеклянной стеной которого не прекращается суматоха, и думаю: «Здесь совсем другой мир. Прелестное кафе!»

Но вдруг идиллия кончается. Кончается разом, мгновенно.

Пронзительный вой сирены, визг тормозов. Что случилось? Из «скорой» выбегают двое санитаров и спешат за кусты. Многие посетители кафе вскакивают, торопятся следом. Мы еще не успели понять, в чем дело, как увидели: санитары несут на простыне женщину — лицо белое, как мел, платье в крови.

— Ее три раза ударили ножом. Умерла тут же, — говорит кто-то рядом со мной.

«Скорая» скрывается за вокзалом. Проходит не больше минуты, и я слышу смех. Девушка опять кокетничает со спутником. Все вокруг встает на свои места. Снова оживленные разговоры, веселая музыка. Снова восится между столиками официант. Пожилая сеньора переворачивает очередную страницу журнала. Крестьянин залпом опустошает кружку пива.

Фото
автора.

Больше всего меня поразило именно это молниеносное «успокоение». Будто ничего не случилось...

— А что случилось? — усмехнулся коллега. — Обыкновенное убийство. У нас каждый день кого-то отправляют на тот свет. Вот сегодня утром в Неаполе сразу пятерых застрелили.

Обыкновенное убийство? Но эта женщина была чьей-то матерью, или женой, или сестрой. Разве для ее близких это обыкновенное убийство? И вообще разве убийство может быть обыкновенным? Ведь вместе с человеком уходит целый мир. Мир, которого больше никогда не будет. Мир неповторимых радостей и печалей, встреч и прощаний, болезней и исцелений.

Да, имя этой женщины мы не знали, но многие другие широко известны: Линкольн и Кеннеди, Махатма Ганди и Соломон Бандаларанке, Моро и Кинг... Их жизнь и жизнь еще тысяч менее знаменитых людей унесли террористы.

В тот вечер в римском кафе под открытым небом, еще час назад казавшемся чуть ли не земным раем, у меня в голове проносились вопросы, один тревожнее другого. Почему сейчас так расцвел терроризм? Кому нужно кровопролитие? Почему в нем все чаще участвуют совсем незрелые юнцы? Обо всем этом люди должны знать. Знать, чтобы как можно скорее покончить со страшным злом нашего времени. У меня из головы не выходил и вопрос о женщинах: за что ее ударили ножом? Никто не знал, да, похоже, и не интересовался. Правда, журналист обещал выяснить, что сможет.

○ Он позвонил на следующий день:

— Имя женщины пока не установлено.

А убийцы известны. В ее сумке нашли письмо с угрозами. Это дело рук «красных бригад». Если будут еще новости, сообщу.

Впервые «бригадисты» заявили о себе в 1971 году. Тогда произошел взрыв на крупном химическом заводе. Вскоре были похищены промышленник Идальго Маккьяррини. С того времени взрывы, похищения и убийства уже не прекращались. Ныне известно, что «бойцов» — несколько тысяч и каждый получает четверть миллиона лир в месяц — больше, чем квалифицированный рабочий; что главарь Ренато Курчо — восторженный поклонник Мао; что у них в разных частях страны есть тайники для укрытия людей и склады оружия; что отдельные акции координирует исполнительный комитет, в общем, что это настоящая подпольная армия.

Откуда у нее деньги? Грабит банки, магазины, больницы.

Появились и сообщения об «учебнике бригадиста». В нем инструкции на любой случай жизни: как уйти от погоня, организовать слежку, избавиться от компрометирующих материалов. Есть и такая рекомендация: «При нападении стреляй по ногам, чтобы человек хромал, как власть» (!)

Ныне «красные бригады» — лидер среди почти 180 итальянских групп, которые причисляют себя к «левым». А рядом с ними террористы откровенно правые, точнее, неофашисты.

Италия пережила две страшные эпидемии чумы. Первая разразилась в конце шестнадцатого века, среди ее жертв был и великий Тициан. Вторая, нагрянув спустя три с половиной столетия, оказалась еще губительней: унесла гораздо больше жизней, да и угроза уничтожения нависла не только над Италией, а над всей Европой. Это была чума «коричневая».

Именно на Апеннингах родился фашизм. История зафиксировала точную дату — 23 марта 1919 года.

Зафиксировала она и точное место действия — Милан, площадь Сан-Сеполькро, дом 3. В этом особняке Бенито Муссолини собрал нескольких ответных националистов и провозгласил создание организации «фаши» во имя спасения «несчастной» Италии.

От «фаши» в Милане метастазы фашизма потянулись в другие города. И постепенно, шаг за шагом, год за годом, чернорубашечники при поддержке промышленных королей и попустительстве, а подчас с одобрения властей набирали мощь, обзаводились вооруженными отрядами, захватывали командные посты в правительстве...

Сейчас здесь все чаще проводят параллели с тем временем: ведь за год фашисты совершают тысячу с лишним террористических акций. Итальянское социальное движение (ИСД — крупнейшая в мире фашистская партия, в ней 300 тысяч (!) членов. Особенно активны молодчики ИСД в южных областях, которые отстают в экономическом отношении, где слабее, чем на севере, профсоюзы.

Среди чернорубашечников в ходу слова Муссолини, которые он произнес за несколько дней до расстрела: «Двадцать лет фашизма было слишком мало. Человек, более великий, чем я, когда-нибудь доведет фашистскую идею до победы».

На лавры личности более великой, чем сам Дуче, претендует ныне Пино Раути. Он с детства величает себя «сверхчеловеком». Правда, коллеги, работавшие с ним в ультраправой римской газетке, говорили о Раути иначе: «тихий конторщик с душой поджигателя». Став депутатом парламента от ИСД, Раути привялся опекать родственные ему «души поджигателей» — сколько террористов спас от тюрьмы!

Есть в Италии и еще один человек, считающий себя сегодняшним Муссолини.

...На виа Венето богатство и роскошь повсюду. В ресторанах, где подают лобстер-термидор и прочие изысканные блюда. В магазине обуви «Рафаэль» — там дамские сапоги стоят больше ста тысяч, а мужские туфли из крокодиловой кожи — почти двести тысяч лир. На этой улице свимались сцены из фильма Фелливи «Сладкая жизнь». «Мысль о картине родилась у меня, когда мне приснилась женщина, идущая по виа Венето», — рассказал режиссер.

Неподалеку темные переулки, убогие покосившиеся строения, в которых ютятся беднота, но тем, кто наслаждается сладкой жизнью на виа Венето, нет дела до нищего и безработного, они — элита.

Элита? Что ж, давайте оглядимся вокруг.

Над подъездом золотыми буквами выведено: «Отель «Эксельсиор». Это же слово сияет неонам на крыше соседнего здания. На полу огромного холла — мягкий ковер. У швейцаров вид знатных синьоров. Но как преображались они, когда к отелю подъезжал небесно-голубой «мерседес» — наперегонки кидались к нему! Один открывал дверцу автомобиля, другой чуть ли не на руках выносил господина с седыми прилизанными волосами. И пока тот шествовал к лифту, служащие кланялись до самого пола.

На втором этаже «Эксельсиора», в апартаменте под номером 127—129, располагался Лиго Джелли. Он из элиты, однако определенного толка, — возглавлял масонскую ложу «П-2». Кто только не входил в «сиятельный» список ее членов: три министра, лидеры политических партий, высшие чины разведки, финансовые тузы, церковники, издатели! И офицеры, включая начальника главного штаба адмирала Дж. Торриззи. В ложе сходились инти многих тайных заговоров и даже готовился государственный переворот. На что он был направлен? На уничтожение республиканского строя, пересмотр конституции, запрещение профсоюзов.

С неутодими у масонов разговор короткий. Издатель М. Пекорелли опубликовал разоблачительный материал о «П-2», и ему трижды выстрелили в рот. Мертвым нашли римского следователя В. Оккорсио, в руках которого оказались улики против ложж. А Джелли, беседа с визитерами, поигрывал золотым брелоком, отлитым в виде пули, и повторял: «Вот что предназначено для моих врагов и врагов моих друзей». Иногда он произносил: «Я буду более знаменитым, чем дуче». Когда полицейские обыскали апартаменты Джелли в «Эксельсиоре» и его виллу возле городка Арцево, разразился невиданный, даже для привыкшей вроде бы к чему угодно Италии, скандал. Тут же рухнуло правительство. Джелли удалось бежать, но многие его подручные оказались в тюрьме. На следствии вскрылись прелюбопытные факты о том, как добивались членства в ложе «сильные мира сего», как процветали в «П-2» фашисты. И еще о том, кто стоял за спиной масонской рати.

...Подходя к виа Венето, я заметил джип с карабинерами. Чуть подальше — второй. В чем дело? Опять появятся санитары с убитым на простыне?

Вдоль улицы тянется высокая каменная стена, за ней — трехэтажное здание. Над центральным подъездом среди массивных колонн развевается звездный флаг. Карабинеры охраняют американское посольство. Когда стена кончается, вижу неоновые буквы: «Эксельсиор».

Резиденция Джелли и посольство Соединенных Штатов... Символическое соседство. Масонская ложа была орудием ЦРУ. Об этом сообщил бывший агент американской разведки Гонзалес Мата. «Масоны усердно выполняли поставленную перед ними задачу — не допустить коммунистов к политическому рулю в Италии», — заявил он.

А история с Альдо Моро? Этот опытный и трезвый политик добивался перемен в правительстве. Посол США в Риме Р. Гарднер назвал его «самым опасным деятелем» на Апеннингах. И спустя несколько дней после высказывания посла Моро похитили.

Кто раньше слышал о виа Фани? Теперь эта улица — достопримечательность Рима, ее показывают туристам наряду с Колизеем и собором Святого Петра. Вот в этом месте «бригадисты» открыли огонь по автомобилю Альдо Моро. Вон из тех кустов автоматные очереди прошили белую «Альфетту» с охраной. А здесь стоял «Фиат», в который нападавшие, убив телохранителей, втащили Моро. Как известно, преступники 55 дней держали в заточении председателя Христианско-демократической партии. 55 дней страна была в смятении, вооруженные патрули контролировали дороги, останавливали все машины. 9 мая 1978 года тело Моро, изрешеченное пулями, обнаружили в багажнике красного «Рено».

В Италии мне назвали имя главари заговора — Дэвид. Раньше он был капитаном американской морской пехоты, затем его перебросили в Рим. Там по заданию ЦРУ разработал детали похищения и последующего убийства Моро.

Нет, Дэвид не за решеткой; сейчас преступник занимает достаточно высокий пост советника США в ФРГ.

«Красивые бригады» сыграли в деле Моро лишь роль слепого орудия, — констатирует еженедельник «Панорама». Другой итальянский журнал, «Джордани — Вие вуове», высказывается еще определеннее: «Сегодня никто не сомневается, что за спиной итальянских террористов стоят ЦРУ и его хозяин — Белый дом».

Наверное, ни об одном городе не написано столько, сколько о Венеции. И написано замечательными мастерами слова: Гете и Байроном, Томасом Манном и Достоевским.

И все-таки, оказавшись здесь, снова убеждаешься: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Лишь когда сам идешь вдоль узеньких и широких каналов, по изысканным мосткам над малахитово-зеленой водой, понимаешь, почему о Венеции сложено такое количество песен, легенд, поэм, почему ее постоянно сопровождает эпитет «блистательная».

Выхожу из гондолы на площадь Сан-Марко. Чуть ли не в каждом втором итальянском фильме показывают эту площадь, на которой всегда праздник красоты и хорошего настроения. Впрочем, всегда ли? Слышу выстрел, второй... Здоровенный парень в военной форме цвета хаки стреляет в воздух из пистолета, выкрикивая ругательства. Другой, в такой же форме, держит пустую бутылку граппа (итальянской водки) и гогочет.

И праздник сразу кончается. Площадь пустеет, кому хочется попасть под пулю пьяного солдата? Тем более, что в Италии хорошо знают: от него можно ждать чего угодно. В милайском журнале было напечатано интервью с девятидцатилетним американским рядовым Бобом Дженкинсом, вызвавшее шок у читателей.

— Я служу в учебном центре морской пехоты, — откровенничал Дженкинс. — С утра до вечера мы слышим одно слово: «Убей!» Нам внушают, что наша задача убивать, и неважно кого, лишь бы был приказ. Мне кажется, что наши инструкторы и сержанты помешались на убийстве. На строевой подготовке они требуют, чтобы мы, маршируя, скандировали: «Убей! Убей! Убей!» Когда нас учат штыковым бою, каждый должен вопить, прокалывая чучело: «Убей!» Как только чучело падает, я и другие рядовые должны заорать: «Я выпустил из тебя кишки!» В казарме и на полигоне, на полосе препятствий нам внушают, что мы убийцы. Даже в столовой мы, прежде чем сесть, дружно вопим: «Пришли убийцы!»

Но нет предела лицемерию: поставив подготовку убийц на сверхширокую ногу, поощряя терроризм по всей планете, Соединенные Штаты сами же кричат: «Помогите! Убивают!» Именно так действует президент Рейган — размахивает флагом борьбы с террористами, которых якобы поддерживает Москва.

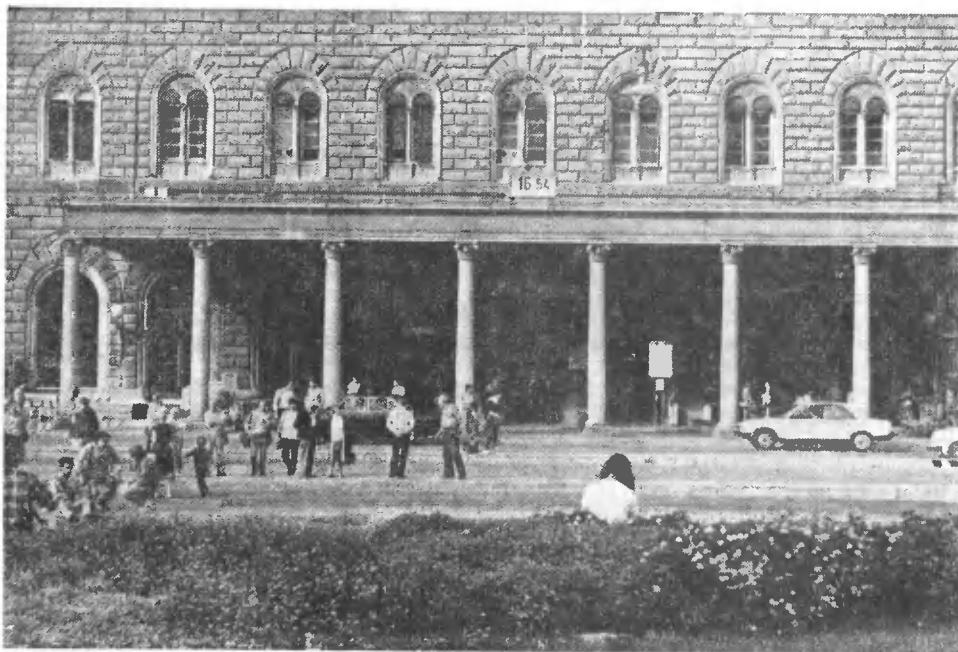
Однако людям мира понятно, что «кровавую руку Москвы» обнаруживают как раз там, где на самом деле букет терроризма поливают из американских леек. Причем, поливают все усерднее, — с каждым годом становятся труднее и труднее насаждать идеалы заокееанского образа жизни.

...Когда я глядел, как резвятся воюки на площади Сан-Марко, то думал: пожалуй, самая отличительная черта Италии восьмидесятых годов — соседство богатейшей истории с уродливыми сегодняшними явлениями, великой гуманистической культуры с жестокой действительностью.

Казалось бы, именно в стране, давшей миру Данте и Леонардо, должны царить гуманизм, справедливость. Ведь рядом с творениями ее гениев особенно чудовищны мысли о насилии. Тем не менее именно над Италией нависла угроза новой катастрофы.

Мне очень хотелось побывать в Вероне. Но походить по воспетым Шекспиром улицам, заглянуть в дом, где творил великий Веронезе, постоять у памятника Данте на иосящей его имя площади я не смог: советских журналистов в Верону не пускали. Там

Вокзал
в Болонье.
Здесь в 1980 году
фашисты взорвали
мощную бомбу.



американцы проводили военные маневры. Тут не до Ромео и Джульетты!

В этом районе находится штаб-квартира войск США в Италии, которую обслуживают 2,5 тысячи человек, расквартировано несколько американских рот, в том числе специализирующаяся на ядерном оружии. Крестьяне давно привыкли к тому, что из-под земли вдруг поднимается ствол ракеты «Ника-Геркулес», спрятанной в бункере.

Почему такое засилье американцев? Очень уж привлекает их расположение Италии в средиземноморском бассейне, очень уж они хотят правратить ее в свой военный полигон. Ради такой «высокой цели» и поощряет Вашингтон террористов, всячески помогает им, — ведь если в стране царят хаос и анархия, если люди, включая государственных мужей, боятся выйти на улицу, им куда легче навязать свою волю.

Впрочем, есть и другие причины того, что Италия — самое «террористическое» государство Запады. Это и экономические трудности, неуклонное подорожание жизни. И неуверенность в завтрашнем дне. И равнодушие общества к человеку. И пропаганда насилия в книгах, кино, по телевидению.

Кроме того, на Апеннингах предостаточно уцелевших фашистов, которые жаждут реванша и не сидят сложа руки.

Корин явления следует искать и в том, как воспитывают подрастающее поколение.

Жестокость принаивается чуть ли не с пеленок. Малыша нередко истязают собственные родители. И он, став чуть постарше, уже истязает других. В девятилетнего жителя Милана его сверстник кинул апельсин, в который было вставлено лезвие бритвы. Две ученицы этой же школы связали десятилетнюю девочку, затолкали ей в рот клеш и сбросили с четвертого этажа. Впрочем, таких, как они, «селят» не только в Италии.

...На головах детей капюшоны, глаза спрятаны за темными очками. Они подстерегают жертву и стре-

ляют в нее резинновыми пулями из пластмассового пистолета. Игра называется «Убийство как организованный спорт», или сокращенно КАОС. Ею увлечены тысячи юных американцев. Задача — уничтожить как можно больше противников и не быть узнанным.

«Правила нашей игры придуманы так, чтобы она была максимально похожа на настоящее убийство», — объясняет тринадцатилетний президент калифорнийского клуба КАОС.

А вот другая игра, ее изобрел предприимчивый житель испанского города Севилья Антонио Гарсиа. Надо бросать кость и передвигать фишки (они двух цветов: красные, обозначающие членов правительства, и синие — участников мятежа) по картонному полю. Все кончается государственным переворотом и убийством министра.

На убийство юный гражданин Запады может вдоволь наглядеться и в детских комиксах. Подсчитано, что в них одна из семи иллюстраций непременно изображает насилие. Детям вдалбливают: шагайте вперед смело, пусть даже по трупам.

И они шагают.

В сумерки двое подростков вышли на улицу Лос-Анджелеса. Они остановили прохожего и потребовали денег. У того не оказалось ни цента. Парви избили его и двинулись дальше. На углу встретили супружескую пару. Те поспешно отдали все, что у них было, — двенадцать долларов с мелочью, часы и обручальные кольца. Но подростки все равно избили их, и мужчина на следующий день скончался. Затем они задержали двух пожилых женщин и наставили на них пистолеты. Одна из женщин попыталась отвести оружие от своего лица. Раздался выстрел, обе погибли. Вскоре париям попались трое их сверстников, у тех тоже отобрали часы и несколько долларов. И тоже была пальба, были жертвы. У мотеля преступники нагнали старика француза, приехавшего к родственникам в Лос-Анджелес, и без долгих слов застрелили.

Я привел сухие строки полицейской хроники. Остается лишь добавить, что преступников схвати-

ли. Одному было четырнадцать, другому пятнадцать лет.

Мне довелось видеть в ФРГ «детей Гитлера». Черные рубашки, черные брюки, черные куртки. На левом рукаве — свастика. Высокие кавалерийские сапоги. На поясе нож.

Они вошли в пивную «Zum Egerländer», где я был с двумя советскими журналистами. Эта пивная — штаб-квартира гамбургских штурмовиков, входивших во «Фронт действий национал-социалистов». В зале, на втором этаже, где они устраивают свои сборища, висит барельеф «незабвенного» Адольфа. Во «фронте» семь тысяч членов, все моложе двадцати пяти лет.

Тогда мы встретились с их фюрером Михаэлем Кюнеином. Этот щуплый человечек с усиками «а-ля Гитлер» разлагольствовал о том, что во «фронт» может вступить любой парень, если он чистокровный ариец и если готов беспрекословно выполнять приказы.

Примерно такие же требования ставятся перед каждым из 20 тысяч западногерманских наци, которые объединены в почти двести группировок. Что же касается возрастного ценза, то принцип следующий: чем моложе, тем лучше.

— С растущей озабоченностью я наблюдаю, как часть молодых людей проявляет все больший интерес к личности фюрера, «романтике» вермахта, — заявила министр по делам молодежи, семья и здравоохранения А. Хубер.

В Баварии 40 процентов опрошенных школьников сказали, что приветствовали бы появление диктатора, если бы он оказался «способным государственным деятелем». Отвечая на другой вопрос, 60 процентов высказались за «сильную национальную партию», то есть практически за фашистов.

Тринадцатилетний житель Франкфурта поведал телекорреспонденту, что если бы он правил страной, то вешал бы противников за ноги, сыпал им на руки соль и мучил до тех пор, пока они не умрут.

О Кюнеи и его молодчиках я вспомнил в Мадриде. В тот ноябрьский день по улицам испанской столицы шли парни в синих рубашках и красных беретах. Шли, чекая шаг, горластая фашистские песни, выкрикивая «Зиг хайль!» и «Франко президент!» («...Франко с нами»).

В голове пронеслись строки из стихотворения Е. Долматовского:

Идут фашисты, повторяя жест,
Грозный новый акт старой драмы,
Идут, и наподобие штыка
Блестит фаланга наглая огранка:
От локтя косо поднята рука
Солдат генералиссимуса Франко.

Это «солдаты Франко» выстрелом из пистолета убили Сенью Роберто, отца семерых детей, за то, что он не подчинился их требованиям и не поднял руку в фашистском приветствии. Это они «растят смену» в военизированном лагере в окрестностях города Эскориала неподалеку от Мадрида. Там каждый год проходят сборы, в программе которых — строевая подготовка, обучение диверсионным акциям, военные игры... Подростки терроризируют прохожих, заставляют их петь фашистские гимны. Если возразишь — жди удара ножом или каскетом.

Почему же именно молодых людей накрыла на Западе волна терроризма?

На этот вопрос отвечает «Секоло д'Италия» — орган Итальянского социального движения. Вот как газета определяет тактику фашистов: «800 тысяч молодых итальянцев занимаются тем, что впервые ищут

работы. Эта масса испытывает чувство безнадежности, ненависти и гнева, ей совершенно нечего терять. Мы должны использовать возможности, которые нам предоставляются».

Да, люди, едва начавшие самостоятельную жизнь, у которых вроде бы все впереди, — поколение отверженных. У них нет работы, они никому не нужны. Потому так высок среди них процент самоубийц. Потому так много наркоманов и алкоголиков, деградировавших личностей, а именно они составляют нынешний костяк террористов.

С давних пор люди «диа» — преступники, отщепенцы, бродяги, эти вечные аутсайдеры, окруженные презрением и получившие название люмпен-пролетарии (от немецкого «люмпен» — лохмотья), — служили реакцией. Они входили в банды черносотенцев. Нанимались на службу к Гитлеру. Предводитель берлинских штурмовиков Хорст Вессель, в честь которого сложили нацистский гимн, был сутенером.

Сейчас мелкий буржуа не так рьяно, как прежде, поддерживает погромщиков, в те все больше надеются на люмпенов, причем прежде всего на опустившихся юнцов. И их надежды нередко осуществляются.

Правда, далеко не всех молодых людей отчаяние и безысходность толкают в объятия террористов.

...По сей день на Альбионе не оправились от прощлого шока. Тогда на глазах у всех сгорел образ Добра Старой Англии.

Что же произошло? Молодые англичане не желали больше обивать пороги бирж труда (800 тысяч британских безработных моложе двадцати пяти лет), мириться с нищетой, отвратительным жильем. Эмигранты из стран Азии и Африки не хотели быть гражданами второго сорта, которым дают лишь грязную работу и платят гораздо меньше, чем белым.

В Лондоне, а потом и в других городах начались массовые выступления молодежи — и уроженцев Британии и эмигрантов. Тогда власти решили наказать «бунтарей». На газонах в великодушных лондонских парках — давней гордости англичан — билась в агонии люди, их кровь «портала» изумрудную, ровно подстриженную траву. Всегда вроде бы преисполненная чувства собственного достоинства «Таймс» истерически визжала: «Так им! Бей их!» — и отводила целые полосы фотографиям избиений и драк.

А куда делась невозмутимость британских полицейских, испокон веков символизировавших закон и порядок? С перекошенными от злобы физиономиями они набрасывались на мальчиков и девочек, опускали на их головы тяжелые дубинки.

— Лица этих ребят были сплошной кровавой маской, ребра сломаны. Память о встрече с полицией останется у них на всю жизнь, — рассказывал журналистам врач из Манчестера, оказавший первую помощь жертвам блюстителей законности.

Забитые и униженные ответили на силу силой. В разных местах проходили столкновения с полицией, горели дома, взрывались автобусы. В Англии развернулись необыкновенные для нее события, вошедшие в историю как «жаркое лето».

Теперь уже стране не вернуть славу «тихого оазиса» Запада, эдакого уютного уголка, где царят терпимость и джентльменство, любовь к порядку и законопослушание.

А почему правительство не пыталось помешать похоронам старейшей западной демократии? Наоборот: подталкивало ее к могиле. Именно консерваторы заложили взрывчатку под собственный дом, выведя страну в лидеры по инфляции, нищете, безработице.

Как сочувствовали «жарким летом» лондонские газеты предводительнице консерваторов Маргарет Тэтчер: бедняжка, спит всего по три часа в сутки, поблдевала, осунулась! Но толка от трудов премьерши не было: она пыталась тушить пожары с помощью террора. Открыла специальные тюрьмы для «зачинщиков беспорядков». Спешно провела испытания двух видов водяных пушек для разгона демонстраций — у какой струя сильнее — и пустила их в бой. Представила на рассмотрение парламента закон: если человек после команды полицейского «разойдись!» остается на месте, он считается преступником.

Депутаты Вестминстера совершенно серьезно обсуждали и другие суперважные вопросы. Не стоит ли ввести порку бунтовщиков, которые моложе восемнадцати лет? Не сократить ли число яслей и детских садов; это заставит матерей бросить работу, и их места займут молодые люди? Заодно можно поймав второго зайца: жены будут сидеть дома, и семейные устои окрепнут...

И вот что еще показательно: демонстрантов вместе с полицейскими избивали молодчики из «Национального фронта» и других ультраправых организаций. Прошлым летом стало ясно, что власть предержавшие и юные террористы вполне могут стоять по одну сторону баррикады.

От Неаполя до Милана страну связывает скоростная магистраль, которая называется «автострада солнца». Часа через полтора после того, как отправляешься из Рима на север, попадаешь в Умбрию, пожалуй, самую красивую область Италии. Не зря ей дали имя «зеленая Умбрия»: стрелы кипарисов, серебряные оливковые деревья, пинии, поля подсолнухов и кукурузы!

Появляются остроконечные башни Ассизи. Легенда гласит, что восемьсот лет назад — в 1181 году — в Ассизи родился святой Франциск. Поначалу он был обыкновенный юноша, но позже отказался от мирских наслаждений, оделся в грубое платье и пошел по миру, проповедуя возрождение духа и любовь к земной красоте. В честь святого Франциска в центре городка сооружен храм.

В тот день, когда мы приехали, по улицам-коридорам, мимо краснокирпичных стен, старинных фонарей над дверями и балконами, на которых сушат белье (по-моему, нигде не стирают столько, сколько в Италии!), шли люди. Это были участники марша мира, который начался в Перудже — столице Умбрии, а закончился в Ассизи. Демонстранты несли плакаты: «Италии — мир и спокойствие!», «Нет — террору!».

Да, подавляющее большинство жителей Апеннин ненавидит насилие. Они понимают, что покончить с ним можно лишь совместными и энергичными усилиями. Ведь красота, к сожалению, не всегда в состоянии одолеть насилие. Турецкий террорист Агджа разрядил пистолет в римского папу на одной из самых красивых площадей мира — Святого Петра, окруженной скульптурами Микеланджело и Бернини. О главаре масонской ложи «П-2» Джелли журналисты писали как о любителе жиаописи. Не исключено, что, обдумывая план очередного убийства, Джелли рассматривал альбомы художников Возрождения.

Но и насилие не всегда побеждает в схватке с красотой. Я был в trattoria (трапезной), где Леонардо создал «Тайную вечерю». В годы войны фашисты варварски бомбили Милан — промышленный центр страны. Руины остались и от trattoria. Уцелела лишь одна стена — как раз та, что расписана Леонар-

до; ее прикрыли мешками с песком. Верующие считают, что это — чудо. И в миланской церкви Санта Мария делье Грацие они ставят саечи в благодарность за спасение «Тайной аечери»...

О многом задумываешься и возле другого шедевра — картины Рубенса «Ужасы войны». Бог войны Марс, опьяненный жаждой убийств, размахивает окровавленным кинжалом. Любящая супруга Венера пытается удержать его. Чуть подальше женщина в черном одеянии, по ее щеке катятся слезы, она в ужасе подняла руки к небу. Это Европа. В правом углу полотна — аллегорические образы тех, кто рожден войной: болезнь, голод, страх, тирания.

Если бы Венера могла сойти с холста и удержать живых марсов, в руках которых куда более страшное и губительное оружие, чем кинжал!

Об этом думаешь и в Болонье, куда я приехал после Ассизи. Болонья, как и Венеция, уникальна, только по-своему. Необычна архитектура; на полуострове вы не найдете другого места, где все тротуары крытые, и пешеход находится под сплошным каменным зонтом, ему не страшно летом солнце, зимой — снег, осенью — дождь... А две падающие башни, возведенные еще в XII веке, ови, по меткому выражению Мариэтты Шагинян, «стоят, как две иог Гулливера над станом лилипутов»... А старейший в Европе университет... А великолепная музыкальная библиотека имени падре Мартини...

Но сейчас при упоминании Болоньи сразу возникает другая мысль — о трагедии на городском вокзале. Здание вокзала издавна обыкновенное: серое, двухэтажное. Но, подойдя ближе, замечаю, что одно крыло новое. На нем — мраморная плита с выбитыми золотом именами. В августе восьмидесятого года чернорубашечники взорвали на вокзале бомбу. Целые сутки пожарные, полицейские, солдаты и врачи извлекали тела из-под обломков здания и рухнувших балок. Погибло 85 человек. Среди них — трехлетняя девочка и восьмидесятишестилетний старик. Таким варварским способом ультра отомстили коммунистам, которые руководят муниципалитетом Болоньи.

У мемориальной плиты — венки, в том числе от президента Италии, букеты цветов. Когда смотришь на лица тех, кто стоит тут, когда слушаешь их гневные слова, понимаешь: они сделают все, чтобы фашизм не прошел. И он не пройдет, хотя «сильные мира сего» поддерживают его. Он обречен, потому что думающая молодежь, антифашисты, все честные люди претраждают дорогу тем, кто стреляет из-за угла. Будущие историки наверняка напишут, что терроризм был одним из самых уродливых явлений XX века и позорно погиб.

...Знакомый журналист не звонил, и я сам набрал его номер:

— Ничего не удалось выяснить?

Голос в трубке звучал невесело:

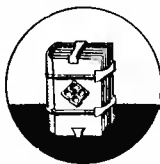
— Личность женщины так и не установили. Да полиция и не особенно стремится сделать это.

— Почему?

— Им так спокойнее. А то еще, глядишь, террористы в отместку похитят полицейского префекта или даже самого президента. Власти считают, что с ними лучше не связываться.

На этом и закончился наш разговор. А на следующее утро я улетел в Москву...

Рим — Москва



Вл. НОВИКОВ



ОТКРЫТЫЙ УРОК

Я убежден, что эта небольшая книжка (Лев Соболев. Все начинается с урока. М., «Знание», 1980) достойна внимания всех, кто имеет отношение к школе и к литературе. Особенно тех, кто молод, кто многие важные вопросы решает для себя впервые.

Автор книги — учитель и литературовед. Сочетание по нынешним временам редкое. Если для вузовских преподавателей самостоятельное участие в научных исследованиях считается нормой, то школьный учитель почему-то не воспринимается как полпред современной филологической мысли. Об исконной связи слов «наука» и «учитель» как-то забывают.

На соотношении этих понятий мне хочется взглянуть не только «со стороны» школы, но и «со стороны» литературы. Ведь если современным учителям-словесникам порой недостает в их работе научности, то литературоведам и критикам иногда очень не хватает склонности к учительству — в хорошем смысле слова. Открывая литературоведческую или критическую книгу, статью, мы — осознанно или неосознанно — ждем от автора мысли, освещающей дорогу нашему разуму: помоги! разъясни! научи понять то, чего я не понимаю, оценить то, что я недооцениваю! Все ли пишущие о литературе готовы платить по этим счетам? Кстати, среди критиков и литературоведов почти безошибочно угадываются те, кто в свое время поработал школьными учителями.

Книга Л. Соболева нестандартна по жанру. Прообраз авторского способа самовыражения — школьный урок с его вечнотрадиционными элементами и с его неиссякаемыми ресурсами новизны. Давайте же займем свободные места на последних партах и прислушаемся.

Прежде всего обратим внимание на то, как много здесь говорят школьники (с полным правом назвал их учитель своими соавторами). И говорят открыто, непринужденно, порой удивляя, порой озадачивая. Как это достигается? Очень просто: чтобы получить правдивый ответ, надо задать правдивый вопрос. Л. Соболев по окончании учебного года предлагает своим учащимся автест, в которой нужно указать самый интересный и самый неинтересный урок за прошедшее время. Итоги бывают порой противоречивы, но безусловно объективны — так познаются и

вкусовые пристрастия школьников и результаты работы.

Принцип свободного обсуждения эффективно работает и в самом процессе обучения. Вот девятиклассники сравнивают три статьи об А. Островском — Ап. Григорьева, Н. Добролюбова и Д. Писарева. Нелегко разобраться в столь разных точках зрения, но задача Л. Соболева в том и состоит, чтобы юные читатели поняли: «единой, единственной правды о литературном произведении не существует».

И слово учителя — это не последняя, окончательная истина, а приглашение к раздумью, к соучастию в познании. Автор книги ставит очень острый, но необходимый вопрос: «...может ли учитель литературы одинаково любить все те произведения, которые он изучает с детьми?» И честно отвечает: «Конечно, нет». И не стоит от учеников утаивать личное, живое отношение к предмету. Л. Соболев не скрывает своего человеческого и исследовательского пристрастия к Л. Толстому. Он и в книге посвятил целую главу рассказу об уроках по творчеству этого писателя. Думаю, никто не осудит автора книги за то, что среди его учеников появились такие же азартные «толстоведы»: цитаты из сочинений красноречиво свидетельствуют, что, войдя в мир Л. Толстого, школьники основательно приобщились к миру литературы в целом.

Ну, а что же делать в противоположном случае? Автор считает, что и в этом случае стоит говорить правду: «Мне, например, не нравится роман А. Н. Толстого «Петр I», и когда я говорю об этом в классе, всегда находятся ребята, готовые спорить со мной и не соглашаться. Может быть, и не нужно, чтобы с тобой всегда соглашались?» Прием, по-моему, не бесспорный, но право же, интересный и сильный.

Естественно, широкий обмен откровенными мнениями плодотворен только в сочетании с объективно-научными методами обучения. Л. Соболев менее всего склонен к нарочитому «оживлению»; и спор и игра на уроке для него никогда не ставятся самоцелью. Постигание литературы — это прежде всего труд, от которого не следует ограждать наше юношество.

Изучение литературы должно быть эмоциональным. Но задача состоит в том, чтобы достигнуть на уроке того неповторимого переживания, того духовного опыта, который объективно содержится в художественной структуре произведения, в его поэтических глубинах. Так, думается, можно сформулировать центральную идею книги Л. Соболева. Он основательным образом просматривает новинки «школьного литературоведения» под этим углом зрения и дает недвусмысленные оценки книгам, вступительным статьям, комментариям. Посвященная такому обзору глава названа «В поисках единомышленников». Она, как и выступления автора на эту тему в периодике, может служить хорошим компасом для молодого читателя. Нельзя не поддержать резонансные суждения Л. Соболева на явную недостаточность популярных книг по истории филологической науки: «...Имена великих филологов, положивших жизнь на изучение, постижение литературы, читающему большинству неизвестны. В «ЖЗЛ» вышли книги о физиках и математиках, химиках и биологах, есть даже

книги о спортсменах, а есть ли книги о Шахматове и Буслаеве, Веселовском и Эйхенбауме? Речь идет о существенном пробеле нашей сегодняшней культуры. Можно привести еще немало примеров таких публицистических заострений, когда автор книги выявляет конкретные причины, мешающие союзу науки и школьного преподавания.

Надо еще сказать о том, что любовь к классике не мешает Л. Соболеву и его ученикам всерьез интересоваться современной литературой (глава с характерным названием «Тоска по текущему»). Надо бы, наверное, поспорить с автором книги по поводу литературы остроумной и приключенческой: стоит ли так высокомерно к ней относиться и «отучать» от нее школьников? Но звучит неумолимый звонок, открытый урок окончен.

А. МОРОЗОВ



ЛЕОНАРДО НА ВДНХ

Конечно, между жизнью великого художника и мыслителя эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и открытием Выставки достижений народного хозяйства в Москве прошло не много ни мало, а более четырех столетий. Но для постановки самых смелых мысленных экспериментов существует хорошо известная формула — достаточно произнести слова «Представим себе...». Именно эту магическую формулу использует В. Абчук, автор книги «Торпеда капитана Немо», (Москва, «Детская литература», 1980), чтобы пригласить читателей на столь неожиданную экскурсию.

Известно, что Леонардо принадлежал к «титанам Возрождения», которых отличала универсальность дарований и интересов. Кроме непревзойденных шедевров живописи, он оставил множество проектов смелых изобретений и открытий, далеко опередивших свой век. Таких, например, как вертолет, парашют или принцип авторегулировки. Естественно, что, увидев реальное воплощение своих идей, Леонардо был бы приятно удивлен, но и... только. Ведь принцип действия всех этих аппаратов был ему уже известен. Но вот Леонардо смотрит на экран работающего телевизора. Смотрит и... не понимает. Еще бы. Чтобы понять принцип получения и передачи телевизионного изображения, необходимо разбираться в таких вещах, как электроника и теория электромагнитного поля. А таких понятий в эпоху Возрождения не существовало. В XV — XVI веках люди не только не могли использовать, но просто и не подозревали о самом существовании электромагнитных волн. Значит, магия, волшебство...

И сразу становится ясной тактическая хитрость автора книги, пригласившего великого флорентийца в сегодняшний день. Ведь по отношению к далекому

прошлому наше сегодня — это столь же далекое будущее. И можно поприкинуть, какие свершения этого будущего, ставшего теперь настоящим, можно было предугадать, а какие нет. Какие не только догадки, но даже предчувствия были невозможны и даже при самом смелом полете фантазии, при самом могучем интеллекте. «Первый электродвигатель подводной лодки, — пишет В. Абчук, — имел мощность одну лошадиную силу. На каждой последующей лодке эта мощность становилась все больше и в наше время достигает десятков тысяч лошадиных сил». Такие количественные изменения предугадать в общем-то можно. Иное дело качественные скачки. Как догадаться о кроне будущего дерева, если в настоящем не пророснул даже самый робкий росток?

Проводя водораздел между качественными и количественными изменениями в науке и технике, автор книги предлагает всем своим читателям последовать примеру Леонардо и отправиться экскурсантами на ВДНХ будущего. «Но позвольте, — можно спросить, — ведь такой выставки еще не существует. Ведь она же еще... в будущем?» Это, конечно, так, но оказывается, что по некоторым параметрам настоящего можно частично «реконструировать» будущее. В сегодняшнем дне можно обнаружить следы будущего. (Недаром книга имеет подзаголовок «По следам будущего».) Именно такой работе и посвящается основная часть книги В. Абчука. И читатель, последовавший за автором, становится «следопытом будущего», приобщается к основным правилам и приемам этой охоты или разведки.

После знакомства читателей с уже апробированными методами научного исследования и прогноза автор направляет свою фантазию на десятки и даже сотни лет вперед. Тут и города-башни, и синтетическая пища, и летательные аппараты, которые в свернутом виде можно носить с собой в портфеле. Транспорт будущего, возможно, откажется от одиого из самых революционных изобретений человеческого ума — колеса и станет, таким образом, всепроходным, не зависящим от шоссейных и железных дорог, от аэродромов и портов. Очищать сточные воды, убирать (вернее, поедать) мусор станут специально выращенные виды бактерий, а кино, например, будет восприниматься не только зрением и слухом (как сейчас), но и другими органами чувств — обонянием, осязанием и даже мышечным чувством.

Изображая дикие фантастические экспонаты «ВДНХ будущего» автор все время указывает нам на их ростки, которые уже существуют в настоящем. Так что, если соответствующие главы и относятся к жанру фантастики, то фантастики неизменно и последовательно научной. Исключение составляет, пожалуй, только твердая убежденность В. Абчука в реальной возможности на базе современных ЭЕМ создания искусственного разума, ни в чем не уступающего, а то и превосходящего человеческого. Даже среди самых отчаянных кибернетиков такая точка зрения, будучи распространенной лет двадцать назад, сегодня имеет все меньше последователей. Столкнувшись с невероятной сложностью моделирования самых простых реакций живого существа (только живого, а еще неразумного), большинство ученых стало гораздо осторожнее в своих прогнозах.

Излишняя доверчивость автора книги к слишком лихим предсказаниям в области кибернетики есть, скорее, следствие его общей увлеченности будущим. И эту свою увлеченность и веру в неослабывимый прогресс науки и техники, в стремительный взлет человеческой цивилизации автор песет читателям своей книги. Книги, которую можно считать входным билетом на ВДНХ будущего.



НИНА
АГИШЕВА

ДОЛГИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЧАСА УЧЕНИЧЕСТВА

*Заметки о спектаклях
молодых режиссеров*

Стремительно бежит время, и, озабоченные переменами вокруг, мы не всегда успеваем заметить перемены, происходящие в нас самих. Кажется, недавно еще дерзко завоевывало позиции на театре поколение пятидесятых — шестидесятых годов, и спектакли — острогражданственные, открыто исповеднические — вызывали ярые споры и сшибки мнений. Они рассматривались не как сосредоточенное в себе театральное эстетическое явление, но как реальный факт общественной жизни — этим и были прежде всего интересны. Они действительно говорили от имени поколения и с ним, говорили о главном, всех волнующем, на всем понятном языке. Сегодня тогдашним молодым зрителям первых спектаклей Олега Ефремова, Анатолия Эфроса, Юрия Любимова, других наших известных режиссеров далеко за сорок, и, возможно, они не слишком доверчиво вглядываются в новые, неизвестные им имена постановщиков, впервые отпечатанные на афишах и програмках...

Скажем сразу, таких имен немало. Профессия режиссера (а Станиславский считал, что научиться ей невозможно, режиссером надо родиться) в наше время стала массовой. Каждый год ее вместе с дипломом о высшем образовании получают сотни выпускников театральных вузов. Все они наверняка пытаются выразить в своих работах современное понимание насущных проблем, окрасить их своим индивидуальным, а значит, неповторимым, личностным отношением, присущим молодому человеку, вступающему в жизнь на рубеже восьмидесятых. Вот только прийти к такому результату удается,

На снимке: «Путь» А. Ремеза на малой сцене МХАТ: Александр Ульянов — Д. Брусникин, Володя Ульянов — Л. Каюров.

к сожалению, гораздо реже, чем хотелось бы. Не так уж часто на театральном небосклоне удачно для молодого режиссера «располагаются звезды», и сквозь многочисленные трудности и препятствия, творческие, организационные и прочие, ясно, набирая силу, звучит его голос. Не так уж часто это происходит. Поэтому сначала прислушаемся, а после попробуем сделать некоторые выводы.

...Когда молодой режиссер берется за сочинение молодого драматурга, это интересно само по себе. А если оно затрагивает ни больше ни меньше, как эпизоды юности Володи Ульянова? Речь идет о постановке пьесы «Путь» А. Ремеза, осуществленной художественным руководителем спектакля Анатолием Васильевым и режиссером — дипломником ГИТИСа В. Саркисовым.

Автору пьесы Александру Ремезу, питомцу студии молодых драматургов, организованной и возглавляемой Алексеем Николаевичем Арбузовым, нет еще и тридцати, но на его счету уже немало интересных сочинений, написанных для театра: только в Москве идут сейчас на разных сценах три его пьесы. Хочется отметить, что имена воспитанников арбузовской студии все чаще в последнее время появляются на афишах; надо воздать должное дальновзоркости и педагогическим усилиям нашего известного драматурга, терпеливо готовящего свежее пополнение для своего цеха, работать в котором он как нелегко. «Путь» (первоначальное название «Семья Ульяновых») имеет подзаголовок «Семейная хроника в четырех частях, Россия, 80-е годы XIX века». Главный герой — Александр Ульянов; пьеса начинается его разговором с отцом, когда вся семья еще в сборе и за огромным круглым столом под уютным абажуром идет веселое чаепитие, и заканчивается свиданием с матерью перед казнью.

Кажется, все, что касается юности Владимира Ильича Ленина, образов его родителей, его дружба со старшим братом, настолько хорошо известно и столь тщательно, подробно осмыслено и отражено во многих произведениях литературы, театра и кино, что добавит к этому что-либо почти невозможно. Ремез оперирует знакомыми всем событиями из жизни семьи Ульяновых, но выявляет такую их сущность, которая, может быть, не до конца понималась нами прежде, а ныне особенно волнует. Хотя внешний образ постановки — уютная гостиная в доме Ульяновых, Митя и Маняша (эти роли в спектакле исполняют дети), резвящиеся среди взрослых, мягкий свет — настраивает на идиллический лад, ничто не может заслонить то, сколь просты отношения между членами этой большой и действительно очень дружной семьи. Родители здесь воспитывали детей на идеалах правды, добра и справедливости, уважали их мнение, и совершенно закономерно, что дети выросли революционерами. Сначала Александр. Он первый пожертвовал личным благополучием и даже благополучием обожаемой им семьи (уже в каземате, на свидании перед казнью Мария Александровна вспомнит, как маленькому Саше из всех героев «Войны и мира» более всего запомнился Долохов — «за то, что он любил свою мать»). И хотя разговоры Александра с отцом, матерью, Аней и Володей полны тревоги близких за его судьбу, становится ясно: если бы не семья, не царящая в ней атмосфера любви, честности и взаимного уважения, не было бы и того поступка, который мартовским утром 1887 года совершил Александр Ульянов, участвуя в покушении на царя, не было бы и его революционной речи на суде, ради которой он отказался от защитника.

«Путь» — практически первая постановка на недавно открывшейся малой сцене Художественного театра, и не случайно ей присуща традиционная мхатовская стилистика с богатым психологическим подтекстом в игре актеров. Талантливая работа Д. Брусникина, студента Школы-студии МХАТа — исполнителя роли Александра Ульянова — показывает, какой энергией может обладать не только действие, но и слово, произнесенное на сцене.

Тем же повышенным вниманием к слову, сосредоточенной духовностью атмосферы привлекает еще один спектакль, идущий довольно далеко от Москвы, в небольшом литовском городе Шяуляе. Это постановка «Лунии, или Смерть Жака» Э. Радзинского, осуществленная молодым главным режиссером шяуляйского театра С. Варнасом. Пьеса Эдварда Радзинского, посвященная судьбе декабриста Михаила Лунина, необычна. Она меньше всего подходит к истинно литовским событиям из жизни выдающейся личности, как это часто случается с историческими пьесами, но предлагает свою глубокую и оригинальную трактовку таких понятий, как «человек и время, в которое он живет», «человек и его совесть». Причем философского уровня размышления подкрепляются здесь живой и яркой театральной плотью: сочно выписанными характерами, динамичными, полными настроения диалогами. Так что неудивительно, что и в небольшом Шяуляе каждый вечер, когда идет спектакль, зал полон и затаив дыхание слушает и слушает Лунина (артист С. Якубаускас)...

В этом зале много молодежи. Причем по преимуществу не студенческой, как правило, хорошо подготовленной к восприятию самых сложных постановок, а рабочей (вузов в Шяуляе пока еще мало, зато много крупных современных промышленных предприятий). Режиссер, актеры, которые тоже молодцы, сразу задают тон разговора серьезного, предельно откровенного, без скидок на возраст и отсутствие опыта. «Лунии» — спектакль строгий, сухой по своим выразительным средствам, явно не рассчитанный на развлечение публики. Он весь пронизан мучительным, истовым размышлением героя о судьбах человеческих, и хотя действие происходит в тюремной камере, где Лунии вскоре будет убит, судьбы эти, неотделимые от его собственной судьбы, оживают в его памяти. Бывший друг, Палач, Возлюбленная, Государь появляются в камере, звучат их голоса, продолжается вечный спор любви и ненависти, чести и предательства, силы духа и слабодушия... И зал здесь не сторонний наблюдатель; удивительная тишина стоит на этом спектакле, тишина, которая вот-вот взорвется, столь она содержательна, столько внимания, сострадания, со-размышления она в себя вбирает.

Вспоминая спектакль, увиденный в Литве, хочется особо отметить ситуацию с молодой режиссурой, которая сложилась в Прибалтике. Уже не первый год туда обращаются взоры тех, кто ищет яркие, запоминающиеся театральные дебюты. Случайно ли это? Конечно, нет.

Прежде всего молодым в Прибалтике доверяют. И не только право самостоятельной постановки, но даже целые театры — главными режиссерами работают С. Варнас в Шяуляе, И. Вайткус в Каунасе, К. Комиссаров в Таллине, Д. Тамулявичюте в Вильнюсе. Творчество молодых постоянно находится в поле зрения мастеров: так, замечательный эстонский режиссер Каарел Ирд буквально выпестовывал самобытные дарования Э. Хермакулы и Я. Тооминга, успешно работающих сегодня в театре «Ванемуйне». С. Варнас и И. Вайткус, хотя и учи-

лись в Левинграде, прошли школу знаменитого Мильтиниса: Варнас несколько лет работал в паневежском театре актером, Вайткус был там на практике. Наковец, все они прекрасно осведомлены о планах и достижениях друг друга: в Каунасе и Шауляе мне подробно, заинтересованно рассказывали еще об одном молодом литовском режиссере — Э. Некрошюсе, поставившем несколько заметных спектаклей в Вильнюсе. Вот эта атмосфера гласности, пристального, постоянного внимания, наконец, просто деловая атмосфера и создает ту питательную среду, в которой крепнет, мужает талант, получающий счастливую возможность реализовать себя.

Наверное, за этим же приходят актеры пяти театров города Ташкента, в том числе и уже известные, например, народная артистка Узбекской ССР С. Норбаева, в Экспериментальную студию театральной молодежи. Студия эта работает в клубе «Илхом», где почти каждый вечер и собираются артисты (между прочим, большинство из них не может пожаловаться на отсутствие работы в родных стенах) затем, чтобы репетировать и, конечно, играть спектакли. Руководит коллективом молодой режиссер М. Вайль.

...Студия. Не правда ли, в самом этом слове, мелькающем ныне тут и там в выступлениях критиков, актеров и режиссеров, есть нечто заманчивое, влекущее к себе, завораживающее обещанием встречи с новыми художественными идеями и дарованиями? Пожалуй, в сегодняшних спорах оно во многом стало синонимом всего подлинно живого в театре. Может быть, это так, если слову «студия» не придавать слишком узкий, буквальный смысл. Если обозначать им не жанровые или тематические пристрастия того или иного коллектива, его принадлежность к профессиональному или самодеятельному искусству или, скажем, его возраст. А иметь в виду особую природу отношений (и творческих и человеческих) тех, кто пытается проторить свой путь в искусстве, для кого преданность сцене — естественная, необходимая форма жизни. Такая студийная «закваска», предполагающая нравственную — по большому счету — общность всех участников, их преданность и самоотверженность, есть сегодня в ташкентском коллективе. Но, что самое ценное, это еще и высокопрофессиональный коллектив.

В одной из недавних своих работ Вайль обратился к повести азербайджанского писателя Чингиза Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамнш». И наверняка не одолеть бы ему многослойную по содержанию, психологически тонкую прозу Гусейнова, окрашенную к тому же своеобразнейшим национальным колоритом, если бы не собственное зоркое режиссерское видение, не высокой пробы работа артистов. Без этих слагаемых спектакля не прозвучала бы столь впечатляюще и чисто главная его тема — соотношение материального и духовного в человеческой жизни, издревле идущее единство и противоположность этих начал, причудливо обнаруживающее себя и в наше время.

Сюжет повести и постановки драматичен: в основе его лежит история честного рабочего паренька Мамеда, сломавшегося, не выдержавшего бой с махровым мешианством семьи своего родного дяди. Полифоническое по звучанию действие (актеры разыгрывают на сцене то, что с героями было, происходит сейчас или просто существует в их воображении; образ самого Мамеда раскрыт через насыщенные смыслом диалоги двух его исполнителей — К. Мирходиева и Б. Нишаева) оказывается в результате почти буквальным сценическим воплощением красочной, терпкой и одновременно лириче-

ской прозы Гусейнова. Трагический финал потрясает, но не кажется мрачным: надежду вселяет сам Мамед, его особость, отличие от более почтенных по возрасту родственников, которое проявляется в естественном неприятии лжи, ханжества и лицемерия, в невозможности жить по принципу «ты — мне, я — тебе». Старый, как мир, закон театра, органично воспринятый постановщиком «Магомеда»: заставить зрителей пережить боль, чтобы потом ее осветлить, сделать полезной душе человека и плодотворной для его развития как личности.

Нравственные вопросы, затронутые студийцами, живо волнуют молодежь — об этом говорит и тот большой общественный резонанс, который получила постановка М. Вайля в городе.

Знакомство с интересными спектаклями, поставленными молодыми, конечно, можно было бы продолжить. В Москве, например, это и «Сашка» писателя В. Коидратьева и режиссера Г. Чернышевского — один из наиболее заметных спектаклей прошлого сезона, по достоинству оцененный критикой и зрителями, увидевшими его на малой сцене Театра имени Моссовета, и постановка режиссера С. Арцыбашева «Надежды маленький оркестрик» в Театре на Таганке. И все-таки трудно избавиться от ощущения, что творческие поиски нового поколения режиссеров не складываются в единую, достаточно цельную картину, а распадаются на отдельные части. Счет идет на единичные спектакли, единичные роли. У некоторых за первой удачей, шумко встреченной театральной общественностью, наступает полоса обидных провалов. Другие, кажется, работают ровно, выпускают одну постановку за другой, но оказываются в вакууме молчания, работы их никого особенно не задевают. А между тем годы учения позади...

Естественно, проблемы молодой режиссуры нельзя рассматривать вне контекста общей театральной ситуации. А здесь при известных успехах, несомненном приливе сил за последнее время приходится все же говорить о стойком чувстве неудовлетворенности, не покидающем и критиков, и режиссеров, и актеров, об остром дефиците открытий. «Академизировавший свои открытия авангард» — так метко, хотя и дискуссионно сказал недавно один из театроведов, рассуждая о деятельности режиссеров старшего поколения, которые ныне возглавляют лучшие наши коллективы и несут на своих плечах основную тяжесть всей постановочной работы. Это к ним приходят на стажировку выпускники режиссерских факультетов вузов, воспитанные в уважении к заслугам учителей. Это их появления с трепетом ждут молодые постановщики на последних репетициях — вот придет главный, посмотрит, поправит несколько мизансцен и выпустит спектакль. А если сам главный режиссер переживает творческий кризис или по крайней мере находится в состоянии накопления сил для следующего шага вперед? Ведь такое сегодня не редкость.

Можно ли говорить о некоторых общих чертах, присущих новому поколению постановщиков в целом, несмотря на резкое различие художественных индивидуальностей и пристрастий в искусстве? Безусловно. И когда называешь мысленно эти характерные приметы, становится понятно, почему образ молодой режиссуры дробится, вызывает желание задуматься, разобраться. (Здесь следует сделать оговорку: определение «молодой» по отношению к представителям профессии, о которой идет речь, носит достаточно условный характер. Имеется в виду не столько возраст человека, сколько время и опыт его работы на сцене.)

Увы, но сегодня по-настоящему ярких новых имен, пожалуй, все-таки меньше, чем двадцать лет назад. Причем тогда режиссеры работали, как правило, в коллективах единомышленников, имели свои постоянные сцены, репетировали со своими артистами. И актера театра Ефремова невозможно было спутать с актером театра Товстоногова или Любимова. Но сегодня молодые постановщики по разным причинам долго не задерживаются в одном и том же театре. Спектакль А. Васильева «Взрослая дочь молодого человека» по пьесе Виктора Славкина, поставленный в Московском драматическом театре имени Станиславского, был одновременно и подлинным открытием сезона и последней работой режиссера в упомянутом театре. А ведь исполнителей главных ролей во «Взрослой дочери...» вполне можно было бы назвать уже актерами васьильевской школы — столько творческих сил потратил постановщик, чтобы получился такой именно спектакль!

В Москве вообще вопрос о том, насколько полно реализует себя молодая режиссура, стоит достаточно остро. С одной стороны, молодежи идут навстречу — так, несколько лет назад главным режиссером Театра имени Пушкина был назначен А. Говорухо (к слову сказать, за все это время, по существу, так и не заявивший о себе в полный голос), недавно руководителями двух столичных театров — ЦТСА и имени Станиславского — стали Ю. Еремийн и А. Товстоногов. С другой стороны, существует целая группа безусловно одаренных постановщиков, запомнившихся всем по немногим, но ярким работам, которые никак не могут обрести своего театрального «дома» и кочуют с одной сцены на другую, а то и вовсе находятся в простое. Тот же А. Васильев вот уже третий сезон подряд не показывает премьеры, а ведь режиссер — профессия творческая, он, как и танцовщик, певец, тоже «теряет форму». Интересно начал работать в Театре имени Маяковского В. Портнов (его спектакль по пьесе Э. Радзинского «Она в отсутствии любви и смерти» доныне вызывает немалый интерес, вокруг него кипят споры), но вскоре ушел оттуда. Г. Черняховский, Б. Морозов, А. Левинский — имена этих молодых режиссеров хорошо знакомы театрам, но они все реже появляются на афише. Тому есть немало причин и объективного и субъективного характера, в которых должны разобраться те, кто отвечает за это по роду работы. Ясно одно: пока не будет распутан клубок этих причин, невосполнимые потери несут и сами художники и, конечно, зрители.

Наконец, те, кто сегодня ищет в театре непроторенных дорог, непростительно мало знают друг о друге. Так случилось, что предшествующая режиссерская волна захватила в основном московские площадки, и для того, чтобы посмотреть, чем занимается коллега, достаточно было проехать несколько остановок на любом виде транспорта. А что сегодня знает актер и режиссер Театра сатиры Левинский о студии Вайля в Ташкенте? Скорее всего немного, так как коллектив из Узбекистана еще ни разу не выступал в Москве. Вряд ли такое положение вещей можно считать нормальным. Сейчас, когда всерьез ведутся разговоры о том, чтобы «узаконить» театральный эксперимент (в студиях ли, на малых сценах, предложения здесь разные), может быть, даже создать центр, генерирующий новые идеи, вполне реально наладить обмен информацией между молодыми театральными организациями, осуществить их взаимосвязь.

Есть еще ряд причин, более сложных, из-за которых молодому режиссеру почти невозможно вечером

показать премьеру, а утром «проснуться знаменитым». Новая эра в театре чаще всего начинается тогда, когда приходят драматург и приносит новую пьесу, организующую жизнь на сцене по таким законам, каких раньше не знали. За примерами далеко ходить не надо: вспомним, кем были Чехов и Горький для Художественного театра. Но если Станиславский открыл России чеховскую «Чайку» всего лишь два года спустя после ее провала в Александринском театре, то, например, пьесы одного из наиболее интересных драматургов наших дней, Александра Вампилова, пожалуй, до конца не поняты театром до сих пор. Талантливые Л. Петрушевская, В. Славкин, А. Казанцев (список можно продолжить) с трудом находили «своего» режиссера (заметим, что когда все-таки находили, это сразу же знаменовалось яркой удачей — вспомним хотя бы «Взрослую дочь молодого человека» в постановке А. Васильева или «Уроки музыки» Л. Петрушевской в постановке Р. Виктюка).

Театр сегодня мучительно трудно нащупывает путь к новому герою, всецело принадлежащему нашему — и никакому другому — времени, новой природе конфликта, а значит, и новой пьесе. Это состояние ожидания, ощущения себя на подступах к чему-то принципиально важному, но еще не ясному совершенно накладывает отпечаток и на творчество постановщиков. Поэтому многие из них предпочитают осмысливать сюжеты классических пьес, художественный и философский уровень которых настолько высок, что подходит «на все времена». Или обращаются к событиям истории страны, будь то суд над Александром Ульяновым («Путь») или война («Сашка»). И здесь-то они добиваются успеха, обнаруживая себя современными художниками, способными оценить прошлое с верным пониманием исторической перспективы, дистанции времени.

Интересно, что при очевидной сложности своих режиссерских построений молодые отнюдь не претендуют на открытие новой театральной эстетики. Новое у них предстает скорее в неожиданном сочетании уже известных элементов «периодической системы» выразительных средств театра. Конечно, в то есть в объективные причины — когда начинали свой путь Мейерхольд и Вахтангов, другие режиссеры, в таблице этих элементов было куда больше белых клеточек. Теперь они заполнены их достижениями. Но хотя нынешнего зрителя трудно удивить — он видел сцену и с занавесом, и без занавеса, с голыми метафорическими конструкциями, и вынесенную в конец зала, и поставленную посередине его, — в нас все-таки не умирает надежда на встречу в театре с «обыкновенным чудом».

Современный зритель неоднозначен. Он обладает огромным количеством знакомых — и испытывает дефицит общения, подвергается сильнейшему воздействию феномена моды — и стремится сохранить индивидуальность, получает огромный поток информации — и не всегда чувствует себя компетентным в важных сферах жизни, таких, как, например, современная семья. Понятию, что полностью постичь такого зрителя, выразить его адекватно (как это делал «Современник» конца 50-х годов) почти невозможно. Молодые режиссеры пытаются приблизиться к внутреннему миру человека 80-х, художественно осмысливая модель его поведения, движение мысли. Не упрощая, они стараются привести своего такого сложного, отягощенного множеством забот, о которых человечество раньше и не подозревало, зрителя

к постижению непреходящих, абсолютных ценностей, изначально очень простых, таких, как доброта («Лунин»), верность идеалу («Путь»), порядочность («Мамед»). Наверное, в том, чтобы вернуть этим понятиям их истинный смысл, испытывают потребность сами художники. Таким образом они выражают и наши устремления.

Один известный режиссер, размышляя не так давно о судьбах любимой профессии на страницах газеты, писал, что молодые теперь все чаще приходят в искусство робкими, послушными «последователями», причем последователями последователей. Не проявляется ли тут стремление некоторых начинающих постановщиков к своего рода духовному комфорту, когда тот, кто выпускал спектакль, уверен в том, что чересчур взволнованных откликов (ни хороших, ни — главное — плохих) его работа не вызовет? Ов рассуждает примерно так: все знают, как трудно получить право работы на профессиональной сцене, с известными актерами. Раз выпала такая удача — нечего порою изобретать. Поставлю, как все, а пьеса, имена исполнителей, да и сама «марка» коллектива вывезут. И, добавим от себя, ставят: все правильно, все в соответствии с тем, как учили, и все... очень скучно. А ведь наверняка проходили в вузе, что сам создатель системы — Станиславский — в пору наивысшего своего режиссерского расцвета мучился, терзался над каждой новой работой, писал, что его детище, его театр «гибнет». И нетерпимо относился к любым проявлениям творческого благодушия, спокойствия со стороны молодых.

Старейшая артистка МХАТа Ангелина Осиповна Степанова вспоминает, например, такой эпизод. Както ей, в ту пору начинающей актрисе прославленному уже коллективу, поручили поехать домой к Константину Сергеевичу, чтобы сопровождать его по дороге в театр (праздновался юбилей Художественного). Нарядно одетая, с букетом цветов, она переступила порог его квартиры в Леонтьевском переулке. И поразилась совсем непарадиому, неторжественному настроению Станиславского — он был бледен, очень взволнован, нервничал. Праздник — день рождения театра — воспринимался им в тот момент прежде всего как определенный рубеж, и он не мог быть покоен, задавая вопросы: с чем пришел МХАТ к юбилею? Что будет дальше? Это чувство постоянной тревоги за судьбу своего театра, жившее в учителе (наверное, оно сродни материнскому чувству), навсегда запомнила артистка...

И, наверное, будущим режиссерам наряду с лекциями об актерском мастерстве и истории театра стоило бы читать лекции о том, как научиться самоотдаче во время работы, чтобы все твои сомнения, страхи и надежды обрели кровь и плоть на сцене. Как научиться совершенствовать свое восприятие мира, вырабатывать собственную — творческую и человеческую — позицию и не сдавать ее ни при каких обстоятельствах.

А обстоятельства в жизни каждого складываются по-разному и не всегда удачно. Бывает, что, по образному выражению художественного руководителя Ленинградского Большого Драматического театра Георгия Товстоногова, вчерашний выпускник приживается на театральной почве так же трудно, как зерно, брошенное в асфальт. Случайно ли то обстоятельство, что в больших городах успех чаще всего приходит к молодым режиссерам, когда они работают на малых сценах или в коллективах студийного типа? Думается, что нет. С одной стороны, это вызвано некоторой камерностью, локальностью их собственных творческих исканий, — особенностью

многих современных пьес, в том числе и начинающих драматургов, в которых чаще детально исследуется один аспект жизни героев, одна ситуация, нежели дается объемная, многоплановая картина действительности. С другой стороны, подобная тенденция отражает реальные сложности взаимоотношений деятелей искусства с миром «большой» сцены.

...«Час ученичества — он в жизни каждой торжественно-неотвратим». Кому из молодых режиссеров не доводилось испытывать острую потребность в Мастере, Учителе, какими были, например, для своих учеников Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд? И приобщение к таинству их искусства чаще всего начиналось с совместной, вспоминавшейся потом в течение всей жизни работы. Увы, сегодняшний студент ГИТИСа гораздо чаще встречается со своим преподавателем в вузовской аудитории, нежели в театре. А после того как получен диплом? Много ли мы знаем случаев, когда руководитель театра, признанный мастер сцены, взял бы под свою творческую опеку выпускника и помог ему стать самостоятельным, интересным художником?

Даже предусмотренные штатным расписанием должности режиссеров-стажеров мало помогают — их счастливые обладатели чаще всего либо томятся без дела, либо используются главным образом в качестве помощников. Вот и приходится идти в студию, где можно почувствовать себя личностью, действительно цементирующей, направляющей усилия автора пьесы, актеров и зрителей, где есть место для конкретного воплощения (пусть и носящего пока пробный характер) определенной творческой программы. Так работают Р. Виктюк в театральном коллективе при Доме культуры «Москворечье», В. Белякович в Московской студии на Юго-Западе... Отчасти поэтому, может быть, и возникают довольно странные ситуации, когда на какой-либо студийный спектакль невозможно попасть и в зале, как говорится, вся театральная Москва, а в самом центре города многие театры раскрывают занавес перед наполовину пустыми рядами кресел.

Время и в самом деле бежит быстро. Многие вчерашние молодые и перспективные буквально на глазах теряют эти качества. И если не была утолена их жажда творчества, остались невоплощенными их замыслы, то это касается не просто отдельных человеческих судеб, но и всего театра в целом. Ведь не только в датском королевстве — в мире сцены тоже ни в коем случае не должна быть прервана «дней связующая нить».

...Долгий, долгий день наступает для режиссера после звездного, часа ученичества, и его резкий, слепящий глаза дневной свет бывает очень не похож на уютный сумрак зрительного зала, куда ты еще вчера приходил гостем. Сегодня здесь надо работать. Разгадывать таинственную загадку сцены, вечную, как улыбка Моны Лизы. Прекрасно сказал об этом известный французский режиссер Жан-Луи Барро: «...Вот и сбылась мечта моего детства. Я живу, я связываю в этот момент свою жизнь с жизнью театра. Этой ночью посвящения я догадался, что проблема театра заключается в одном — заставить вибрировать тишину. Оттаять тишину... Когда тысяча сердец бьется в такт, и мое сердце бьется в такт с ними, когда биение моего сердца совпадает с биением других сердец, когда все мы составляем единое целое, я могу сказать, что познаю любовь между людьми».



**ЮРИЙ
КОВАЛЬ**

ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ

На снимке: И. С. Соколов-Микитов
в последние годы жизни.

Фото Г. Шпыхова.

Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову в мае этого года исполнилось бы девяносто лет.

Для меня это был писатель из давних времен, вроде Мамина-Сибиряка. С детских лет я знал и любил его книги, но все-таки даже фамилию произносил неверно: Микитов вместо Микитов.

Познакомиться с ним я никогда в жизни и не мечтал. Но вот случилось так, что в журнале «Вопросы литературы» мне предложили делать интервью с мастерами слова.

Я обрадовался и как-то быстро и весело подготовил интервью с Павлом Григорьевичем Антокольским. Работать с Антокольским было чудесно. Павел Григорьевич бурлил. Он вдохновенно сам себе задавал вопросы и не ленился на них отвечать.

Материал наш напечатали, а через месяц-другой снова раздался звонок из редакции:

— Любишь ли ты Соколова-Микитова?

Нет, один-одинешенек, сам по себе, я к Соколову-Микитову не поехал. Я пригласил Лидию Васильевну Прозорову, стенографистку. С нею мне было спокойней.

Человек добрый, простой, уравновешенный, Лидия Васильевна была воистину мастером стенограммы. Вместе с нею мы уже бывали у Антокольского и вполне сработались.

В какой-то мере Лидия Васильевна была моим щитом. Ее серьезный взор и деловитость защищали от подозрений в моей излишней молодости и некомпетентности.

Иван Сергеевич перебрался уже в то время из Ленинграда в Москву и жил в сером, мрачноватом на вид доме на проспекте Мира.

Дверь нам открыла жена Ивана Сергеевича Лидия Ивановна и, пока мы мялись в прихожей, мягко прикрикнула в дверь комнаты:

— Ванечка, «Вопросы литературы»!

Из комнаты послышалось одобрительное бурчание:

— Ну что ж. Это хорошо.

Мы вошли и увидели Ивана Сергеевича. Он сидел в кресле почти напротив двери, а справа от двери стоял низенький диванчик, на котором мы и устроились.

Пока знакомились, пока Иван Сергеевич радовался, что оказался в обществе двух Лидий, я мельком огляделся и понял, что в комнате очень темно. Глухие, тяжелые портьеры закрывали окно от дневного света. Мелкие предметы рассмотреть было трудно, и я вперился в хозяина. Так бывало и потом, когда я приходил к нему. Я не успевал разглядеть комнату, а все смотрел на Ивана Сергеевича. Он притягивал взор и насыщал его. Разглядывать какие-нибудь предметы было уже нелюбопытно.

В тот первый день я увидел и узнал Ивана Сергеевича таким, каким видел и во все остальные наши встречи. Он был в глухом темном коричневом халате, в зеленых защитных очках, в ермолке.

Сидящая на его голове не слишком франтовато ермолка эта выглядела академически, профессорски.

Вспомнились стихи П. А. Вяземского:

Еще люблю подчас жизнь старую свою
С ее ущербами и грустным поворотом,
И как боец свой плац, простреленный в бою,
Я хожу свой халат с любовью и почетом.

Халат Ивана Сергеевича казался особым. Он был толст и тепел, как пальто. Я сразу понял, что таких халатов больше нет на свете.

По сути дела, это и не был халат. Он совмещал в себе все: и пальто и костюм, а в день знакомства показался мне мантией.

Белая борода, ермолка и особенно остро-зеленые очки отвлекали от лица, мешали рассмотреть его как следует. Когда же Иван Сергеевич снял ненароком очки, я увидел лицо редкой скульптурной силы и почти детские, беспомощные глаза.

Между тем мой чит — Лидия Васильевна уже всю работала. Она спокойно беседовала с хозяевами о том о сем, давая мне время прийти в себя, сосредоточиться.

Лидия Ивановна предложила чаю. Мы не отказались, и, пока хозяйка собирала на стол, Иван Сергеевич вспомнил обо мне.

— Вот видите, — сказал он, — живу на барсучьих правах.

— Как это? — не понял я.

— А так, живу, как барсук. Вы не охотник?

— Охотник, — растерялся я.

— Ну так вы должны знать, что барсуки выходят из нор только ночью. У них слабые глаза, не переносят дневного света. И у меня теперь слабые глаза, вот занавешиваю окно. Так хочется в лес, на волю. Ну, ничего, скоро весна, поедем в Карачарово.

Я задал свой первый вопрос, приготовленный дома:

— Иван Сергеевич, когда читаешь ваши «Детство», «Чижикову лавру», морские рассказы, волей-неволей приходишь к выводу, что вы никогда ничего не придумываете, а пишете только о том, что видели и пережили.

— Я никогда не считал себя сочинителем и действительно никогда не выдумывал того, о чем писал. Я писал о тех людях, которых встречал, с которыми знакомился и которых любил. Я ведь не принадлежу к писателям, которые составляют себе план, потом размышляют... Большинство из того, что я написал, получалось как-то само собой, и я не могу сказать, как это происходило. Возникала мысль или воспоминание, тянуло меня к бумаге, и я писал, не вымышляя ничего. Про многие рассказы я и не знал, что напишу их.

Спокойно, неторопливо и значительно отвечал мне Иван Сергеевич. Он размышлял и вспоминал. Уже и чай был на столе, а Лидии Васильевне некогда было глотнуть. Она писала, а мы с Лидией Ивановной слушали.

— А как вы стали писать?

— Случайно. Я не помышлял быть писателем. Когда мне было лет семнадцать, задолго еще до революции, думаю, что в 1910 году, я написал сказку. Я жил тогда в Петербурге и учился на частных сельскохозяйственных курсах. Написанную сказку я никому не показывал, пока не узнал, что сказки любит и собирает Алексей Михайлович Ремизов¹.

Я решился пойти к нему.

Свою сказку вместе с письмом я оставил у швейцара. Получил я от Ремизова очень ласковое и любезное письмо, в котором он писал, что сказка ему понравилась и будет напечатана в журнале «Заветы».

Когда я во второй раз пришел к Ремизову, он меня принял. Он сел со мною за стол, положил мою рукопись, и мы стали от слова к слову ее просматривать. Он показывал на промахи, учил и поправлял меня. Это был естественный урок и запомнился мне на всю жизнь. Тщательное, бережливое отношение к слову Ремизов внушил мне сразу...

Спокойно и свободно чувствовал и себя в день первого знакомства с Иваном Сергеевичем. Приятно

было в доме его пить чай, говорить о том о сем с хозяином, очень располагающим к сердечной беседе.

Слово «интервью» вызвало у Ивана Сергеевича некоторую насмешку.

— Это что ж, ваша работа — «интервьюер»? — спросил он.

Я и растерялся и застеснялся, принялся что-то лепетать и объясняться и в конце концов все-таки рассмешил хозяина, предложивши называть меня «интервьюера» вместо — Юра.

— Не люблю я слов такого рода, — сказал Иван Сергеевич. — В языке нашем появилось много сорных словечек.

— А как вам такое сочетание — «водоплавающая дичь»?

— Очень нехорошо. Тогда и зайца нужно называть — «землебегающий». Или говорят — «пернатые друзья». Бог знает, откуда это появилось. Откуда выкопали это слово? Никогда охотник не скажет, что идет он на пернатых или водоплавающих.

— Вы считаете, что язык наш стал беднее?

— Не то что беднее — однообразнее. Раньше, когда я слушал мужика или матроса, я видел его лицо и языке — каждый по-своему говорил. А теперь все говорят одинаково, даже писатели. Толстого от Гоголя вы могли отличить по одной фразе, а сейчас откроешь книжку, но не всегда узнаешь по языку, кто же ее написал.

— По-моему, здесь немалую роль играют и некоторые наши редакторы.

— Да, редакторы и мне в свое время много крови попортили. Когда-то мой двухтомник редактировала женщина, которая во всех моих деревенских рассказах слова «мужики» и «бабы» заменила словами «крестьяне» и «крестьянки»...

Интервью с чаепитием — оно не было конечно в один день. Потом еще не раз и не два приезжал я к Ивану Сергеевичу. Я уже не брал с собой Лидию Васильевну, дружеское расположение хозяина облегчало мне работу, и успевал и записать, что надо, и чаю попить, и так просто поговорить о том о сем.

Сейчас, через много лет, я просматриваю записи наших бесед, но сердце почему-то отвлекается от старых бумаг.

...Сейчас уж не помню, как и зачем, но вдруг я оказался на проспекте Мира.

Был солнечный летний день.

Я спешил куда-то, даже бежал, и вдруг увидел Ивана Сергеевича. В темном своем халате, запахнутом на груди, он шел навстречу мне, шел стороной от бегущей толпы, почти прижимаясь к стене серо-розового дома. И эта разница между бегущей толпой и седобородым человеком у стены дома вдруг отчетливо и резко ударила в сердце.

Я так и застыл на месте.

Иван Сергеевич не видел меня, не мог увидеть, и я не знал, как быть. Подбежать к нему и крикнуть, что здесь, мол, я, казалось неловко. Не такие уж мы близкие друзья, чтоб так вот на улице подбегать и кричать.

Медленно-медленно шел Иван Сергеевич, а я растерянно шел стороною за ним.

Вдруг Иван Сергеевич исчез. И тут я увидел вывеску — «Белый медведь». Я заглянул в кафе. Иван Сергеевич заказал у стойки коньяк.

Уныло дожидаясь я на улице, когда Иван Сергеевич выйдет из кафе.

По-прежнему держась стены, он отправился в обратный путь, а я все так же стороною побрел за ним, не решаясь объявиться.

¹ А. М. Ремизов — русский писатель (1877—1957).

Так добрался Иван Сергеевич до перекрестка и остановился. Ему надо было здесь перейти улицу. У края тротуара он стоял, ожидая, что кто-нибудь переведет его. Тут я и подошел.

— Иван Сергеевич,— говорю,— это я здесь рядом с вами, ваш знакомый.

— Вот как хорошо-то! — обрадовался Иван Сергеевич.— Как же вы так объявились? Не звоните, не приходите, а как улицу переходить — объявляетесь.

— Черт его знает как,— ответил я.— Только так уж получилось.

Иван Сергеевич взял меня под руку, и мы пошли через улицу. Он радовался неожиданной встрече, а я-то просто сиял. Только перешли улицу, как Иван Сергеевич сказал мне полутайно:

— Тут неподалеку есть кабачок «Белый медведь». Не хотите ли зайти?

Мы повернули назад и еще раз перешли улицу...

...Здесь мне хочется написать, кого любил Иван Сергеевич.

Радостно, по-детски он и Лидия Ивановна любили Твардовского.

Как только о Твардовском заходил разговор, Лидия Ивановна с восхищением начинала рассказывать. Отчего-то особенно часто она рассказывала про ящик с помидорами. Как однажды Твардовский, гостя у Соколовых-Микитовых, заметил, что внук Ивана Сергеевича Саша с удовольствием ест помидоры, которых на столе было немного. Через несколько дней Твардовский прислал Саше целый ящик помидоров.

Об этом сказочном ящике Лидия Ивановна вспоминала не раз, и Иван Сергеевич любовно поправлял детали.

В нашем интервью (журнал «Вопросы литературы», № 6, 1969 г.) о Твардовском сказано было совсем немного:

«Моем близким другом считаю и Александра Трифоновича Твардовского — моего земляка, с которым меня свела судьба лет 20 назад. Творчество Твардовского мне близко душевно».

Такая краткость Твардовского никак не обидела. Интервью он прочитал и похвалил, но высказал огорчение, что и числе друзей Иван Сергеевич назвал его после Федина. Твардовский считал, что он поближе к Ивану Сергеевичу, чем Федин.

В доме Ивана Сергеевича единственный раз в жизни встретился я с Твардовским.

Мы беседовали с Иваном Сергеевичем, как вдруг звонок — внезапно приехал Твардовский. Он вошел в комнату шумно и живо.

— Темно как у вас,— сказал он.— Как в каземате Петропавловской крепости.

Он подошел к окну и распахнул глухие шторы, скрывающие свет.

Распахивать шторы эти не было дозволено никому. Дневной свет утомлял больные глаза хозяйина. Ни Иван Сергеевич, ни Лидия Ивановна этого Твардовскому не сказали. Видно, ему было дозволено...

Иван Сергеевич любил С. М. Алянского. Он говорил мне:

— Вот у вас выходит книжка. Хорошо бы, чтоб она попала на глаза Алянскому.

— Она как раз и попала,— хвастался я.

— Самуил Миронович — замечательный человек... Нет у нас другого такого знатока и мастера книги. Вам повезло. Я-то люблю Алянского.

Очень любил Иван Сергеевич замечательного поэ-

та Владимира Александровича Лифшица. Часто в разговорах упоминал он его имя.

Ефим Дорош и Владимир Лакшин, близкие товарищи Твардовского, тоже любимы были в доме Соколовых-Микитовых.

Иван Сергеевич был человек особенный. Однако объяснить эту особенность, рассказать, в чем ее смысл, трудно.

Высокая нравственная чистота, абсолютная цельность и правдивость — все эти черты свойственны были Соколову-Микитову, но все это лишь дополнения к тому главному, чем обладал он. Попросту сказать, Иван Сергеевич был из тех людей, которых раньше на Руси называли святыми.

Человек, обладающий нечистой совестью, не мог явиться перед ним. Для меня Иван Сергеевич всегда был ориентиром души, к его образу прибегаю я, когда одолевают сомнения.

— Я люблю Торо¹, — говорил Иван Сергеевич.— Мне кажется, что мы с ним одинаково понимаем природу и любим ее. Мне частенько приходилось жить в одиночестве в лесу, но я не ставил себе тех задач, какие он ставил перед собой. Я просто жил в лесу и кормил себя тем, что добывал своими руками.

Как-то я жил в тайге на глухом безлюдном озере. Там кто-то давным-давно поставил избушку.

Я ловил хариусов. Их там было множество, и когда я начинал чистить рыбу, из груды камней, которые лежали около домика, всегда выбегал горностай и кормился рыбными отбросами.

Горностай, как известно, зверь не очень-то добрый, но он так привык ко мне, что стал заползать в спальный мешок, сделанный из оленьих шкур; у нас установилась с ним дружба. Большинство диких зверей привыкает к человеку.

В этой избушке и прожил часть зимы — зимы там затяжные, а весна поздняя.

Торо был проповедник, а я проповедником не был. Но некоторые места в его проповеди мне очень близки и понятны. В Англии я наблюдал «Армню спасения» — благотворительную организацию. Торо ненавидел благотворителей, чувствуя в них фальшь.

Благотворительность — это еще не истинная доброта, а в Торо есть истинная доброта. Основа философии Торо — это любовь к подлинной жизни.

Я считаю, что подлинная жизнь — это когда человек оставляет за собой след, большой или малый, — продолжал Иван Сергеевич.— А след этот остается, если человек делает какое-нибудь добро. Я считаю, что писательство тоже должно быть таким делом, из которого пронстекает добро. Вот мы пишем книги, пишем о хорошем, добром и этим выполняем какой-то свой внутренний долг. Я считаю, что в этом и значение писателя, художника и каждого человека — делать добро.

¹ Г. Торо (1817—1862) — американский писатель, автор известной книги «Уолден, или Жизнь в лесу».



«ДОМИК В ЧУГУЕВКЕ»

Ты спрашиваешь, почему я всегда в первой четверти учусь хуже, а потом поправляюсь. Дело в том, что я все-таки мальчик, а в течение первой четверти стоит очень хорошая погода. Когда чувствуешь, что за спиной стоит целый вагон времени до весны, то хочется погулять и наиграться на всю зиму, тем более, что лето я провожу без товарищей».

Такое письмо получила в 1916 году жительница таежного села Чугуевка Антонина Владимировна Фадеева от своего сына Саши, учащегося Владивостокского коммерческого училища. Летом, на каникулы, приезжал Саша в Чугуевку — зимой проехать было невозможно. Любимым местом его игр — а Саша был необычайно увлечен книгами Джека Лондона, Фенимора Купера, Майн Рида — были развалины древней крепости Золотой империи джурдженей. Он в четыре с половиной года выучился читать, обладал прекрасной памятью и был предводителем деревенских

мальчишек, которые безоглядно верили его индейским приключенческим выдумкам.

Описанием этой крепости и начинается его первая повесть «Разлив», написанная в 1922—1923 гг.

«В те времена полуразрушенные валы и рвы древних крепостей Золотой империи обрастали кривыми дубами, а каменные ядра, разбросанные по пади сгнившими впоследствии катапультами, покрывались ярким бархатным мхом, и ими резвились в травяной сени веселые лисенята».

Осенью 1950 года дальневосточные школьники, в том числе и чугуевцы, приехали в Москву. На даче в Переделкино их принял Фадеев. Каждому он подарил «Разгром» с автографом, а потом из привезенных из Москвы документов, книг, фотографий сложился школьный музей, который постепенно расширялся. В 1960 году открылся Дом-музей А. А. Фадеева в Чугуевке, и основой его послужили документы, бережно хранившиеся в чугуевской школе.

По переписи 1913 года, то есть тогда, когда узнал Чугуевку Фадеев, там было всего лишь 124 домохозяйства. Сейчас Чугуевка — это большой поселок, центр района, который занимает третью часть Приморского края.

В новом здании музея, открывшегося прошлой осенью, за полгода побывало более четырех тысяч человек — не только из Приморья, но и с Украины, из Читинской области, из Хабаровского края, Горького, Москвы. Бывают дни, когда музей работает совсем «по-столичному» — экскурсоводы проводят по залам до двенадцати экскурсий.

В двенадцатом номере за прошлый год «Юность» писала уже о Чугуевке, о музее Фадеева, о том, что наш журнал взял шефство над Домом-музеем. В феврале редакция послала первый свой десант в Приморье. За эти семь дней мы встретились с моряками, студентами, летчиками, школьниками, с творческой молодежью. Около восьмидесяти книг со штампом «Библиотека «Юности» и с автографами авторов было передано библиотеке Дома-музея. Свои книги принесли в редакцию авторы «Юности» — А. Адамов, А. Алексин, В. Амлинский, А. Ананьев, Т. Андропова, Ю. Аракчеев, Э. Бабаев, В. Баширов, Т. Бек, М. Владимов, Е. Воронцова, Л. Григорьева, О. Дмитриев, Ю. Додолев, И. Драч, М. Ефетов, А. Жигулин, Л. Завальнюк, В. Золотухин, А. Иванов, В. Карпек, М. Квливидзе, Н. Кислик, А. Костин, В. Коржиков, В. Костров, В. Кузнецов, Т. Кузовлева, А. Кучаев, Ю. Левитанский, Н. Леонов, И. Литвинцев, А. Николаев, О. Николаева, Е. Николаевская, Л. Озеров, В. Павлинов, Ю. Папоров, В. Поволяев, В. Савельев, В. Сикорский, Л. Смирнов, С. Сорин, А. Чупров, З. Шейнис, Г. Щербакова. Книгу С. Преображенского передала в дар музею Г. Б. Преображенская.

Библиотека «Юности» пополняется. Пополняется и экспозиция Дома-музея в Чугуевке. «Юность» обращается к вам, наши читатели: если у вас есть документы, материалы, связанные с творчеством, общественной деятельностью А. А. Фадеева, передайте их на хранение Дому-музею в Чугуевке.

Адрес музея: 692400, Приморский край, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 170.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ЮНОСТИ»

Ирина ХУРГИНА, Андрей ПОТЕМКИН,
Леонид ШИМАНОВИЧ (фото).



ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ ПОД «МУЗЫКУ»...

Все началось с того, что однажды я включил транзистор и услышал «Музыку» Тамары Гвердцители. Я знал, конечно, что прошедшей осенью студентка Тбилисской консерватории Тамара Гвердцители была удостоена первой премии на «Алой гвоздике» в Сочи, но, как она поет, услышал впервые.

Песня ныне в широком ассортименте: кто с диска песню себе берет, кто — с кассеты... Я, конечно, вместе со всеми, но и несколько в стороне. Участвуя в массовых играх скорее как комментатор. Словом, я тот репортер, который никогда не меняет профессию. И мог ли я представить, что тоже обзаведусь песней? К тому же мелодия этой «Музыки» такова, что постоянно от тебя ускользает, и слова неведомые — грузинские. Вот в какую я влип историю...

А может быть, думал я, следует поспешить в Тбилиси? Я не гоняюсь за каждым, кто обрел успех. Предпочитаю удостовериться, что именно мне

готовы дать интервью. Жду некоего сигнала от будущего собеседника, хотя тот, возможно, даже не осознает, что посылает мне этот сигнал. Тут какая-то телепатия, но я в это дело не углубляюсь. Мне достаточно знать, что есть у меня такая особенность — предугадывать будущего собеседника.

Напевая «Музыку», я терпеливо выстоял долгую очередь в кассу Аэрофлота, но так случилось, что с первой попытки в Тбилиси не улетел. Рейс час за часом откладывался, так длилось до позднего вечера, ночь я предпочел провести дома, а когда проснулся... мой долгожданный самолет уже выруливал на стартовую полосу аэропорта «Домодедово».

Что ж, еще Оскар Уайльд утверждал, что пунктуальность — вор времени. И, дав волю своему безотказному воображению, я представил, что уже прилетел в Тбилиси и вот знакомлюсь с Тамарой Гвердцители.

Вариант первый — мы знакомимся в консерватории. Тамара идет по длинному коридору, задумчивая и отрешенная, и вдруг радостно улыбается — сразу меня узнает.

Вариант второй — знакомство на проспекте Руставели. В толпе вечерних гуляк, которые, пылко друг друга приветствуя, долго и проникновенно осведомляются о самочувствии и настроении, я иду, стремясь не выглядеть излишне целеустремленным. И толпа неожиданно стихает, а она, Тамара, привычно — уже привычно! — отстраняясь от восторженных взглядов, быстро пересекает улицу, но, увидев меня, конечно, сразу опять узнает.

И в других вариантах не возникало проблемы, как наладить контакт. Но едва я пытался вообразить, как будет развиваться наш разговор, ловил себя каждый раз на том, что сам почему-то даю ей интервью.

То она спрашивала: как я избрал профессию репортера? И я терялся, начинал вдруг оправдываться, — дескать, в детстве был очень скромным мальчиком, но меня погубила излишняя любознательность... В другом случае, прижатый к стенке ее вопросом: как, будучи репортером, избежать очевидностей и расхожих слов? — я начинал сознавать, что задавать вопросы зачастую гораздо проще, чем отвечать на них.

И, наконец, устав насиловать собственное воображение, я пришел к выводу, что найду всему объяснение, лишь действительно оказавшись в Тбилиси. Но едва я подумал об этом, как раздался телефонный звонок — безвестный любитель песни из города Везьегонска спешил сообщить, что Тамара Гвердцители только что приземлилась в Москве, чтобы записаться во всемирно ожидаемую телепрограмму «Песня-81», и намерена остановиться в гостинице «Россия». Я невольно признался, что чудом не улетел в Тбилиси, но это несколько не удивило всеведущего везьегонца, он счел нужным мне посоветовать — впредь крепче держать связь с истинными друзьями песни.

Но все твои злоключения на пути к интервью неминуемо обретают смысл, если интервью удастся. Тот вечер я провел в гостинице «Россия».

Тамара говорила, что «Музыка», которую написал Важа Азарияшвили на слова Мориса Подхивили, еще больше бы мне понравилась, знай я грузинский язык, но в песне нет ни одного банального слова.

— Я пою о том, что музыка — это и бог и дьявол, что музыка — это боль, которая так сладка...

Спросил, давно ли она поет.

— Моя мама утверждает, что... с десяти месяцев!

Позднее, когда в Москве объявится один мой замечательный тбилисский друг, я узнаю много удивительных подробностей (легенда уже творится!) о девятнадцатилетней Тамрико.

Да, ей действительно было лишь десять месяцев, когда мама, напевая ей колыбельную, удостоверилась, что Тамрико слышит песню и даже пытается ее подхватить. А теперь она не только поет, но и сама сочиняет песни, и ее «Мравал жами эр» на слова Галактиона Табидзе (в переводе на русский — «Здравная», или, скажем, «Многие лета») поет весь Тбилиси, и именно этой песней Тбилиси встречал своих футболистов в тот исторический день, когда они возвратились домой с Кубком европейских чемпионов... Тамрико не менее одарена и как пианистка, да и вообще чуть ли не все факультеты Тбилисской консерватории ведут яростный спор: какой из них первым делом она должна закончить? А на гитаре она играет так, что вся Испания была у ее ног...

Сама Тамара неизмеримо сдержаннее оценивает свое умение играть на гитаре. Однажды, когда ей было лет десять-одиннадцать, она заболела и вра-

чи уложили ее в постель, запретив — на целых две недели! — подходить к пианино. И тогда она выпросила у соседки гитару и принялась учиться играть на ней указательным пальцем левой руки — остальные пальцы ей мешали, и она их сжимала в кулак. А осенью восьмидесятого года (в то лето, кстати, Тамара в составе «Мэзиури» участвовала в культурной программе Московской Олимпиады), аккомпанируя себе на гитаре, она пела уже в Мадриде, Барселоне, Толедо. Перед поездкой брала уроки языка, чтобы исполнять «Гренаду» Де Лары не только в собственной интерпретации (тут она шла на великий риск, соперничая с самим Клаудио Виллой!), но и на испанском.

— Я не могла, конечно, впечатлить испанцев как гитаристка. Но принимали меня хорошо. «Гренада» и женском исполнении им была неведома...

Она любит петь, сама себе аккомпанируя. И гитары не сторонится, но предпочитает фортепьяно. По ее мнению, в сольном концерте следует разнообразить музыкальное сопровождение: одну песню исполнить, допустим, под несколько скрипок, а следующую — а капелла... Не исключается и большой оркестр.

— Но весь концерт петь под электронику невозможно. Пропагандировать полтора часа со сцены достижения техники — зачем?

Она говорила, что ее не влечет такой стиль исполнения, когда все чувства, как белье на веревке, вывешены. А ей близка, например, Барбара Стрейзанд — за драматизм, сдержанность, экспрессию.

— И даже когда Стрейзанд «срывает» с себя все одежды, голос ее продолжает звучать красиво.

А я говорил...

Впрочем, надо знать меру. Репортер для того и обращается к интервью, чтобы позволить высказаться собеседнику. Но как-то незаметно мы с Тамарой поменялись ролями: она спрашивала, а я отвечал. Если помните, я предвидел, что так может случиться. Однако реальная Тамара задавала вопросы как бы вскользь, каждый раз стремясь предугадать, не будет ли ответ для меня затруднителен.

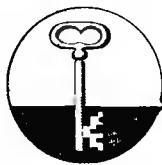
Я заметил, что столь деликатный репортер был бы неминуемо обречен уступать своим коллегам по профессии. Но она вдруг призналась, что, участвуя уже в двух песенных конкурсах, научилась разжигать в себе злость, борясь за первенство. Однако гнаться за модой и цепляться за шлягеры она не намерена.

— Чтобы не подлаживаться к публике, а заставлять ее задумываться. И пусть не будет успеха, но я свое скажу.

И как раз в тот день, когда я принес в редакцию этот материал, я перестал напевать ее «Музыку». А других ее песен пока не знаю...



(Ваш Деликатный Репортер.)



ЮРИЙ
ПИЩУЛИН

«ЖИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ СТЫДНО...»

*Из достоверных свидетельств
о Федоре Юрковском,
которого называли
Сашкой-инженером*



На снимке: Федор Юрковский,
1874 год (фотография из альбома
«наиболее опасных
государственных преступников»,
который хранился
в личном архиве Александра III).

В то воскресное утро, 3 июня 1879 г., душный и шумный Херсон оказался почти на военном положении. На ноги была поднята не только полиция, но и местные войска. Караулы останавливали проезжих и прохожих по всем заставам и дорогам. Вскоре на базаре, в лавках, па улицах заговорили о поразительной новости: при совершенно таинственных обстоятельствах социлисты похитили из подвалов Херсонского казначейства деньги. Много денег...

Е тот же день новость достигла и маленького местечка Алешки, расположенного в полутора часах шляпочного пути от Херсона. Вместе с другими алешковцами выслушивал подробности неслыханного происшествия, удивлялся и разводил руками коренастый, невысокий и очень общительный человек, который называл себя Алексеевым. Совсем недавно он поселился здесь с сестрой Аниой, намереваясь подлечить ее купанием в здешних йодистых озерах...

1. В начале мая 1879 года элегантная брюнетка, жена морского доктора, как она представлялась любопытствующим, спрашивала о свободных квартирах в центре Херсона. Доктор с семьей должен был скоро приехать. Свободной оказалась

квартира в доме, принадлежащем вице-губернатору Пащенко.

Барыня долго и придирчиво ее осматривала. Говорила, что квартира великовата. Возмущалась мебелью и отделкой комнат. Сомневалась, может ли она без мужа решиться на те большие затраты, которые здесь явно необходимы. Тем не менее 5 мая она вручила задаток, предупредив дворника, что она будет предварительно отделять комнаты на свой счет, по-своему выкрасит потолки и стены, а также велит переделать печи...

Эта «барыня» была известной на юге России участницей народнического движения Еленой Россиковой. Владелица образцовой школы для девиц в Одессе, она все свое состояние (около восьмидесяти тысяч рублей) уже отдала революционному движению и теперь мечтала о грандиозной экспроприации, которая позволила бы добыть как можно больше денег для помощи политическим заключенным и ссыльным.

Конкретный план такой экспроприации предложил ей Федор Юрковский.

Мысль об этом появилась у Юрковского еще в 1874 г., когда, управляя лесопильным заводом в Херсоне, он бывал в казначействе. «Здесь мое внимание, — рассказывал впоследствии Юрковский, — остановилось на странном способе хранения сумм в подвальной кладовой, причем внутри нет никакого присмотра, вся охрана ограничивается лишь одним часовым у двери, как будто не допускается возможность проникнуть в подвал помимо дверей. Здесь же в голове моей составилась приблизительный план действия через подкоп; дело представлялось в реально осуществимом виде; я произвел измерение ширины улицы до дворов соседних квартир, составил предварительную смету затрат, выискивал время, необходимое для производства работ...»

И вот через пять лет капризная «докторша» четко выполняла инструкции Юрковского. А главная из них была «занять ближайшую квартиру, из которой предполагалось вести подкоп, расположиться там самым семейным, домашним образом».

Некоторая нерешительность «барыни» при найме объяснялась тем, что квартира не в полной мере соответствовала намеченной цели. Она примыкала непосредственно ко двору вице-губернатора и была удобна для ведения подземной «мины», то есть прокладки тоннеля к подвалу казначейства. Но в квартире целых восемь комнат, и для придания ей домовитости нужны значительные затраты. (Между тем участники дела располагали суммой вдвое меньшей, чем им было нужно.) Выбора, однако, не было, и «барыне» пришлось принимать решение без «мужа».

Вскоре в квартире закипела работа. Еще один участник дела, Яков Погорелов, он же Алексей Клименко (распропагандированный народниками утоловник), под видом мастера, взявшего подряд на отделку квартиры, нанял рабочих и принялся ломать печи и перекрашивать стены.

А в середине мая Россикова встречала на пристани невысокого полного господина в цилиндре и синем галстухе, с козлиной бородкой. В руках он держал франтоватый зонтик. Жандарм, встречавший каждый приходящий пароход, не должен был узнать в этом господине хорошо известного ему по общему херсонскому знакомому Федора Юрковского...

2. «26 мая, — свидетельствовал Юрковский, — мы торжественно приступили к работе: прорезали две доски пола в углу маленькой кухни, выходящей фасадом прямо против денежного подвала, так что образовалось отверстие аршина полтора длиной и около трех четвертей шириной, затем начали рыть колодезь...»

«Барыня» поселилась в двух отделанных комнатах, и ее роль была несколько усилена появлением на сцене «горничной» — жены Я. Погорелова с грудным ребенком. «Горничная» стала ходить на базар, готовить пищу и осуществлять «внешнюю политику», то есть сплетничать о своей барыне с дворником.

С подкопом следовало спешить, потому что ремонт остальной части квартиры нельзя было затягивать бесконечно, да и мифический муж, морской доктор, уже неприлично долго задерживался с приездом.

Проблемы между тем возникали на каждом шагу. Во двор выходили окна вице-губернаторского дома и других квартир. Здесь всегда были люди, а возле кухни постоянно вертелся дворник. Куда в таком случае девать землю из подвала? Юрковский предложил прятать землю... на чердаке.

«Первоначальная работа, — вспоминал Юрковский, — производилась только по ночам в таком порядке: Алексей работал в колодезе, ссылая землю в ведра, которые Россикова вытаскивала в прихожую, и подавала мне на веревку, спущенную с чердака, имеющего люк в прихожей. Таким способом я и вытаскивал землю на чердак... Для большего удобства на веревках имелись железные крючья, так что ведро, вынутое из колодца, тотчас снималось с крючка, надевалось другое, порожнее, и опускалось обратно, потом вручную его переносили в прихожую, где подвешивали на крючок второй веревки и т. д.»

Утром пол в кухне тщательно мыли. На прорез ставили кухонный стол, на котором «горничная» принималась готовить пищу. Юрковского и Погорелова запирали в чулан. Затем стали копать и днем и ночью. Остро сказывался недостаток рабочих рук. Высота «мины» — 70 см, ширина — 50. Трудно дышать, трудно дышать. Гаснут свечи. И тогда загроможденный Юрковский отправляется на базар, покупает трубы и сооружает вентиляционное устройство в углу двора, где его накрывают кадкой. Теперь свечи могут гореть, хотя и лишь в наклонном положении...

Наконец в пятницу, 1 июня, показалась стена подвального помещения казначейства. Все усилия прорубить ее копьеобразным резцом ни к чему не привели. Стена оказалась сложенной из громадных камней, величина которых превышала ширину «мины». Известковая кладка крепко связывала камни, и они с трудом поддавались действию лома... «Толщина стены, — свидетельствовал Юрковский, — оказалась около двух с половиной аршин (свыше полутора метров. — Ю. П.). Эту длину имел тоннель, образовавшийся после разборки стены; в ночь с субботы на воскресенье (с 2 на 3 июня) пролом был окончен».

В пятом часу утра, оставив Россикову сигнальщиком у окна, выходящего во двор казначейства, прямо против часового, Юрковский и Погорелов спустились в тоннель. Со свечами в руках они проползли восемь саженей (почти 16 метров. — Ю. П.) тоннеля, расширили пролом, отвалив еще несколько камней. Свечи погасли при образовавшемся сквозняке, дальше пришлось действовать в темноте.

Но вот зажжена свеча. Юрковский и Погорелов в обширном помещении, пол и стены которого выложены каменными плитами. Посредине — стол, покрытый зеленым сукном, вокруг него несколько старомодных полукресел, по стенам шкафы с бумагами... Свидетельства о воинской повинности, розовые, белые бланки крестьянских паспортов, дворянские свидетельства, патенты на право торговли в кабаках... Юрковский откладывает по пачке всех этих бумаг: могут пригодиться для революционных нужд. Но где же деньги? Неужели ошибка?

Здесь они замечают небольшую окованную железом дверь с громадным висющим замком...

3. Это была поразительная картина. Ночь, спящий Херсон, подземелье вице-губернаторского дома, измученные, едва держащиеся на ногах Юрковский и Погорелов в пестрых нательных рубашках, портах и чулках, а перед ними в колеблющемся свете свечи — сундуки и мешки с царскими деньгами...

«На полу,— рассказывал Юрковский,— стояло штук двадцать маленьких кованых ручных сундуков, похожих на те, которые ежедневно выносили по утрам, кучи небольших мешков с медной монетой новой чеканки и три больших деревянных сундука величиной с обыкновенный стол, только немного ниже и шире...

Свернув замки первого большого сундука, мы подняли крышку. Он был буквально набит пачками аккуратно сложенных кредиток всех цветов: синие, красные, радужные... Более из любопытства, чем по надобности, я отбил замок у одного маленького сундучка. Это оказались земские суммы, непосредственно выжатые из крестьянского пота; грязные, потерянные, засаленные, они резко отличались от новых или почти новых денег государственного банка, находящихся в больших сундуках. Их мы не захотели трогать, не взяли из этого сундука ни одного рубля».

С утренним парходом в Одессу были отправлены некоторые обитатели «барыниной» квартиры — «горничная» с ребенком и «приезжая барышня» (А. Д. Терентьева), помогавшая в подвале. Они взяли с собой пачки десятирублевых бумажек...

А в подвале казначейства продолжалась напряженная работа. «При выгрузке сундуков,— писал Юрковский,— мы производили сортировку, стараясь отобрать только пачки с самыми крупными ассигнациями... рублевые, трехрублевые и зачастую даже пятирублевые ассигнации бросали на пол, как хлам, способный породить лишние затруднения. Затем отобранные кучи валили через пролом в мину, пока не заполнили ее доверху; тогда один из нас пробирался с величайшим трудом сквозь эту денежную насыпь к колоду, а другой, оставшийся на месте, нагружал деньгами тот самый ящик, которым прежде мы возили землю, таким образом, при помощи этого ящика и ведра деньги доставлялись в кухню совершенно тем же путем, как и земля.

В продолжение этого в высшей степени оригинального препровождения времени Росикова несколько раз кричала: «Довольно, господа, выезжайте!» Но ей хорошо было говорить — она видела только ту массу, которую мы ей препровождали, и не видела, сколько еще нашего добра приходилось оставлять во вражьем стане, куда мы проникли с такой опасностью... Мы выгрузили всего только половину сундука, правда, отобрав самые крупные бумажки. Трудно представить себе, что изображала кухня, когда мы, вылезши из мины, вошли в нее. Эта маленькая комната сплошь была завалена деньгами, в которых Росикова в своем новом платье буквально утопала до пояса».

4. Собравшись все вместе на кухне «барыниной» квартиры, Юрковский, Погорелов и Росикова стали считать деньги. Но, поскольку спешили, несколько раз сбились со счета, не могли насчитать более миллиона и совсем бросили это занятие.

Решили деньги разделить на две части: одну Росикова и Погорелов спрячут в окрестных хуторах, другую Юрковский увезет в Аleshки, где его уже ждет «сестра» Анна Алексеева.

Вскоре Росикова и Погорелов унесли деньги в набитых старых, дырявых мешках из-под угля.

Юрковский уходил последним. Ему досталась большая бельевая корзина, наполненная самыми круп-

ными пачками, преимущественно сотенными, четвертными и десятирублевыми ассигнациями.

«На полу,— вспоминал Юрковский,— валялись еще разбросанные пачки, я завернул их в одеяло, что составляло, помимо корзины, особый тюк весом фунтов в 35. Тщательно переодевшись, я отправился за фактоном. Извозчика, само собой, взял из дальних кварталов. Вынес на него свой тюк и корзину, прикрытую черным женским платком, и приказал ехать на рынок, где купил 12 фунтов вишен, которыми присыпал сверху корзину, переменял извозчика, потом заехал в большой бакалейный магазин, чтобы иметь возможность еще раз переменить извозчика, и тогда только отправился на пристань...»

5. Федор Юрковский принадлежал к числу тех людей, которых на буржуазно-демократическом этапе русского освободительного движения называли «кающимися дворянами».

Он родился в 1851 году в дворянской семье и был сыном морского офицера, погибшего при героической обороне Севастополя во времена Крымской войны. Семья имела большое поместье в Крыму, получала солидную пенсию и была настроена патриархально и монархически. Перед юношей открывались перспективы вполне обеспеченной жизни, свободный выбор занятий.

Юрковский учился в Николаевской гимназии, а затем — в Петербургском военно-морском училище. Однако осознанное стремление возратить народу долг обеспеченных классов, освободив его от угнетения, перестроить общественные порядки России уже в юности привело его в демократическую, революционно-народническую среду. Еще в 1871 году вместе с товарищами по морскому училищу он пытается создать тайное общество с целью ниспровержения правительства и существующих порядков...

Одно время Юрковский был вольнослушателем Технологического института, слушал лекции в Медико-хирургической академии, однако курса нигде не окончил. Революционная деятельность рано определяется как главное дело его жизни. Приехав в апреле 1871 года к брату в Николаев, Юрковский знакомится здесь с известными народниками И. М. Ковальским, И. С. Дробязгиным, А. А. Алексеевой. С этого времени в его жизнь входит Анна Алексеева, подруга, жена, единомышленница...

В сентябре 1874 года Юрковского задерживают вместе с группой николаевских народников во время поездки с пропагандистскими целями к сектантам. Он привлекается к дознанию по знаменитому процессу 193-х («Большому процессу»), обвиняется в хранении запрещенных книг и в сношениях с пропагандистами.

Гражданское самоопределение Юрковского, его идейные и жизненные позиции вызывают некоторую напряженность в семье, все члены которой связаны теплыми, дружескими узами. Многие поступки Федора кажутся близким непонятными, непостижимыми, особенно в сфере имущественной. «Все деньги, серебро и драгоценности, доставшиеся ему по какому-нибудь семейному разделу,— свидетельствует Анна Алексеева,— он приносил в беднейшую коммуны, квартиру нашего кружка, не оставляя себе при этом ничего».

Неутомимая потребность действовать, занимать такую позицию, которая позволила бы в каждый данный момент приносить революционному делу наибольшую пользу, обусловила неустанные идейные и организационные искания Юрковского, многие его тактические ошибки. Он так и не примкнул ни к одной из революционно-народнических организаций, он

слишком переоценивал порой свои индивидуальные возможности...

«Жить только для себя стыдно»,— любил повторять Юрковский. Стремление жить «не для себя», забота об «общем деле» привели его 3 июня 1879 года и сюда, на шумную херсонскую пристань...

6. На этой пристани всегда толпятся ожидающие попутчиков, чтобы меньше платить за перевоз. Юрковский ставит в шаланду свою бельевую корзину и приказывает перевозчику отчаливать, однако вслед за ним бросается в лодку какая-то молодая женщина с ребенком и просит взять ее «по пути».

«Целую дорогу,— рассказывал впоследствии Юрковский,— этот ребенок был предметом моих неусыпных попечений. Как только мать забывается, он тотчас запускал ручонку в мои вишни, что каждый раз заставляло меня предупредительно подносить ему горсть,— из опасения, чтобы он, роясь в корзинке, не обнаружил того, что скрывается под тонким слоем ягод, а это, в свою очередь, заставляло мать с искренним чувством благодарить меня за внимание, оказываемое ее ребенку...»

А в Алешках снова подкоп, опять «мина».

Деньги переложены в крепкие холщовые мешки. Под покровом ночи пробирается Юрковский к середине пустоши, примыкающей к домику, в котором они живут. Здесь среди бурьяна растет куст. Федор ножом вырезает часть верхнего слоя земли, вынимает куст вместе с корнем, потом тем же ножом, лежа на земле, роет яму. «Заступом,— вспоминал Юрковский,— работать было неудобно, так как соседи, сидящие под дощатыми заборами своих огородов, легко могли услышать шум». Яма была углублена настолько, насколько позволяла сделать это рука, опущенная в нее вплоть до плеча, то есть на полтора аршина, потом яма принимала боковое направление в виде маленькой мины, чтобы деньги были лучше защищены от дождя целнойой. Закопав таким образом свои мешки, я снова вставил куст на свое место и полил землю водой».

В один из следующих дней одесские народники должны были приехать за деньгами. Прошло четыре дня. Никто не приехал. На пятый день пришел другой, совсем неожиданный гость...

7. «...около четырех с половиной часов утра,— рассказывал Юрковский,— Алексеева разбудила меня словами: «Вставай, тебя пришли арестовать, там за дверьми стоит исправник с квартальным и просит, чтобы ты вышел на одну минуту, а за соседним забором, я сама это видела, спрятаны солдаты с ружьями». Я наскоро оделся, сунул кинжал за пояс, так как сам еще не знал, что придется делать. Перешагнув порог, я встретился лицом к лицу с полным брюнетом среднего роста.

— Исправник Маловичка,— отрекомендовался он несколько официальным тоном.

— Очень приятно, не угодно ли зайти в комнату,— пригласил я, и, когда он вошел, я продолжал:— тесновато здесь и беспорядок, не взыщите: такой ранний визит!

— Ах, извините, пожалуйста!

Мы сели к столу.

— Могу ли осведомиться, чему я обязан удовольствием видеть вас у себя, господин исправник?

— Мм... видите ли... Вы, вероятно, слышали о том, что в Херсоне украдены деньги из казначейства?

— Как не слышать, весь город об этом только и толкует, но... я все-таки не понимаю, какое отношение это имеет к вашему визиту.

Сказав это, я прибавил про себя: ну, коли так начинаешь, то дело еще не совсем пропащее.

— Вы, пожалуйста, извините... в таких случаях полиция хватается за первый признак. Дело в том, что часть денег и некоторые участники отысканы: они указывают, что остальные деньги пошли в Алешки, хотя путаются в своих показаниях и указывают также и на Николаев, говорят, что тут замешаны социалисты. Вы, конечно, не откажетесь помочь нам в розысках...

— С удовольствием... что могу... в таких случаях обязанность каждого честного человека...

— Скажите, пожалуйста, не были вы в воскресенье в Херсоне?

— Был,— отвечал я, удивленно посмотрев на него в упор.

— Где именно провели вы время?

— Я отправился туда в субботу и ночевал у своего брата.

— Не помните ли вы, в котором часу вы вернулись в воскресенье?

— Это было около 11 часов дня,— катнул я напрямик, так как не оставалось сомнения, что обстоятельство моего прибытия в Алешки известны до мельчайших подробностей.

— Странно... время как раз совпадает,— проговорил он как бы про себя,— не привезли ли чего-нибудь с собою?

— Я купил там вишен для варенья и привез их с собой.

Лицо его выразило удивление.

— Скажите,— начал он поспешно,— в чем вы везли их?

— В бельевой корзине,— рубил я, заранее предугадывая впечатление, которое должны произвести мои слова на собеседника,— были и другие кое-какие покупки: мыло, сахар, не припомню всего.

— Ах, позвольте, пожалуйста... Эта корзина здесь? Я могу ее видеть?

Он обвел глазами маленькую комнату.

— Разумеется, она в чулане. Вот, что касается до вишен, то их уже не существует, так как сестра сварила из них варенье, которое я могу рекомендовать вашему вниманию... Анюта, угостика-ка нас своим вареньем! — обратился я к Алексеевой.

— Благодарю! Знаете ли, эта корзина и наделала всю кутерьму: известно, что в корзине привезены деньги... и... я... право, в затруднении.

— А... теперь я понимаю ваш визит. Так вот что! В это время Алексеева поставила на стол большой супник с вареньем.

— Значит, мои вишни смутили полицию,— снова начал я.— Ну, так вот что мы сделаем, господин исправник,— улыбнулся я,— поедем эти вишни и напишем протокол, что вишни эти уже уничтожены, и пусть они больше никого не смущают.

Я поставил ему супник и налил из бутылки в стоявшие на столе два стакана красного вина и затем предложил сигару».

...Маленький домик с небольшим чуланом, одна комната с земляным полом, лампадка перед образами, чистенькие занавески на крошечных окнах, а за ними грядки, усеянные цветами. А сами брат и сестра Алексеевы — люди душевные и приветливые. Нет, не поднялась рука у исправника Маловички арестовать их. Мог ли он предположить, что такая идиллическая обстановка скрывает «херсонских удалцов»?

Юрковский впоследствии вспоминал исправника даже с некоторым сочувствием, признавая его человеком добродушным и честным. Однако считал, что поступил при встрече с ним правильно и логично.

«Мне и впоследствии,— писал Юрковский,— всегда было жаль этого добряка, обремененного многочисленной семьей, который как бы из-за меня потерял средства к существованию, хотя я, спасая себя, спасал, в сущности, дело... Притом не моя вина, что люди даже при некоторой личной порядочности ставят себя наравне с последними прохвостами в положении наемных лакеев, а на войне шашка рубит, не разбирая людей. Такова логика борьбы!»

В тот же день Юрковский по-настоящему Алексеевой уехал из Алешек якобы за матерью. Революционерам в Одессе он передал подробный план местности для спасения денег. Однако сделать этого не удалось. В Алешки, превращенные в военный лагерь, было невозможно проникнуть извне.

Почти три недели продолжались поиски. Арестованная Алексеева молчала (сведения, которые удалось добыть при аресте «горничной барыни», заставляли полицию усердствовать). Были перерыты все грядки и пустошь возле идиллического домика. Наконец при помощи железного щупа деньги были обнаружены...

8. А весной следующего года драматические события разыгрались в деревне Козловка Путивльского уезда Курской губернии.

Хозяин имения генерал-лейтенант Стаховский узнал о том, что местные жандармы получили распоряжение произвести обыск у его сына, отставного штабс-капитана Стаховского, а затем арестовать его и препроводить в Киев. После бурного объяснения генерал-лейтенант застрелил сына-революционера. Это произошло 7 марта 1880 года.

Нагрянувшая полиция задерживает всех, кто живет в имении. Среди задержанных оказывается и дворянин, доктор Юрий Михайлович Головлев. Этот человек вызывает подозрения у полиции, однако довольно долго его личность остается неопознанной. Наконец доктор Головлев сам называет свое подлинное имя — Федор Николаевич Юрковский...

Как он оказался в этом имении? Через два месяца после подкопа Юрковский, имя которого гремело во всей России, появляется в Петербурге среди учредителей «Народной воли», будущих членов грозного Исполнительного комитета.

«Передо мной,— вспоминала В. Н. Фигнер,— был красавец бронет, южного типа, среднего роста, широкоплечий силач, с правильным овалом и чертами лица, обрамленного черной бородой. С небольшим улыбающимся ртом и черными, необыкновенно большими глазами, смеющимися, плутскими, мечущими искры... Совершенно исключительной среди нас была и духовная физиономия его. Такой бесшабашной, веселой, необузданной, удалой головы ни раньше, ни позже я не встречала».

Юрковский явно тяготился определенными организационными принципами «Народной воли». Теоретические, программные споры казались ему бесплодными. Вера Фигнер вспоминала:

«Смотрю в книгу, а в уме землю рою...— говорил он, думая о новом подкопе и новых миллионах для революции, которые кружили ему голову».

Юрковский уезжает из Петербурга, так и не вступив в «Народную волю» (история, однако, поставит его рядом с ее героями: и в специальном альбоме наиболее опасных государственных преступников, который департамент полиции подготовил для Александра III, и в шлиссельбургских казематах...).

Разыскиваемый по особому циркуляру на всей территории империи, Федор Юрковский, или Сашка-инженер, как его теперь называют, продолжает свою напряженную конспиративную деятельность в Моск-

ве, Одессе, Киеве. Важнейший урок «херсонского дела» — осознание необходимости тщательной подготовки революционных действий — сближает его с группой киевских народников М. Р. Попова. Именно они поручают ему «поставить типографию», поселившись для этой цели с подложным паспортом доктора Головлева в путивльском имении генерал-лейтенанта Стаховского...

А затем были Киев, процесс и приговор — двадцать лет каторжных работ в Восточной Сибири. И долгий этапный путь на Кару...

На Каре Юрковский приобщается к литературной деятельности. Здесь пишет он воспоминания о подкопе в херсонском казначействе. Это уникальные памятники революционно-народнической эпохи. Для рукописного журнала «Кара» готовит рассказ «Три момента»...

В июне 1883 года за участие в побеге Юрковский был переведен в Шлиссельбург. Здесь, казалось бы, борьба, движение, деятельность невозможны, немилымы.

Однако и здесь могучий дух Сашки-инженера много лет оставался несломленным.

Прежде всего он, как обычно, неистощим в изобретательности. К числу «гениальных открытий» Юрковского шлиссельбургцы относили, например, изобретение им особого приспособления (жестяной конфорки), которая позволяла использовать керосиновые лампы «для кулинарных целей»...

Но главная новость была впереди. Когда в кельях шлиссельбургских узников появились чернила и бумага без нумерованных страниц, стало известно, что заключенный № 10, тяжелобольной Федор Юрковский, совершает свой последний «подкоп» — пишет «роман из эпохи 70-х годов».

9. «На дворе... разыгрывалась одна из тех южных ночей, которая известна под именем «воробьиной ночи». Сильный, почти штормовой ветер нагнал густые черные тучи, которые совершенно заволокли небо так, что не видно было ни одной звездочки. Темнота, — как говорится, хоть глаз выколи, — казалась еще непрогляднее от беспрерывно сверкавшей по всем направлениям яркой молнии, сопровождаемой почти неумолкаемыми раскатами грома».

Под проливным дождем, по едва проторенной тропинке, извивающейся между редких древесных стволов и густых кустарников, почти ощутую шел какой-то человек. Он шагал наугад, беспрестанно сбиваясь с тропинки, то и дело натываясь на какой-нибудь колючий кустарник или выдававшийся сух дерева. Свою досаду и нетерпение в таких случаях он изливал в энергичных эпитетах, посылаемых этим препятствиям, не очень лестных для них.

Дойдя до ворот обсерватории, он нацупал ручку калитки и, убедившись, что она заперта, стал быстро и ловко перелезать через ворота...

Дверь открылась, и в комнату вошел высокий широкоплечий бронет, в несколько поношенном и совершенно измокшем на дожде студенческом пальто, в больших сапогах и в черной пуховой «бандитке», свирепо надвинутой на лоб почти до линии густых сросшихся бровей, из-под которых насмешливо глядели блестящие карие глаза».

Так стремительно и энергично, в сверкании молнии, при штормовом ветре и непроглядной тьме появляется в романе главный герой Юрковского — Николай Булгаков. Время действия романа — весна 1874 года, расцвет мирного народничества, начало «хождения в народ».

Булгаков — герой явно автобиографический. Как и Юрковский, он недоучившийся студент Технологиче-

ского института и Медико-хирургической академии. Он приезжает из Петербурга в южный российский город с определенным революционным опытом и репутацией. В этом городе современники событий узнавали Николаева, а среди товарищей Булгакова — народников из николаевской коммуны. Коммуна в романе, как и реальная николаевская коммуна, устанавливает пропагандистские контакты с гимназическим кружком, народными учителями, флотскими, сектантами.

Подобно Юрковскому, Булгаков силен, ловок, предприимчив, не знает неразрешимых проблем. Он привозит из столицы полтора пуда шрифта и сундук с запрещенными книгами. Для устройки типографии он предполагает использовать экспроприированный у тетушки вал стиральной машины и зеркало, купленное на базаре. Товарищи называют Булгакова Ревизором.

Фигурирует в романе и большая бельевая корзина. Однако роль у нее пока скромная. В этой корзине Булгаков из своего семейства (которому посвящена глава с характерным названием «Восемнадцатое столетие») приносит в коммуны пасхальные угощения: яйца, ветчину, папушкины...

Булгаков твердо и неприсклонно, как в жизни делал это Федор Юрковский, отстаивает свои социалистические, революционные убеждения. Его оппонент — либерал, кандидат Новороссийского университета Винк:

«— Вы, конечно, стоите совершенно на другом полюсе, ищите во всем «полезности вещей», отрицаете искусство для искусства и даже, по всей вероятности, вовсе не признаете красоты?

— Гм... как вам сказать: перед голсой статуей на колени не становлюсь, конечно, и не молюсь на нее.

— Но в чем же ваша профессия? Вы так и не поведали нам, — перебил его белокрысый Винк, очевидно, желая дать другой оборот разговору.

— В разрушении основ! — торжественным тоном, отчеканивая каждое слово, насмешливо провозгласил Булгаков.

— Ну вот, так и знал... Я не только враг революции, но и весь ваш «социализм» целиком отрицаю!

— Bravo! Люблю за храбрость! Это, однако, не мешает социализму существовать и даже процветать: «пролетариат организуется во всей Европе!» Это факт, а фактов отрицать нельзя, — иначе они будут отрицать нас!

— Что же из того: в одиннадцатом веке и крестовые походы существовали «фактически», однако же это была не более как «болезнь века».

— Выходит, значит, что вы отрицаете только существование в себе симпатии к социальному движению. Как факт вы его не отрицаете. Ну, против этого спорить не могу.

— Я отрицаю его «историческое значение» и утверждаю, что это такая же болезненная эпидемия нашего времени, как и походы в Палестину.

— Не из таких ли фактов и складывается история? И если вы будете выбрасывать из нее крупные массовые движения, то в «истории» останутся только одни «короли»! Однако я не любитель подобных словесных турниров ради упражнения ума. Дело коротко: я за разрушение, вы за «status quo». Соглашения быть не может, стало быть, и разговаривать тут более не о чем, и наши дороги врозь, — заметил Булгаков, поднимаясь из-за стола.

Читатель романа видит Булгакова лишь в начале его революционного поприща. Булгаков помогает коммуны в организации типографии, потому что, как он считает, «независимо от наших теоретических разногласий пресса уже сама по себе факт револю-

ционный». Тем не менее он явно не может довольствоваться ни устной, ни печатной пропагандой, он настаивает на пропаганде фактами, действиями. Он уже говорит «о конфискации правительственных капиталов».

10. «Она явилась» — так названа глава романа, в которой появляется героиня. «Она» так же исторически достоверна, как и другие образы «Булгакова». Это Анна Алексеева. Анна, как и ее сестра Александра (в романе — «Саша», «Сашута»), играла заметную роль в жизни николаевской коммуны.

Роман обрывается на полуслове, вскоре после встречи и знакомства Булгакова с его героиней, его «Аней». Далее следует помета, сделанная Н. А. Морозовым на рукописи «Булгакова», чудом вынесенной из Шлиссельбурга: «Здесь роман кончается по причине смерти автора, не вынесшего заточенья».

Однако история по-своему дописала роман.

11. «Иначе я не мог жить», — признается Юрковский, будучи уже на Каре, в одном из немногих разрешенных ему писем. Однако судьба Анны Алексеевой чрезвычайно волновала его. Он хорошо понимал, что она пожертвовала собой, уговорив его немедленно уехать из Алеших после визита исправника. Знал он и о том, что прошла она по тому же этапному пути.

В мае 1881 года — короткий светлый миг. Они увиделись в Иркутской тюрьме. Юрковский, в ручных и ножных кандалах, спрашивал у Алексеевой тревожно: «Простила ли ты меня?» Он обещал ей выйти на свободу и освободить ее. «Я верила, — рассказывала Алексеева, — в силу его воли. Я видела не раз его бесстрашность. В моих глазах этот человек мог сделать все...»

Для того чтобы выполнить свои обещания, Юрковский предпринял невероятные усилия. Вместе с группой товарищей-карийцев в мае 1882 года он совершил побег из тюрьмы, успел уйти далеко от места своего заточения, но сибирская тайга стала непреодолимым препятствием для беглецов без еды и одежды.

Безуспешными оставались и многочисленные просьбы Юрковского и Алексеевой о разрешении им увенчаться...

31 августа 1896 года Юрковский умер в Шлиссельбурге над рукописями своего романа.

В том же году его «Аня» возвратилась из ссылки.

Алексеевой суждено было прожить долгую жизнь и стать свидетельницей тех революционных преобразований, о которых они с Федором мечтали еще в николаевской коммуны. Она оставила воспоминания о Федоре Юрковском, в которых рассказывала о своем любимом как о человеке того удивительного поколения семидесятых годов, которое страстно стремилось жить «не для себя»...



ВАЛ. ЛАВРОВ

два автографа сорок второго года

Москва. Конец декабря 1941 года. Специальный корреспондент «Красной звезды» Константин Симонов встретился со своим другом Николаем Михайловичем Горчаковым, главным режиссером Театра драмы. Тот рассказывал, как его артисты выступают перед бойцами. Симонов делал пометки в блокноте. Рождалась схема будущей пьесы «Русские люди», которой спустя полгода предстояло начать триумфальное шествие по театрам страны.

Первым ее постановщиком станет Горчаков...

Не так давно я заглянул в «Пушкинскую лавку» в проезде Художественного театра. Много лет в этом магазине работает один из самых известных в Москве букинистов Л. А. Глезер. Еще в двадцатые годы он торговал книгами у Китайгородской стены. Памятуя о моей любви к книжным редкостям, Лев Абрамович полез в шкаф, где лежит самое заветное. Протянул две книги. Обе вышли в 1942 году. Их автор — Константин Симонов. На обеих дарственные надписи Н. М. Горчакову. Одна из книг — пьеса «Русские люди». На титульном листе Константина Михайловича написал:

«Старик Горчаков, отдайте мне эту книжку взамен на 2 другие. У меня как раз ее нет. А?

Ваш К. Симонов».

Можно не удивляться, что даже у автора не нашлось ни одного экземпляра. Дело в том, что книга вышла в осажденном Ленинграде: подписана к печати 29 октября 1942 года. Тираж 7000. Но был ли он полностью отпечатан?

Горчаков, однако, не отдал Симонову дорогую ему книгу. До конца своей жизни (умер в 60-летнем возрасте в 1958 году) он бережно, как реликвию, хранил эту пьесу.

Вернемся в военную Москву. Конец января 1942 года. Писатель и режиссер вновь встретились. Почти месяц они готовились к этому разговору. Впрочем, дадим слово самому Константину Михайловичу. В книге «Сегодня и давно», вышедшей в 1976 году, Симонов рассказывает:

В августе 1973 года Константин Симонов побывал в пушкинских местах Верхневолжья. Этот снимок сделан на горке «Парнас» в селе Верново. (Публикуется впервые.).

Фото А. Пянова.

«Я встречался с Николаем Михайловичем Горчаковым в разных театрах и в разные годы, и до и после Великой Отечественной войны. Но самые сильные и самые светлые воспоминания о нем у меня связаны с прифронтовой Москвой зимы — весны 1942 года и с Московским театром драмы, которым руководил тогда Горчаков. В ту зиму и весну это был единственный большой драматический театр, игравший в Москве — для москвичей и для многих и многих людей, приезжавших на эти представления из разных воинских частей, порой прямо с фронта. Во всяком случае, в начале той зимы, когда театр почти не отапливали, а спектакли из-за опасности бомбежек игрались днем, половину театрального зала занимали фронтовые полубубки. Да и потом, когда фронт отодвинулся дальше, в зале театра штатское по-прежнему — половина иа половину — перемешивалось с военным.

Если я не ошибаюсь, где-то в конце января 1942 года я принес Горчакову первый акт своей пьесы «Русские люди». Последующих актов не было, они попросту еще не были написаны, но я опять уезжал в этот день на фронт, и мне хотелось оставить у Горчакова хотя бы начало той пьесы, о замысле которой мы говорили с ним...

Это было днем, а глядя на ночь на фронт ухидла машина, с которой мне надо было уехать. Мы договорились с Горчаковым, что поговорим о пьесе после моего возвращения. Но через несколько часов и всего за час до моего отъезда он без звонка приехал ко мне и сказал, что, если я задержусь на фронте больше чем на неделю, он без меня распределит роли и начнет репетиции.

— Но я же не дописал, — сказал я.

— Ничего, ничего, — сказал он. — Мы начнем работать, и пусть это у вас сидит в памяти. Быстрее закончите, если будете это знать. У вас как будто получилось, и у нас тоже получится. Только очень уж длинно. Если вы так будете продолжать, то у вас, наверное, страниц триста выйдет — мы это просто не выдержим!

И он, усмехнувшись своей лукавой улыбкой, помахал в воздухе толстой пачкой листов первого акта.

— Вполне очевидные длинноты я буду сразу выкидывать, а? Как, даете согласие? Ну, вот хотя бы, к примеру..!

И он, ластая пьесу, стал показывать почти на каждой странице эти «вполне очевидные» длинноты. Их было более чем достаточно, и они действительно были очевидными. Я дал согласие — и не пожалел потом о нем.

В то фронтовое время и в той обстановке мне понравилось такое начало совместной работы, оно было мне по душе, и я действительно после этой встречи с Горчаковым, ночью в машине, ехавшей на фронт, уже сидел и думал о том, что и как я буду писать в пьесе дальше. Горячность Горчакова подталкивала меня на это».

Горчаков действительно времени не терял. Еще не имея пьесы, он уже отбирал для нее актеров. И когда получил от Константина Михайловича наброски двух актов, то назвал ему будущих исполнителей.

Симонов не согласился, однако, чтобы Плятту была дана роль Розенберга. Он давно знал Ростислава Яновича, высоко ценил его талант. Не случайно тот был первым исполнителем роли Бурмина в первой постановке пьесы «Парень из нашего города» в Театре имени Ленинского комсомола. Константин Михайлович предложил Плятту сыграть трагическую роль старика патриота Васина. Ростис-

лав Янович согласился. И не ошибся: роль ему, по общему мнению, удалась блестяще.

Московский театр драмы был создан в ноябре 1941 года на базе Театра имени Ленинского комсомола. В его труппе оказались многие замечательные актеры. Так, в «Русских людях» были заняты Д. Н. Орлов (Глоба), В. В. Серова (Валя), Н. В. Литвинов (Козловский), П. М. Аржаиов (Сафонов)...

— Мы работали над пьесой в холодное, голодное и тревожное время, — вспоминает народный артист СССР Р. Я. Плятт, — с февраля по июль сорок второго. Пьеса готовилась под воздушными налетами. Свет ramпы порой заменяла керосиновая лампа. Нам выдали настоящее боевое оружие. А в перерывах между репетициями и спектаклями мы дежурили на крыше театра — тушили зажигательные бомбы. Помню, что ловля «зажигалок» своей азартностью доставляла даже некоторое удовольствие. Убедившись, что такая бомбежка не достигает цели, фашисты начали больше сбрасывать фугасных бомб. Тут уж стало не до шуток! Но актеры не подвели. Они доказали, что могут быть героями не только на сцене...

Симонов ревниво относился к постановке пьесы. Приезжая с передовой, каждый раз бывал в театре — привозил новые страницы пьесы. Удивительно дружно работал Константин Михайлович с Горчаковым: что-то постоянно дописывал, исправлял, укорачивал.

— Впрочем, — говорит Ростислав Янович, — Симонов был для нас больше, чем автором. Он являл пример настоящего боевого человека, постоянно бывшего в опасных ситуациях на передовой линии фронта.

Плятт вспоминает и о таком эпизоде. Вечером 13 июля 1942 года во время антракта актеры заметили, что в зрительном зале на спинке почти каждого кресла лежит газета. Весь партер в газетах. Оказалось, что зрители принесли с собой «Правду». В тот день в газете началась публикация «Русских людей».

Симонов высоко оценил постановку спектакля. В своих воспоминаниях он писал о том, что «Русские люди» в Театре драмы были «выше, темпераментнее, страстнее всех других спектаклей этой пьесы... Спектакль был не только творческой победой талантливого и умного режиссера, это была и его человеческая победа. Он (Горчаков. — В. Л.) вложил в этот спектакль не только талант, но и большую страсть, таившуюся в нем под иронической, иасмешливой внешностью».

Да и надпись на другой книге Симонова, которую мне удалось приобрести в «Пушкинской лавке», была обращена к Горчакову:

«Милому Николаю Михайловичу в знак дружбы дарю эту книжку о тяжелых, но интересных днях нашей жизни. Надеюсь, что когда-нибудь еще посидим друг против друга в добром старом партикулярном платье. К. Симонов».

Книжка эта небольшого формата. Она вполне умещалась в кармане шинели. Называется «От Черного до Баренцова моря. Записки военного корреспондента». Вышла, напомним, в Москве в 1942 году. 6 марта того же, 1942 года (время работы над спектаклем «Русские люди») Симонов и подарил ее Горчакову.



**МИХАИЛ
БОТВИННИК**

ПЯТЫЙ ЧЕМПИОН

В этом номере мы публикуем новые страницы воспоминаний Михаила Ботвинника, посвященные недавно скончавшемуся экс-чемпиону мира Макс Эйве

Вверху — снимок, который был сделан в 1968 году в Москве на приеме, устроенном председателем правления Общества дружбы «СССР — Нидерланды» М. М. Ботвинником в честь профессора Эйве.

В 1934 году Большой зал Ленинградской филармонии был переполнен. Турнир мастеров с участием Макса Эйве и Ганса Кмоха. Сидя за шахматным столиком, Эйве вытягивает свою левую ногу, располагая ее на стуле, — в этом положении ему не так больно (купаясь в Черном море накануне турнира, Эйве ушиб ногу).

Контракт с Алехиным о матче на первенство мира уже подписан; матч год спустя будет происходить в Голландии. Шахматный мир не сомневался в победе Алехина — с 1927 года, после выигрыша матча у Капабланки, Алехин побеждал во всех турнирах, где он играл. Правда, за несколько месяцев до Ленинградского турнира Алехин в Гастингсе отстал от первого призера Флора на пол-очка. Но какое это имеет значение? Более важно, что у Эйве не было особых больших успехов.

Тем не менее 34-летний Эйве матч выиграл и стал пятым чемпионом мира. Когда в шестидесятых годах мы с ним выступали в Иркутске, Эйве выразил желание прочесть лекцию о двух своих матчах с Алехиным (матч-реванш в 1937 году Эйве проиграл). Я очень боялся неблагоприятной реакции собравшихся любителей шахмат: ведь все они были поклонниками великого шахматиста Александра Алехина. Но Эйве действовал с поразительным искусством. Да, признал он, Алехин в 1935 году злоупотреблял алкоголем. К сожалению, он так поступал не только во время матча на первенство мира, но и во время других соревнований: стало быть, в том, что Эйве превзошел Алехина в 1935 году, ничего удивительного не было; поэтому Эйве по праву стал чемпионом. А в 1937 году, сказал Эйве, Алехин уже восстановил свою спортивную форму и он (Эйве) уже не мог с ним справиться. Слушатели наградили экс-чемпиона аплодисментами — я вздохнул спокойно...

Макс Эйве был прагматиком, он легко адаптировался в изменяющихся обстоятельствах. Таким он был в жизни, таким — и в шахматах. Он изучил в шахматах все, что было известно. Поэтому Эйве хорошо владел известными стратегическими приемами. Но прагматик не может быть стратегом, а стратег — прагматиком. И после матча-реванша 1937 года Алексис справедливо отметил, что по таланту Эйве является тактиком!

Тактиком Эйве был выдающимся. Просмотрев у него почти не было, а дитры, неожиданные ходы он просто «выкапывал». Я тоже был неплохим тактиком, но тактика никогда не была основой моей игры, и поэтому первые наши встречи заканчивались не в мою пользу...

Результат турнира в Ленинграде зависел от неоконченной моей партии с И. Рабиновичем. Выиграв затянувшийся эндшпиль, я с опозданием явился на заключительный баикет в Доме ученых. Макс поздравил меня и тут же сказал, что устроит мне приглашение на турнир в Гастингс. Тогда он все свои обещания, видимо, хорошо помнил — я не заметил у него записной книжки, в которую впоследствии он заносил все свои дела. О чем только его не просили! Здесь были и приглашения, и просьба поддержать молодых шахматистов, и просьбы о материальной помощи, просили кинти, заказывали статьи... Эйве, как правило, никому не отказывал. Используя каждую свободную минуту, он мелким четким почерком (как президио, по-немецки) писал статьи, примечания или интервью...

Широта его интересов была поразительной. Никогда не расставаясь с шахматами (сколько шахматных книг он написал...), он преподавал математику в женском лицее, а когда появилась вычислительная техника, стал представителем фирмы «Ремингтон» в Европе — разъезжал по многим странам и консультировал фирмы: какая ЭВМ больше подходит для использования в данных условиях. Потом работал главным специалистом в бюро по электронике, которое ведало размещением заказов (каких, не знаю, но пройти в помещение бюро было нелегко...), был председателем комиссии Евратома по шахматному программированию. Стал профессором двух университетов, был и президентом ФИДЕ.

Эйве любил путешествовать. Еще в начале тридцатых годов совершил кругосветное турне, после чего его окрестили «летучим голландцем». Как-то я ему рассказывал, что выступал в Тюмени и Сургуте, а вот до Салехарда, где живут оленеводы, не добрался...

— Поехали вместе? — предложил Макс.

Долго я уговаривал его стать президентом ФИДЕ, считая, что лишь шахматист, который был чемпионом мира, может понять важность устойчивых и справедливых правил проведения соревнований на первенство мира (президент Рогард отменил постоянно действующие правила). Эйве долго не соглашался, но затем изменил свое мнение и прилетел в Москву, чтобы выиграть позицию советской шахматной федерации. Я сразу примчался в отель «Метрополь», пошли мы в ресторан (сидели в том самом зале, где в 1925 году происходил знаменитый международный турнир), и за дружеской беседой я высказывал надежду, что теперь-то уж будут приняты справедливые правила... Неожиданно будущий президент спрашивает: «А можно ли будет, кроме матчей раз в три года (с претендентом по отбору), проводить дополнительные матчи на мировое первенство?»

Я обомлел: «А с кем же чемпион будет играть?»

— С сильным гроссмейстером, который обеспечит призовой фонд, — отвечает Эйве.

— А если будет два вызова, тогда кто будет иметь приоритет?

— Тот, кто обеспечит больший приз, — последовал незамедлительный ответ.

— Стало быть, стать чемпионом получит надежду не тот, кто талантливей, а тот, кто найдет больше денег?

Эйве в знак капитуляции поднял руки вверх. И сдержал слово, подобных матчей не проводил... Но что другое как президент он сотворил в этих правилах! И неудивительно — прагматик в создавшейся ситуации находил наиболее «удобное» решение. Тогда я понял: прагматик не должен быть президентом. Однако мое мнение реального значения не имеет — важно, чтобы это понял шахматный мир. Пока этого еще не произошло.

И хотя, когда Макс стал президентом, наши мнения разошлись, добрые отношения остались. Как я радовался, когда получал очередное дружеское письмо из Амстердама, написанное хорошо знакомым мелким, аккуратным почерком...

Многие годы, когда я приезжал в Голландию, Макс охотно приходил на приемы в советское посольство. Затем обстоятельства изменились. Однажды мы с послом присутствовали на живых шахматах на площади перед королевским дворцом в Амстердаме. Посол пригласил принять участие в шахматном вечере для дипломатов. Эйве нашел ловкий ход:

— А американский посол придет? — спросил он в уверенности, что тот-то уже отклонил приглашение. — Обязательно будет: он любит шахматы.

Пришлось Максу приехать в Гаагу, и мы с ним давали альтернативный сеанс (делали ходы по очереди) и выиграла как у американского, так и у советского посла.

Теперь этого полного энергии человека нет. Зачем в октябре он поехал на Ближний Восток, смеясь дождливый и прохладный климат Нидерландов на сухую жару? Может, это было ему не под силу?

Чемпионы мира уходили из жизни строго по возрасту и по очередности завоевания шахматной короны. Итак, следующий — автор этих строк. Позволил я Смыслову и напомнил, что за мной его черед. Смыслов смеялся; конечно, пока я жив, он может смеяться!

Эйве был интеллектуалом высокого ранга. Быстрога соображения, понимание намерений собеседника были исключительными. В 1967 году играли мы со Смысловым в Пальма-де-Майорка, а Эйве приехал как почетный гость. После очередного тура обсуждали мы с Максом проблему искусственного гроссмейстера. Смыслов слушал-слушал и вдруг спрашивает:

— Скажите, а когда все это может произойти?

Эйве незаметно взглянул на встревоженного Смыслова, сделал вид, что призадумался, похлопал собеседника по плечу и с затаенной хитринкой в глазах произнес:

— Ну, лет через 20... — Макс высчитал, что к тому времени Смыслов уже играть не будет!

Вообще профессор Эйве не верил, что проблема искусственного гроссмейстера может быть решена. Тем не менее он внимательно и с симпатией следил за моей работой в этой области. И хотя он оставался скептиком, все же понимал великое значение решения этой задачи. И однажды заявил мне:

— Если вам удастся решить задачу создания программы гроссмейстера, то все то, что сделали вы в жизни до этого, — ерунда!

Эйве не будет забыт, такие личности не забываются. Но понять сейчас, что писем от него уже не будет, пока не могу...



АЛЕКСАНДР КАНЕВСКИЙ ПРОДЕЛКИ ВОЛШЕБНИКА

(Современная сказка)



Рисунок И. Наризного.

Непонятные события стали происходить в нашем городе. Черно-бурая лиса, гордость жены директора рыбозавода, на новогоднем банкете в ресторане соскочила у нее с плеч, юркнула между столиками к выходу и удраала. Когда директор, его жена и очевидцы рассказывали об этом, все в ответ смеялись и говорили: пить надо меньше. Никто ведь не знал, что это штучки волшебника, который меха оживляет. Все только потом стало известно, а сначала просто панника возникла. Да и как не паниковать, когда на совещании промкооператоров все сорок оидатровых шапок спрыгнули у них с голов, покатались к выходу, перебежали набережную и нырнули в прорубь. А кооператоры, чтобы добраться до гостиницы, необутые головы шарфиками повязали. Потом в театре из гардероба исчезли все шубы — представляете, что поднялось!.. Сперва решили, что какая-то шайка орудует. Но когда вслед за шубами сквозь фойе, расталкивая зрителей, рвануло стадо дубленок, все просто ужаснулось. А чудеса продолжались. Оленьи меха соскакивали со стен и, потрясая рогами, прыгали с лестничной площадки на площадку. Медвежьи шкуры выдергивались из-под ног и с радостным ревом ислись вниз по ступенькам...

И город, доложу я вам, изменился. Если раньше на улицах можно

было встретить одну-двух бездомных дворняг, которых будка не успела подобрать, то теперь... По елкам и пихтам прыгали белки и куницы. По тротуарам проплывали косули, бегали козы, прыгали кенгуру. В заснеженных аллеях парка гуляли олени, сновали зайцы, лисы, кролики... Радостно блея, неслось стадо баранов, бывшие дубленки: канадские, болгарские, югославские и наши, отечественные... В незамерзающем озере плавали иутрии, выдры, оидатры... Семейство бобров строило себе домик.

Дети были счастливы.

Они кормили белок, играли с медведем, катались на оленях, прыгали с кенгуру... Ведь животные, пока они были шубами и воротниками, привыкли к людям и их не боялись.

Ну, дети веселились, а взрослые, естественно, принимали необходимые меры, милиция этим делом занялась. И в последний день каникул вновника отыскали, точнее, он сам объявился и признался во всем.

— Зачем хулиганите? — спросили у него.

— Вы же, — отвечает, — всю фану распугали, отравили и перестреляли. Вашим детям лиснца даже присниться не может, потому что они ее никогда не видели... Скоро кошка станет музейной редкостью... Вы уже третий вытрезвитель в городе строите, с фонта-

ном и сауной, а на самый маленький зверинец средств не найдете, я уже не говорю о заповеднике!.. Вот я и решил детшек побаловать ради Нового года. Хотите, оставлю все, как есть, жить веселей будет?!

Ну, конечно, на это никто не согласился. Первыми запротестовали наши модницы: как же это мы без мехов обойдемся?.. Их подержали ателье, которые шубы и шапки шьют, — им же без плана оставаться. Руководящие работники зароптали: раньше их по пыжиковым шапкам узиавали, а теперь чем же они будут отличаться от своих подчиненных?.. Да и отцы города не одобрили: благосостояние народа растет, каждый может богатую одежду приобретать, зачем же себе в потребностях отказывать — пусть иностранцы видят!.. Только общество охотников не возражало, если ему круглогодичные лицензии на отстрел выдадут.

Огорчился волшебник, нахмурился.

— Эх, вы! — крикнул, махнул рукой, дунул, плюнул и исчез. И сказка сразу закончилась: лиса опять к жене директора рыбозавода легла на плечи, оидатры в шапки свернулись и на головы кооператоров прыгнули, бобры свой домик не достроили и обратно в воротники превратились, медведи на полу распластались, олени на стенах повисли...

Надели мы все свои шубы, дубленки, кожанки, гуляем по улицам чинно, солидно, благородно, нафталином попахиваем... А на улицах опять тишь да благодать — ни одной зверюги: на деревьях никто не скачет, по аллеям никто не шагает, из фонтанов никто воду не лакает.

Только детишки малость затоковали, все в парк бегали: может, какая животина осталась... Тосковали, грустили, а потом ничего, успокоились. Даже стали будочникам помогать последних собак отлавливать... Дети, они есть дети, их ко всему приучить можно. Мы ведь тоже когда-то мальцами были, зверюшек ласкали. А потом наши папы-мамы нас отвадили, научили их ловить, стрелять, шкурки сдерживать...

г. Киев.

*Литературные
народи*

ПОГОРЕЛЕЦ

Ты гори, мой огонь,
 мой мужчина,
чтобы сбиться с пути
 не могла...
Ах, луна, словно шапка
 на воре,
Так горит, что
 не выдержит взгляд!
Татьяна КУЗОВЛЕВА.

Ни луны нет, ни бра, ни
 лучины...
Отчего ж мне светло,
 словно днем?
Это ты. Ты горишь, мой
 мужчина,
Спним пламенем, ясным
 огнем!
Подожгла я тебя
 ненароком,
Разрешая немножко
 потлеть.
Но потом это вышло мне
 боком:
Стал ты шапкоопасно
 гореть!
Ты сбивайся с пути —
 я не против.
Просвещу я тебя, темноту.
До сих пор ты горел
 на работе,
Ничего, погоришь и
 в быту!

ДО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ...

Поеду я лучше рыбачить.
Рыбалка — невинное дело.
Сиди себе молча над
 лункой

И думай о Стиксе,
 о сексе...

Григорий ПОЖЕНЯН.

Движение рыбы к
 приманке
Движению мысли
 послушно!
Помыслишь о Стиксе —
 таранки
Пройдут у крючка
 равнодушно.
Со Стикса на секс
 переидешь ты —
И сразу свершается диво:
Фригидные те же рыбешки
Крючок окружают игриво.
Два юнга за мной увязаться
Хотели на ловлю таранок...
— А сколько годов вам?
— Пятнадцать...
— Рыбачить, сагаи,
 вам рано!



ХУДОЖНИК СОЛНЕЧНОЙ ЗЕМЛИ

С абунчи. Поселок на окраине Баку. В названии этом — взрывной ритм и напевность одновременно. Что означает оно, знали, увы, только предки — Тахир не смог мне растолковать смысл. В юности будущий художник увлекался джазом, играл на ударных. И одновременно рисовал. Рисовал много. Поступил в Бакнское художественное училище. Но мечтал в ту пору о профессии кинорежиссера. Однако трехкратные попытки поступить во ВГИК не увенчались успехом. Тогда Тахир поступает в Азербайджанский институт искусств. «Живопись, — как говорит он сам, — требует человека целком». Он оставляет музыку, свои мечты о профессии кинорежиссера и полностью занимается живописью. Его прежние увлечения и помогали и мешали одновременно. Молодой живописец постигает жесткие законы этого искусства — оно требует полной самоотдачи и эмоциональной сосредоточенности.

«К этому времени, — продолжает Тахир, — я понял, что только в живописи смогу выразить себя в полной мере. Посредством цвета, его соотношений передать собственное состояние, мысли и чувства».

Тахир Мамедов — художник своей земли. Он чувствует ее сочный колорит, теплый, ароматный воздух, особый свет. Именно яркая освещенность делает цвет открытым.

Как и музыкальный слух, чувство цвета человеку дарит природа. Оно или есть у художника, либо его нет — тогда появляется сюжетная спектрограмма — раскрашенная по всем правилам картинка. К сожалению, таких произведений появилось в последнее время довольно много. Мамедову изначально присуще живописное мышление.

Полотна Мамедова интересно рассматривать. Стены, крыши домов, возвышающиеся, как ступени, одна за другой, переплелись в единое целое. Картина не поражает необычностью сюжета или каким-то особым поиском формы. В холстах ощущается покой, радость, удивление...

Тахир чаще пишет пейзажи, реже портреты. Пейзаж привлекает его не только интересным колоритом. Он видит в нем свою родную землю, олицетворение истории его Родины, воплощение времени, которое нас формирует. Живопись его насыщена, сочна, в ней есть особая динамика цвета. В работе «Полдень» изображены две женщины, которые встретились на узкой поселковой улочке, вдоль нее прилепились невысокие глинобитные строения. Деревья словно осели от жары. Даже если зрителю не удалось никогда побывать в Азербайджане, он ощутит эту горячую землю, неспешное течение жизни небольшого поселка. В пейзажах Тахира нет свободного пространства. Художник внимательно и с пристрастием, стараясь не упустить что-то важное и интересное, показывает дорожки и любимые с детства места.

Когда живописец обращается к портрету, то он прежде всего старается понять настроение человека, уловить его внутреннее состояние. Гармония, мягкая пластика юной гимнастки передана в спокойной, переходящей из тона в тон гамме. А женский портрет он пишет в приглушенной тональности, словно вынимает из небытия красивое, чуть загадочное лицо...

Тахир Мамедов лишь начинает свой путь в искусстве, но он уже показал себя как живописец самобытный. Ему еще предстоит утвердить свой взгляд на мир, выработать собственный художественный язык. В этих работах чувствуется, что он знает свою землю, любит ее, а это — главное на пути в большое искусство.

Н. НАЗАРЕВСКАЯ

На стенах «Юности»



Полдень.

**ТАХИР
МАМЕДОВ**

(Баку).

Встреча.

ЮНОСТЬ 5

Индекс
74120

Цена 70 коп.